

От автора  
бестселлера  
«Вам и  
не снилось»!

Галина  
**Щербачкова**

Актриса  
и милиционер

*Лучшая*  
современная  
женская  
проза

# Галина Щербакова

Актриса и милиционер

Восхождение на холм царя Соломона  
с коляской и велосипедом

Подробности мелких чувств

*Учусь в школе в твою школу  
Меня зовут, тебе не зовут  
Знаю я тебя по имени  
Меня зовут по имени*

*Я нашла тебя на твоей лавочке  
Обыкновенной лавочке,  
У тебя же обыкновенные пожелания  
Меня уж больше не зовут.*

*Меня зовут по имени  
Меня зовут по имени  
Меня зовут по имени  
Меня зовут по имени*



**ЭКМО**  
МОСКВА  
2009

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4  
Щ 61

Оформление серии *А. Саукова, П. Иващука*

Иллюстрация на переплете *С. Борисова*

**Щербакова Г. Н.**

Щ 61 Актриса и милиционер / Галина Щербакова. — М. : Эксмо, 2009. — 384 с. — (Лучшая современная женская проза).

ISBN 978-5-699-38139-5

✓ Хорошие книги о любви никогда не выходят из моды. Галина Щербакова — признанный мастер сюжетной интриги. Трудно угадать, чем дело кончится и что случится с персонажами в следующую секунду: плюнут, поцелуют, к сердцу прижмут или к черту пошлют.

Каждая история рассказана с полной отдачей, до глубины трогает читателя.

Галина Щербакова дарит людям любовь, добро и надежду.

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-38139-5

© Щербакова Г., тексты, 2009  
© Оформление.  
ООО «Издательство «Эксмо», 2009

# Актриса и милиционер

Я пасажир к твоей постели.  
Нам забывшие обещать,  
И с кем-то сама <sup>Ужас! Ужас! Ужас!</sup> ~~Милая! Милая! Милая!~~  
Моя сестра тебе мерзеть.

Я напечатал своим левкою  
Об усталой любви,  
И ты к анакандию покаяю  
Меня уж больше не дави.

*Меня не жаль, я не жалею  
Души не жалею, я не жалею  
Она же жалеет не жалеет  
Меня не жалеет.*

«Рассказать бы кому...» — думала она.

В тот вечер в метро продавали запаянные в целлофан орхидеи. Белые с красноватым узором лепестки страстно, распахнуто стояли на узком черном стебле. Продавщица из новообращенных инженерок сразу стала их навязывать. Пришлось уйти, уйти противно-торопливо. Так уходишь от стыда. Дурного запаха. Хамства. Хотя какое хамство? Сплошная доброжелательность. Обнять бы инженерку-оборонщицу, что училась на «отлично» сбивать американские ракеты, и прошептать ей в ухо: «Извините, у меня на орхидеи нет денег...» Но дело это рискованное. Оборонщица могла бы закричать в ответ, что да, понимает, что было время, когда она сама каждый год ездила в санаторий ЦК им. Фабрициуса, а теперь вот — на! Торгует цветами. «Это, по-вашему, что?»

Поэтому она и уходит быстро-быстро...

В метро сквозило, и хотелось быстрее оказаться дома. Между прочим, Вадим был оборонщик. И оба-два ее мужа. Они ушли от нее навсегда. Сегодня девять дней Вадиму. Ей даже не с кем его помянуть. С томагочи. «Зверек» попищит, а она

поплачет. «Ах, — думает она, — рассказать бы кому...»

Она ищет глазами лицо в толпе, которая станет потом «лицом томагочи». Но сегодня день цветов. Много их — чересчур! Больше всего гвоздик. Боже! Она совсем забыла. Сегодня же праздник. Зря из-за него тянут на гвоздики. Красивый, ни в чем не повинный цветок. Она чувствует сейчас любовь к гвоздикам. «За общность судьбы», — смеется. Надо бы купить гвоздичку и ее сделать «лицом томагочи», когда они будут поминать Вадима.

Но смешно сказать. У нее в кармане только проездной. Последние деньги она истратила на лосьон «Деним» для юного мальчика, милиционера, который спас ее от самой себя и вернул ей слезы.

Кому бы рассказать...

Она не была актрисой милостью Божьей.

Ах, эта милость Божья! Вправе ли мы роптать на ее недoves? Но когда прожито больше, чем осталось, такие вещи про себя уже пора бывает знать. Хотя она это знала давно. «Милость Божья, — думала она, — дар. А мне просто отмерено». Как щепоть для посла. Она у нее точнехонькая. «Вот этого у меня не отнять!» — смеется ее встрепанный ум. Обычно она в ладу с ним, но временами!.. Как же он подвел ее за последнее время, как подвел! Дурак ты, мой ум!

Рассказать бы кому...

17 октября

В тот день она ехала после пробы в шальной антрепризе — в одной такой она уже репетировала, где у нее была третья по значимости роль. Главную должна была играть ее землячка. Они из одного южного городка, более того — они из одной школы. Уже много лет они делают вид, что не знали друг друга раньше. Вот и на показе их «познакомили». «Ах» — «ах»! Читали маленькую сценку. Она, как всегда у нее, сразу с полной выкладкой, а землячка путалась в словах, соплях и ударениях, а потом вообще загундосила, пришлось ей капать в нос, убирать со стола скатерть из синтетического плюша как возможного аллергена, искать супрастин.

Актриса милостью Божьей — а такой была землячка — может такое себе позволить. У милостью Божьих иначе кровь брызжет, иначе кудри вьются.

В конце концов, читку отменили. Она тогда ехала домой с чувством глубокого удовлетворения. Землячка была противная, а у нее есть работа. Это главное. А раз есть главное, можно позволить себе скулеж. Это ее свойство. Она ропщет именно в момент глубокого удовлетворения. Так она ворожит, так боится спугнуть удачу.

### *Мемория*

К пятидесяти она уже чуть ближе, чем к сорока, и умри она завтра — ни у кого от горя не оборвется сердце. (У нее — увы! — к тому же не льсти-



вый к себе ум.) Даже ее редкое имя Нора Лаубе забудется в миг по причине нерусскости его природы. Ее никогда не считали еврейкой только потому, что славянская кладка не оставляла никаких надежд антисемитам. Даже те, кто искал в ней немку или прибалтийку, понимали, что такой высокий лоб и слегка «утопленные» серые глаза бывают только у среднерусского разлива. Проклятая и неизбежная националистическая чепуха! Нора родом «из югов», где крови намешано не сказать сколько, а фамилия Лаубе досталась ей от мужа, с которым она прожила два молодых своих года. Он был русский, русский, русский.

Этот Лаубе-муж очень искал хоть в четвертом от себя колене что-нибудь годящееся для эмиграции. Искал, но так и не нашел, женился после Норы на какой-то приبلудной американке, нескладной, глупой, но какое это имело значение? Взнуздав широкую спину большестопой барышни из Айдахо и прыгнул. А Нора осталась носить эту фамилию, которая вызывала нездоровые вопросы у траченного комплексом неполноценности населения. Имя же ей дала театралка мама в честь ибсеновской Норы. Потрясший маму спектакль Нора видела уже в свои пятнадцать лет. Его возобновили. Нору играла все та же актриса. Ей, видимо, было столько, сколько Норе сейчас.

Было ощущение болезненного дискомфорта — так идешь по длинному переходу, в котором побили лампочки. Одним словом, чувства на спектакле «ее имени» были физиологические, и хотя

она была еще девочка, она понимала, что так не должно быть... Тем не менее она заболела театром — оказывается, бывает и так, — ища ответы на вопросы, от которых во рту был железистый вкус, а на зубах трещало, как от песка. Ну что ж... Судьба приходит по-разному. К ней она пришла выпреним именем, чужой фамилией и притягательной силой пусть плохого, но театра. Она поступила в институт с первого захода и училась на повышенную стипендию. О том, что у нее не сложилась судьба, знает только она сама. Для многих, очень многих она везунчик. Всегда при ролях. Всегда нужна. Никому нет дела до милости Божьей, кто ее вообще придумал? «У Лаубе все схвачено». Вот как говорят про нее. И ее ум не спорит. Она знает, что нельзя оспаривать глупца... Из мудростей — мудрость. Эта Нора Лаубе много чего знает. Она хитрая. Она мудрая. Можно и одним словом.

*17 октября*

Возле подъезда клубился народ. Сейчас ее зацепят глазом и будут долго держать, чтоб потом сожрать с потрохами, как доставшуюся добычу. О этот люд подъезда! В городе ее детства Ростове подъезд называли «клеткой». «Вы в какой клетке живете?» Это было так точно. Люди — клетки. С соответствующими законами жанра «клетки». Она подошла совсем близко и вдруг поняла, что странным образом сейчас, сегодня не представляет интереса для «клетки». Что может пройти не-

замеченной мимо толпы, потому что у той другое направление интереса. Норе так хотелось домой, к Джину с тоником, что она почти минула их всех, но что-то ярко-полосатое, почему-то известное ей, остановило ее взгляд. На земле лицом вниз, сжимая в руках махровое полотенце, лежал человек и весь дрожал, как будто бы человек рыдал в это самое полотенце. Был хорошо виден странно заросший затылок с неправильным направлением волос.

— Что с ним? — сносила Нора.

Даже для ответа люди не повернулись к ней — так притягательна была эта чужая дрожь.

— Упал с балкона, — сказали ей.

— Или скинули, — расширилась картина знаний.

— Или сам, — восхищался народ широтой возможностей смерти.

— Могло под ним и обломиться...

Нора подняла голову и увидела бесконечность свесившихся с балконов и окон голов. Некоторые головы были так лихи, что подтягивали к себе уже все туловище, и это выглядело жутко на виду у лежащего. Без капли страха и ужаса. Но головы отважно нависали — им было по фигу чужое падение, но получалось, что и свое тоже.

— С какого этажа? — спросила Нора.

— Неизвестно, — ответила толпа. — Может, и с крыши.

Но тут подъехали «Скорая» и милиция, и Нора первой вбежала в лифт, не дожидаясь, когда на-

род начнет рассасываться. Уже в лифте она подумала: «Человек не мог упасть с крыши. Под ним было полосатое полотенце, точно такое, как у нее самой сохнет на балконе».

Ее охватила паника, и она просто бежала к двери, которая была у нее просто дверью из ДСП, которую выдавливают хорошим плечом за раз. Такое уже случалось, когда она потеряла ключи и пришлось звать соседа. Тот пораскачивался на месте туда-сюда, сюда-туда — и дверь под ним хрустнула жалобно и беспомощно. Пришлось купить другую дверь у этого же соседа, который обзавелся металлической. Может, он и ломал Норину дверь с надеждой, что понадобится другая? Его предыдущая дверь лежала под диваном и раздражала жену, но сосед — как знал! — терпеливо ждал какого-нибудь подходящего случая. И — на тебе! Дождался и продал старую дверь. Норина связка пропорола тонкую подкладку кармана, и ключи брякнули, когда она вдавливалась в троллейбус. В конце концов, вагончик тронулся — ключи остались. Была целая история, как она возвращалась к этому месту, но вам когда-нибудь удавалось найти то, к чему вы возвращались? ...Вот и Нора ключей не нашла.

Сейчас дверь (бывшая соседская) была цела, и замки на ней все были на месте. Дома пахло домом, без чужачих примесей. Мысль снова вернулась к этому человеку на земле, и Нора пошла на балкон, чтоб, как все, «свеситься и посмотреть».

Ограда ее балкона была сбита и погнута, бель-

евая веревка сорвана, с оставшейся прищепкой валялись на бетоне трусики, лифчик зацепился за штырь ограды.

Полотенца не было.

Невероятно, но факт. Человек упал с ее балкона. Каким-то непостижимым образом он попал на него, согнул перила, сорвал белье. Нора посмотрела вверх. Из кухонных окон, что были выше, свисали головы, они были безмятежны и наслаждались смертью.

В доме девять этажей. Ее — шестой.

«Сейчас придет милиция, — подумала она. — Значит, не надо пить джин». Ведь ей предстоит давать показания. Объяснять, как, не входя в квартиру, человек оказался на ее балконе. Что ему было нужно на нем? Ведь не мог же он залететь туда, падая?

Нора вымыла руки и стала ждать.

К ней никто не пришел.

Вечером, собираясь в театр, она подумала, что это по меньшей мере странно... Горячие следы там и прочая, прочая... Но тот человек на земле дрожал. Возможно, он остался жив и сам объяснил, как под ним оказалось ее полотенце. Тогда ей как минимум должны были бы это объяснить. Большое махровое полотенце, почти простыня, полоса желтая, потом зеленая, потом оранжевая и снова желтая... Хорошее полотенце. Норе его жалко.

На улице она посмотрела на то место. Смятый газончик. Сломанные ветки тополя. Из подъезда вышла женщина со второго этажа. Она, как и Нора, жила в однокомнатной квартире и все время ждала, когда ее убьют. Она первая в подъезде (клетке!) поставила металлическую дверь и застеклила балкон, а на окнах сделала решетки. Но от всего этого бояться стала еще пуще, ибо квартира с такими прибабасами неизбежно становилась ценней, а значит, убить ее было все завлекательней. Ее звали Люся, и она работала кассиршей в аптеке.

— Видели, у нас тут с крыши спрыгнул? — спросила Люся.

— С крыши? — опять задала свой вопрос Нора.

— У него на чердаке было место. Матрац и даже столик... Вот несчастные люди с девятого этажа, вот несчастные. Мог ведь их поубивать! — Люсе нравилась грозящая другим опасность. Даже жаль, что «разбойника» нет, хорошо бы он попугал девятиэтажников, как ее пугает улица. Хорошо, чтобы что-то случилось с другими. Ужас вокруг странным образом успокаивал Люсю, придавая этим как бы большую крепость ее замкам и решеткам. Но так мгновенно кончилась замечательная история. Человек разбился, а милиция тут же нашла, откуда он выпал...

Люся смотрела на Нору и думала, что хорошо бы и с этой артисткой что-нибудь случилось — нет, она к ней, можно сказать, даже хорошо относится, но если выбирать, то пусть убьют артистку.

Какой от них прок людям? Не сеют, не пашут, не пробивают в кассе лекарства. Люся смотрит на Нору, Нора смотрит на Люсю.

«Какая сука! — думает Нора. — Какая сука!»

И разошлись. В тот вечер Нора играла Наталью в «Трех сестрах». Она всегда не любила эту роль, хотя ей говорили, что она у нее лучшая. Ну да! Ну да! Наталья — фальшивая обезьяна. Обезьянство обезьянски обезьянное. «Бобик!», «Софочка!» Фу...

В финале, говоря последние по пьесе Натальины слова «Велю срубить эту еловую аллею... Потом этот клен... Велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах...», увидела глаза актера, игравшего Кулыгина, и так закричала: «Молчать!», что тот реплику «Разошлась!» сказал как бы не по пьесе, а по жизни. Это она, Нора, разошлась, тут финал, когда тут сейчас сестры будут высеивать во все стороны разумное, доброе, вечное, а она Нора-Наталья как будто забыла, что она тут не главная. Натянула на себя одеяло и закончила пьесу тем, что сказала всем: «Молчать!», хотя столько-то других слов и такие туда-сюда мизансцены.

Но теперь все так торопятся, что никто, кроме напарника, не заметил ее разрушений. Не пришлось, оправдываясь, объяснять, что с ее балкона разбился человек, что никто про это ничего не знает, хотя у милиции есть улика — ярко-оранжево-зелено-желтое ее, Норино, полотенце.

Она рассказала все Еремину (Кулыгину), с которым не то дружила, не то крутила роман, одним

словом — имела отношения, в которых можно рассказать то, что не всем скажешь.

— Знаешь, — сказал Еремин, — перво-наперво почини перила, а потом сразу забудь. В милицию не ходи ни в коем разе. Это последнее место на земле, куда надлежит идти человеку. Даже при несчастье, даже при горе... Вернее, при них — тем более. Сию организацию обойди другой улицей.

— Но он был на моем балконе!

— А тебя при этом не было дома. Тебя, как говорится, там не стояло.

— Если так подходить... — возмутилась Нора.

Но Еремин перебил:

— Не взывай! Только так и подходить. Заруби на носу. Милиция. ФСБ. ОМОН. Армия. Прокуратура. Адвокатура. Суд. Что там еще? Беги их! Они — враги. По определению. По назначению. По памяти крови и сути своей.

— Окстись, — сказала Нора. — Я без иллюзий, но не до такой же степени!

— До бесконечности степеней, — ответил Еремин. — Пока не умрет тот последний из них, кто уверен, что имеет над тобой право.

— Ванька! — засмеялась Нора. — Так тебя ж надо выдвигать в Думу.

— Я чисто плотный, — сказал Еремин. — А ты, Лаубе, теряешь свой знак качества. Ты, Норка, читаешь советские детективы.

— Нет, нет и нет... Неграмотная я...

Но всю дорогу из театра она продолжала этот разговор с Ереминым, а когда пришла, то, несмотря



ря на ночь, позвонила в милицию, что хочет завтра видеть участкового по поводу... Тут она запуталась в определении, замякала и положила трубку.

Ночью ей снился сон. Она меняется квартирой с Люсей, и та требует приплату, что с ее второго этажа лучше виден упавший. «Смотри! Смотри!» — Люся тащит ее на свой балкон, и Нора хорошо видит затылок мужчины, заросший густо, по-женски. «Бомжи не ходят в парикмахерскую», — думает она. «Отсюда и вши, — читает ее мысли Люся. — Но до второго этажа они не дойдут. У вшей слабые конечности».

На этом она проснулась. «Затылок, — подумала. — Я его почему-то знаю». — «Дура, — ответила себе же. — Такую кудлатую голову носит, например, их прима. Вечные неприятности с париком. Они ей малы, и прима по-крестьянски натягивает парик на уши. И делается похожа на мороженщицу у театра. Та тоже тянет на уши шапку из песцовых хвостов... А потом делает этот странный дерг бедрами — туда-сюда... И вороватый взгляд во все стороны — видели? Не видели? Что я крутанулась вокруг оси?» Нора не раз приспособливалась жесты мороженщицы к своим ролям. Очень годилось, очень... Пластика времени... Подергивание и растягивание. Загнанный в неудобные одежды совок. Человек не в своем размере. Совершенство уродства. Господи, сколько про это думалось! «Эта Лаубе свихнется мозгами!»

Так вот... Затылок... «Я знаю этот затылок в лицо», — подумала она снова.

18 октября

Милиционер пришел сам. Надо же! Именно накануне у них в участке опробовали телефон-определитель, он срабатывал через два раза на третий, но ее звонок был как раз третьим. Участковый пришел в их подъезд по вызову: семейная драка в квартире шестнадцать. Звонили из семнадцатой — у них от шума вырубился свет. Участкового звали Витей — нет, конечно, он был Виктор Иванович Кравченко, но на самом деле все-таки Витя, даже, скорей, Витек. Он приехал из ярославской деревни, где работал механиком. Но тут механизмы кончились, председатель все пустил по миру, а то, что осталось, «уже не подлежало ремонту». Эти слова Витя прочитал в акте по списанию механизмов, и они вошли в него одним словом «неподлежалоремонту». Теперь Витек работал в милиции, жил в общежитии и не переставал удивляться разности жизней там — в деревне и тут — в столице. Конечно, он бывал в Москве, и не раз, в Мавзолее бывал, на ВДНХ, ездил туда-сюда на водном трамвае, в метро познакомился с девушкой из Белоруссии, тоже деревенской, они стали писать друг другу письма, а потом почта «накрылась медным тазом». Жаль девушку. Такая беленькая-беленькая. Ресницы такие редкие-редкие, но длинные-длинные. Существующие как бы сами по себе, они очень волновали Витю. Он старался положить этому конец, так как не любил, когда в душе что-то тянет. И он даже написал ей, что «нашу дружбу нельзя считать действи-

тельной, ибо никак»... Последние два слова повергли его в такое сердцебиение, что письмо пришлось порвать, но «ибоникак» (тоже пишется и звучит вместе) почему-то в нем осело на дно и стало там (где? где осело?) укореняться.

Но это когда было! Он тогда приезжал в Москву гостем, а сейчас он тут замечательно работал, жил в хорошей, теплой комнате с таким же, как он, милиционером из Тамбова. Ничего парень, только очень тяжел духом ног. Витя старался держать форточку открытой — ибоникак.

Так вот... Он позвонил Норе в девять утра, откуда ему было знать, что в такое время артистки еще не встают, это не их час. Но он ведь понятия не имел, что она артистка. Знал бы — сроду не пришел.

Нора едва запахла халат и впустила Витька. Пока поворачивался ключ, он громко сглотнул сопли и сделал выражение приветливости при помощи растягивания губ. «Улыбайте свое лицо», — учил их капитан-психолог на краткосрочных курсах. Москва тогда напрягалась к юбилею, и это было важно — не отпугивать лицом милиции страну людей.

Дальше все полетело к чертовой матери. Нора открыла дверь. А когда она это делала, то всегда рисовалась на фоне афиши кино, где еще в молодые годы сыграла маленькую, но пикантную роль легконравной женщины, которая во времена строгие позволяла себе, заголив ногу, застегивать чулок (дело происходило до войны и до колготок)

в самой что ни на есть близости к табуированному месту. Длинные Норины ноги толкали сюжет кино в опасном направлении, и тем не менее это было снято и показано! И в чем и есть главный ужас искусства — осталось навсегда. Недавно фильм демонстрировали по телевизору, и, конечно, никто ничего не заметил, тоже мне новость: три секунды паха и кромки трусов. Даже детям это уже давно можно смотреть. Но Витя, человек по природе здоровый и не испорченный душевно, был — по кино — очень на стороне мужчины, которого эта женщина без понятий волокла к себе грубо и без всяких яких. Он остро пережил этот момент насилия над мужским полом и момент его потрясения нечеловечески красивой ногой, ведущей простого человека в самую глубь порока.

А тут возьми и откройся дверь, и Нора стоит в халате, по скорости одевания не тщательно запахнутом, и даже где-то чуть выше колена белеется то самое тело, и можно всякое подумать, опять же афиша не оставляет сомнения, что он видит то, что видит, а потом Витек наконец подымает глаза на Нору.

«Надо убрать эту чертову афишу», — думает Нора, глядя, как странно меняется лицо парня. От обалдения до еще раз обалдения. «Да, милый, да! У тебя есть другой способ жизни, кроме как старение?» Норе думалось, что это его потрясло. Ее сегодняшний возраст.

— Участковый уполномоченный Виктор Иванович Кравченко, — прохрипел Витя.

— Заходи, Иванович, гостем будешь, — насмешливо сказала Нора.

Был момент приседания милиционера от еще одного крайнего потрясения. На диване лежало постельное белье, и было оно в шахматную клетку. На квадратиках были изображены фигуры, и они как бы лежа играли партию. Вите даже показалось, что королю шах — для точности знания надо было бы распрямить простыню, примятую телом женщины. Вот на этом он слегка и присел, чудак-милиционер, выпускник самых краткосрочных в мире курсов. «Улыбайте свое лицо!»

— В кухню! — сказала Нора, закрывая дверь в комнату. — Вы пришли очень рано. Да... Рано... Это по поводу случая в подъезде?

— Я по поводу вашего звонка, — строго сказал Витя.

— А! — засмеялась Нора. — Вычислили...

Витя не понял. Ему сказали: «Был сигнал с такого-то номера. Будешь в доме — проверь». Лично он ничего не вычислял.

— Дело в том, — сказала Нора, — что тот человек сломал мне балкон, и под ним было мое полотенце. Это можно как-то объяснить?

— Можно, — ответил Витя. — Произошло задевание ногой.

Нора смотрела на молодое, плохо выбритое лицо. Угри на лбу и на крыльях носа. Дурацки выстриженные виски. След тутого воротничка на молодой белой шее. Странно нежной. Разве милиционеру гоже иметь нежную шею? Гость же

тщательно скрывал несогласие с миром вокруг, то есть с кухней, ее, Нориной, кухней. «Несогласие побеждает в нем интерес, — думает Нора. — Очень смешной».

— Вы из каких краев? — спросила она.

— Мы ярославские, — ответил Витя.

«Правильный ответ, — подумала Нора. — Если бы я спросила: «Ты из каких краев?», он бы ответил: «Я ярославский». Единственное и множественное число у него не путаются».

— Так вот... — сказала она. — Он не мог задеть ногой полотенце.

— Кто? — спросил Витя.

Он не поспевал за Нориной мыслью. Ей интересно то одно, то другое, но ведь сам он думает о третьем. Вот он сейчас был в шестнадцатой квартире, там не было никакой разницы с тем, что он знает про квартиры вообще. Диван. Стенка. Табуретки в кухне. Половик. Еще зеркало. В семнадцатой, правда, у него немного завернулись мозги. Трехэтажная кровать. Купе, одним словом. Он ехал из Ярославля на третьей полке. Противно. На спине — как в гробу, на боку — как в блиндаже. Семнадцатая ему не понравилась отношением к соседям. Если на каждый вскрик звать милицию...

«Есть люди отрицательного ума, — объяснял им капитан-психолог, — им все не нравится. Они желают жить на земном шаре в одиночестве. Только они и земной шар. С ними надо по жесткому закону. Есть и заблужденцы. Вот тут нужна

чуткость сердца. Это контингент нашего поля зрения».

Витя не знает, что думать об этой кухне. Он не знает, как быть с женщиной, которая со стороны лица, тихо говоря, старая, а со стороны ноги, а также виденного кино, вызывает в нем некоторое дрожание сосудов. А он этого не любит. (См. историю с девушкой из Белоруссии, которая отращивала каждую ресничку по отдельности, как будто нарочно, чтоб смущать людей. Капитан-психолог говорил: «Надо всегда идти от правила нормы».)

— Меня зовут Нора, — сказала Нора, и Витя подпрыгнул на стуле, потому как два слова сошлись и ударились лоб в лоб. Норма и Нора.

Что за имя? Он не слышал никогда. Он путался в буквах, не имеющих для него смысла. И он разгневался. Но, так сказать, это все равно что называть па-де-де из всемирно известного балета Минкуса «Дон Кихот» словами «два притопа — три прихлопа». Гнев Вити был пупырчато-розовым и начинал взбухать над левой бровью. Мама, не ведая про рождение гнева, говорила: «Что-то тебя укусило, сынок. Потри солью». Одновременно... Одновременно ему хотелось что-то заломать. В детстве он ломал карандаши, на краткосрочной учебе — шариковые ручки. Капитан-психолог говорил, что это «нормальная разрядка электрического тока в нервах. Такой способ лучше, чем в глаз».

На столе у Норы лежал, горя не знал кристаллик морской соли — Нора пользовалась ею. Витя

раздавил его ногтем большого пальца, как вшу какую-нибудь, и его сразу отпустило. У женщины же высоко вспрыгнули брови и стали «домиком». Таким было взбухание Нориного гнева. Она схватила цветастую тряпку и протерла это место на столе, место касания соли и ногтя.

— Я поняла, — сказала Нора, — вы не в курсе. Так ведь? Откуда человек упал?.. Кто он?.. А может, его сбросили? Задевание ногой!.. Это ж надо! Вы себе представляете, как нужно махать ногами, когда летишь умирать?

Витя растерялся. Он представил себе физику и свободное падение тела. Он как бы вышел во двор, расположился возле трансформаторной будки, приложил ко лбу ладонь козырьком и стал видеть. Размахивания ногами не было. А потому все балконные перила оставались целы. А эти — на шестом — почему-то надо чинить.

Невинные, не тронутые игрой ума мозги Вити напряглись, и с губ сорвался, так сказать, результат такого неожиданного процесса.

— Значит, он был у вас, — сказал Витя, удивляясь новой модуляции голоса — откуда, блин? И для страховки покидающих его сил он схватился за планшет и резко повернул его с бока на живот.

И хотя это был планшет — не кобура, сама эта резкость жеста не то чтобы напугала Нору — кого пугаться, люди? — но привела ее к очень естественному и абсолютно правильному выводу: она идиотка. Потому что только полный ... (вышеупо-



мянутое слово) будет так подставляться нашей милиции, которая никогда сроду никого не уберегла, ничего не раскрыла и давно существует в образе анекдота: «Милиционеры! На посадку деревьев готовсь! Зеленым — вверх! Зеленым — вверх!» Вот и перед ней сейчас точно такое «садило» — из всех возможных и невозможных вариантов он выщелкнул одно: сама позвала — сама виновата.

— Не было его у меня, — с ненавистью, несколько излишней для весьма слабого случая, сказала Нора. — У меня был закрыт балкон, и в квартире все осталось в порядке.

— А кто это засвидетельствует? — грамотно спросил Витя, удивляясь складности ведения разговора и тому, что он напрочь забыл уходящую в бесконечную высь ногу артистки, а вот пожилую женщину, наоборот, иден-ти-фи-ци-рует хорошо. Пожилая, халат нараспашку и провокация в расчете на слабость его молодости.

— Нет, — ответила Нора, — я была одна, когда пришла домой.

Она тут же пожалела об этом. Надо было соврать — сказать, что с ней был Еремин. Тот бы не колебался ни секунды, ему лжесвидетельствовать — хлебом не корми. Конечно, он бы ее выручил.

— Я вам сказала то, что есть... Мне показалось, это для вас важно...

— Конечно, конечно, — ответил Витя. — Разрешите осмотреть балкон.

С тех пор как она обнаружила сломанные перила, Нора на балкон не выходила. В тот же день, когда она все увидела, она остро ощутила притягательность этого слома. Ее балкон теперь легко покидался, и хотя она считала, что абсолютно лишена всякого рода маний, это неожиданно произшедшее чувство легкости последнего шага повергло ее в доселе не изведенное состояние. Нет, не так... Веданное... Получая роль в спектакле, она всегда знала, какой должна быть интонация, какой голос должен быть у первой фразы на репетиции. Но никогда не придурялась перед режиссером, играя с ним и сама с собой долго и нудно, пока хватало куражу, проигрывая все ложные пути. А потом... Вдруг в одночасье взять и произнести реплику так, как то надо! Она делала все сразу, лишая себя удовольствия от репетиции.

Так вот, веданным изначально было и движение вниз, с балкона, стоило только чуть-чуть приподнять ногу.

«Но я никогда такого не хотела, — смятенно думала Нора. — Это просто страх высоты. Притягательность бездны...»

Витя тоже смотрел вниз. И ему тоже было страшно. Это был нормальный страх живого тела. Просто «страшно, аж жуть» — и все тут.

Потом он потрогал обвисшие веревки, сырые и холодные. На бетоне так и лежали прищепки. Некоторые были сломаны, видимо, те, что держали толстое полотенце. Но это знала только Нора, а для Вити наблюдение над прищепками было выс-

шей математикой сыска. И она была лишней, математика, потому что и так все ясно. Человек упал отсюда, а значит, он тут был. У этой женщины.

— Другого способа попасть на балкон, как через квартиру, нету, — сказал он. — Нету.

— Что, разве нельзя на него спуститься с крыши, с верхнего этажа? — возмутилась Нора. — Или подняться с пятого? Вы это проверяли?

— Проверим, — ответил Витя.

Нора закрыла за ним дверь и выругалась черным матом. Господи! Зачем она в это ввязалась? Ведь у милиции есть такая замечательная версия про бомжа на чердаке. Все объясняет и снимает все вопросы. Какого же еще рожна!

В душе в тот самый секундно-неприятный момент, когда она поворачивала кран на холодную воду, она опять увидела затылок погибшего, увидела неправильность растущих волос, делающих странный густой поворот, она ощутила эти волосы рукой, и ее пальцы как бы разладили крутой серповидный завиток. Боже! Что за чушь? Ничего подобного с нею не было!

— О! — сказал ей Еремин. — С полным тебя приехалом! Признайся, женщина, ты бросала своих младенцев в мусоропровод? У тебя же типичный синдром Кручининой!

— Еремин! Я знаю эту голову на ощупь! А детей в мусоропровод не бросала.

— Ты про затылок сказала милиционеру?

— Бог миловал! Но если я знаю, что он был на моем балконе, значит, какая-то связь между нами есть?

— Нету, — нежно сказал Еремин и обнял Нору. — Знаешь, — добавил он, — очень много спяченных с ума. Более чем... Не ходи к ним... Оставайся тут... Чертова подкорка делает с нами, что хочет. Она сейчас президент. Но какой же идиот живет у нас по указам президента? Нора! Освободи головку! Я подтверждаю, что был с тобой в тот день, но ты не призналась, чтоб не ранить мою жену. Туське, конечно, ни слова. Она у меня человек простой, она верит тому, что пишут на заборах.

Ей легко с Ереминым. Он все понимает, но правильные ответы он перечеркивает. Он считает, что их не может быть. Человеку, считает Еремин, знать истину не дано. Ему достаточно приближенности знаний. Таких, как «земля круглая, а дважды два четыре». На самом-то деле ведь и не круглая, и не четыре!

*19 октября*

В тот день у Норы не было вечернего спектакля, поэтому она осуществила то, что не давало ей покоя. Она поднялась на девятый этаж. И теперь стояла и смотрела в потолок — хода на чердак не

было. Нора спустилась к себе, взяла театральный бинокль и вышла на улицу. Стекла бинокля запотели сразу, но ей и так были видны непорухенные трубы водостока и бордюр крыши. Она прошла вдоль дома. Выход с чердака на крышу был с другой стороны дома и над другим подъездом. Значит, чтобы спрыгнуть так, как получалось, самоубийце пришлось гулять по крыше, переходя с восточной части на западную. Нора вернулась к своему подъезду. Итак... Над ней еще три балкона. Все они в полном порядке. Три близких к ним кухонных окна. Это на случай той мысли, что покойник акробат-эквилибрист. Можно взять в голову и совсем дурное. Он рухнул, карабкаясь к ней с пятого этажа. Но и тут еще один аккуратный балкон.

Нора не знала, что за ней следит Люся со второго этажа. Что у той все оборвалось внутри, когда она увидела в руках артистки бинокль. Люся даже за сердце схватилась, так у нее там рвануло. Если представить мозг Люси как заброшенный и отключенный от воды фонтан «Дружба народов», что на ВДНХ, то сейчас как раз случилось неожиданное включение. И трубы с хрипом и писком ударили струями, и Люся практически все поняла про жизнь. Она поняла, что надо спасаться в деревню и питаться исключительно своим. Потому что верить в городе нельзя никому. Ни людям, ни магазинам. Основополагающая мысль — идея требовала подтверждений, и Люся как была в войлочных тапках, так и ринулась вниз, чтоб оконча-

тельно застучать артистку за этим подсудным делом разглядывания чужих окон в бинокль.

Они столкнулись у лифта, и Нора сказала: «Здравствуйте!» Потом она вошла в лифт и спросила: «Вы не едете?» Люся, вся подпаленная изнутри, не то что растерялась, просто ее сразила Норина наглость: «Вы не едете?» Во-первых, она на второй этаж не ездит никогда; во-вторых, ты видишь, я тебя застукала, я поймала тебя с поличным биноклем, я все про тебя поняла, а ты мне как ни в чем не бывало: «Здравствуйте! Вы не едете?»

— На улице сыро, — сказала Нора, нажимая кнопку и глядя на войлочные тапки. И вознеслась.

### *Мемория*

Нора жила в этой квартире уже больше десяти лет. С ума сойти! Казалось, что все еще новоселка, таким острым было тогда вселение. Первое время она просто не видела людей, а потом уже привыкла их не видеть. Это на старой квартире было соседское братство, ну и чем кончилось? В этом подъезде она знала людей только в лицо и то про них, что приходило само собой. Вот эта придурочная тетка, которая работает в аптеке. Она сидит в кассе с поджатыми губами и не признает никого. Ей кажется, что этим она утверждает себя в мире. Такой же поджатостью губ (национальное свойство) закрепляет свое место и журналистка с седьмого. Сроду бы ей, Норе, не догадаться, что та журналистка — персона известная. Ей по судьбе написано было распрямить

плечи и выплюнуть изо рта мундштук или что там так крепко приходится сжимать до смертной сцепленности губ.

Ах, это разнотравье человеческих типов! И такие, и эдакие... По цвету и запаху, по манере сморкаться и говорить, по тому, как вьется волос...

«У меня уже так было, — думает Нора. — Когда жила с Николаем и смотрела, как он спит, то мне казалось, что я знала другого мужчину, который спал точно так же, запрокинув назад голову, отчего в сладости сна открывался рот, и из него шли попискивающие стоны». Такой способ спать может быть только у одного мужчины, имея в виду женщину и число ее мужчин. ...Ей же виделся другой, как бы ею знаемый. Потом, потом... Уже после их развода мама сказала, как странно спал ее, Норин, дедушка. Могла она это видеть? Могла. Ей было пять лет, когда дедушка умер. Получалось, что в случае с Николаем не было никакой мистической памяти. Сплошной грубый материализм запоминания, а потом забвения. До какого-то случая жизни.

Но если было раз, если у нее есть привычка закладывать знание и видение в самый что ни на есть под памяти, то, значит, и ищи в нем? Сбивал с толку Николай. Она давно не думала о нем, может, пять лет, а может, два часа.

Они познакомились в Челябинске, где театр был на гастролях. Прошло два года, как больше-ступая перенесла на своей спине первого мужа Нору в Айдахо. Он уже успел прислать ей гости-

нец — платочек в крапинку и туалетную воду «Чарли». Сейчас ее всюду, как грязи, тогда же она долго не знала, как с ней быть, потому что была уверена: вода мужская, просто Лаубе никогда ни в чем таком не разбирался, здесь он дарил ей духи «Кремль» с тяжелым, прибывающим к земле духом, собственно очень даже соответствующим названию. Так вот «Чарли» стоял полнехонек, а у них гастролы в Челябинске, у нее роли в каждом спектакле, а подруга — химик из города Шевченко — пишет: «Тебе надо сублимировать случай с твоим неудачным браком. Возгори в творчестве».

Видели бы вы эту подругу. Такая вся мелкосерая барышня с пробором не посередине и не сбоку, а где-то между. Отличница и собиратель взносов. Но только она могла написать такое: «Возгори и сублимация».

В сущности, лучшего человека в жизни Нора не было. Узналось это много позже, когда подруга разбилась на самолете, выиграв какую-то дурацкую турпутевку в лотерею. Через какое-то время Нора почувствовала: задыхается без писем со словами: «Критика — сублимация бездарности. Но ты знай: не от каждого можно обидеться. Родила ребенка. Я чувствую, что театр не может сублимировать твое женское начало».

Нора бросала эти письма со словами, что «эта кретинка могла бы выучить хотя бы еще одно слово». А кретинка возьми и разбейся... Но это потом, потом... А пока она на гастролях в Челябинске...



Она тогда играла как оглашенная. И еще не думала о себе, что она не актриса милостью Божьей. Она вообще тогда ни о чем таком не думала. Переходила из роли в роль, казалось — так надо, не видела вокруг себя зависти и ненависти, даже не так. Видеть видела, просто она инстинктивно переходила на другую сторону улицы, и если бы тогда; двадцать с лишним лет тому, были говоримы слова «молилась кротко за врагов», то да... Молилась. Было именно то. Душа ее была щедрa, а ум пребывал в анабиозе.

Так вот... Николай попал в их актерскую тусовку, по тому времени — вечеринку, из инженеров-радиотехников. Была там компания молодых ленинградцев, эдакие физики-лирики, что сосредоточенно поглощали симфоническую музыку, театр, джаз, передавали друг другу ротапринтного Булгакова и жили черт-те где и черт-те как в смысле бытовом.

«Не хочу! — кричит себе Нора. — Не хочу про это вспоминать!»

Крутой получился роман. Из тех, о которых говорят в народе: «А знаешь...», «А слышал...» У Николая были девочки-близнецы пяти лет, а жена его ходила беременная третьим.

Мозг Норы стал просыпаться, когда она увидела, какой красавицей была эта женщина. То ли Лопухина, то ли боттичеллиевская Флора, то ли

Мадонна Литта, ну, в общем, этого ряда. Не меньше. Вторым потрясением была доброта этой Лопухиной-Флоры. Как она их кормила, когда они заваливались к ним ночью, как споро двигалась со своим уже большим животом и все пеклась о Норе, что у той очень уж торчат ключицы. Она даже трогала их красивым пальцем, несчастные Норины кости. Жалела. Совершенная, сокрушалась о несовершенстве тварного мира. Надо ли говорить, что Шурочка была глупа как пробка? Или все просматривается и так? Это ведь только у Проктера и Гембла в одном флаконе сразу все — с человеками так не бывает. Обязательно чего-нибудь будет недоложено божественно справедливо.

Вот тогда, разглядывая в зеркале обцелованные Николаем свои худые плечи, Нора много чего увиделось в зеркале и про себя, и про других.

Шура родила Гришу уже осенью, когда театр отдыхал на югах. Нора же тайком от всех жила в деревне под Челябинском — туда ходил рейсовый автобус, и Николай приезжал к ней среди недели. В свой библиотечный день. В сущности, у них тогда было всего три среды, а в четвертую родился Гриша. Трое детей — это не мало, а много. Это просто невероятное количество, которое, по сути, гораздо больше своего математического выражения.

Нора вернулась в Москву. У театра в тот год было тридцатилетие, и им выделили пять квартир. Грандиозный подарок властей имел под со-

бой простую и старую, как мир, причину. Сын директора театра женился на дочери одного из горкомычей. Дочь писала дипломную работу по их спектаклям. Ну дальше — дело родственное. Нора и старая актриса из репрессированных в оказанное время получили маленькую двухкомнатную квартиру на двоих. Каждый считал своим долгом сказать Норе, как ей повезло: актрисе уже за семьдесят, она скоро непременно освободит площадь, ты понимаешь, Нора, какой у тебя счастливый случай? «Я в этот период защитила докторскую диссертацию по знанию людей и жизни, и мне за нее дали Нобелевку», — думала Нора.

Интересно, что старой, несчастной актрисе говорили почти то же самое и советовали тщательно следить за своими продуктами и питьем. Мало ли, мол...

Но женщины поладили. И старая сиделица оказалась хорошей «наперсницей разврата». Когда в Москву прилетал Николай, вот уж не надо было делать вид, что знакомому негде остановиться. Голые, они пробегали в ванную, а старуха старалась держать в этот момент дверь открытой. «Норочка! Оставьте мне хотя бы радость видеть любовь!»

А потом произошло невероятное. Красавица Шурочка с тремя детьми ушла к овдовевшему ректору института. Он перенес ее на руках через порог большой барской квартиры, следом вбежали дети, захватчики пространств. Старый моло-

дой боготворил свою жену так, что та даже стеснялась. Конечно, ей было «жалко Колю», но что поделать? Что? И Шурочка разводила руками над таинственностью жизни, в которой — о, как правильно учили в школе! — всегда есть место подвигам. Именно так она рассматривала случившееся с нею. «Разве легко уходить от молодого к пожилому? — спрашивала ясноокая. — Не каждый решится... Но я так нужна была Ивану Ивановичу».

«Какая хитрая сволочь», — думала уже Нора, потому что не было у нее чувства освобождения и радости: у Николая после всех этих дел случился инфаркт, а где Челябинск — где Москва?

Когда приятели, и Шурочка, между прочим, вытащили Николая из болезни и он приехал в Москву, он стал совсем другим. Уже не было «голых перегонков» по квартире, он сидел в кресле у окна и молчал, и Нора думала, что зря он приехал. Все кончилось.

Расставались уже навсегда, а получилось на полгода.

У каждого обстоятельства есть свой срок. Кончился срок инфаркта, кончился срок ощущения потери детей. Никуда они не делись, Шурочка с удовольствием давала их «поносить на ручках». И потом даже возник момент (время других обстоятельств), когда у Николая оказывались причины не бежать к детям, боясь их потерять. Мадонна Литга и это понимала. Это был какой-то научно-фантастический развод, в котором нормальному

человеку становилось противно от количества добра и справедливости.

Потом была командировка в Москву, встретились и снова очуманели. И снова старая артистка приоткрывала дверь, и что она думала в тот момент — бог весть, но что-то такое очень возбуждающее, потому что однажды она все-таки умерла. Случился, видимо, спазм, а она не сочла возможным звать к себе на помощь Нору в момент ее любви. Чтобы не потерять комнату, они поженились быстро, практически без церемоний. А надо было, надо — это выяснилось потом — поцеремониться. Хотя это сейчас так думается: как только квартирка и прописка встали на первый план, будто подрубился сук. Но что это за сук, если его легко сломать абсолютно естественными вещами.

Нет, все дело было в Москве. Она отторгла чужака Николая, из которого так и «перла провинциальность». Ей это объяснили лучшие подруги. Все ничего, мол, Нора, но прет... Еще бы кто-нибудь объяснил, что это такое. Николай ведь и умен, и образован, и профессионал будь здоров... Правда, не хам... Наивен в оценках людей и событий... Доверчив, как вылеченная дворняга... Вскакивает с места при виде старших, женщин и детей... Какая воспитанность, Норка! Это комплекс неполноценности.

Николай становился самим собой, только когда уезжал в Челябинск. Потом это стало легким маразмом: настоящие люди там. Там! Оглянуться не успела, как обнаружила: живет с ненавистни-

ком Москвы. «Здесь, — говорил он ей, — живут не люди. Здесь живут монстрвичи. Это такая национальность».

Она смеялась. «Тогда ты шовинист!» — «Да! — говорил он. — Россию надо отделить от Москвы».

Так все было глупо и бездарно. Провалить любовь в злобу по поводу московских нравов, Коля, ты что? Вот и то... Он вернулся в Челябинск, через год вернулся к ней... Так и было. Он защитил диссертацию в Челябинске, но ее не утвердил московский ВАК, он поссорился с ВАКом, сказал, что никогда больше... И долго не приезжал.

Тогда же у него начался тик... Все время дергалось веко. Он похудел, а она боялась, не рак ли...

Однажды он не приехал никогда. То есть потом, потом... Но сначала не приехал, не позвонил. Она позвонила сама. Он говорил с ней голосом автоответчика. «Не надо мучить друг друга», — сказала она. «Да!» — закричал он, будто то ли прозрел, то ли увидел заветный берег.

Не разводились года три. Но какое это имело значение? Очереди на ее руку и сердце «не стояло». Конечно, ударились во все тяжкие, как же иначе выживешь?

А потом вдруг ей на голову свалилась Шурочка с сыном Гришей. Показать его глазникам. Николай написал записку, просил принять бывшую жену и сына! Флора-Лопухина была по-прежнему хороша, и пятьдесят четвертый размер ей шел еще больше, чем сорок восьмой.

Гриша... Уснул на диванчике, смежив закапан-

ные атропином глаза. Шурочка ушла на Калининский «поглазеть».

Мальчик спал, как отец, запрокинув голову и высвистывая что-то свое. Норе показалось, что ему так лежать нездорово. Она подошла и повернула его на бок, ее ладонь обхватила его затылок. Густой, почти шерстяной. Пальцы огладили крутую, неправильно лежащую косую прядь...

*19 октября*

...Кажется, она закричала. Ей показалось, что она в той старой квартире и стоит сделать несколько шагов, как она очутится у того диванчика с мальчиком. Шаги даже были сделаны, умственные шаги, которые проконтролировал здравый смысл, сказав: «Назад!»

Не было ни капли сомнений. Ни капли. Тот затылок и этот, вспоминаемый, были... — как это теперь учат в школе? — конгруэнтны. Она не сразу выучила это слово, но дочь Еремина, когда ее некуда было деть, учила уроки у нее в уборной. «Боже! — думала Нора. — Чем им не угодило слово «равны»?»

Но если это был Гриша, то как он здесь оказался?

Она давно поменяла квартиру. Болела мама, нужны были деньги, большие деньги. Ее квартира в центре высоко котировалась по сравнению с этой, привокзальной и непрестижной.

Сейчас она ее даже любит. В ее стенах нет

больных воспоминаний. В них живет сильная независимая женщина, которая не является актрисой милостью Божьей, но живет так разумно и грамотно, что...

...что с ее балкона падает человек, который мог быть (или был?) сыном человека... Фу, фу, сплошное че-че... Мог быть сыном Коли, царство ему небесное, который умер три года тому назад в своем возлюбленном Челябинске. Ей написала об этом Шурочка. Мадонна Литта уже была грессмамой, пестовала внучек и престарелого Иван Иваныча, а «Коля умер от прободной язвы, просто залился кровью». Он был женат, имел дочь. И вот это почему-то оказалось самым горьким. Нора так хотела ребенка, а он так хотел вернуться в Челябинск. Желания не совпали, город победил. Ну не дичь ли? А вот третья женщина взяла и родила девочку. Интересно, сколько ей сейчас лет?

Надо было с чего-то начинать. И Нора позвонила в Челябинск. «Я буду осторожна», — сказала она себе.

Ей ответила женщина. Видимо, одна из дочерей Шурочки. Она сказала, что мама с Иван Иванычем практически постоянно живут за городом. Телефона у них там нет. Да, все здоровы, слава богу. Гриша? Он в Москве. У него нет пока постоянного места жилья и работы, но есть один телефон. Вам дать? Позвоните Грише. Передавайте от



нас привет. И пусть дает о себе знать. Я вас помню, тетя Нора!

Нора набрала номер. Ей сказали, что Гриши нет, уехал в Обнинск, будет завтра.

*20 октября*

Витек проснулся от чего-то неприятного. Уже светлело, но часок-полтора у него еще были, а вот подняло...

На него смотрели сырые, мягкие, мятые тесной обувью ступни сержанта Поливоды. Тот всегда оставлял ступни на свободе, падая на койку. Одновременно до задыхания пряча голову под одеяло.

Самостоятельность жизнедеятельности ступней Поливоды всегда поражала Витька, внушая ему даже некоторый мистический ужас перед жизнью части, отдельно взятой от целого. Вот так у него самого отдельно живет ноготь мизинца на левой руке, надламываясь всегда в одном и том же месте. Надломившись, ноготь сдергивает заусеницу, которая после этого пучится гноем, и майся потом с нею, майся. Хорошо сейчас, когда чистая работа, а раньше с железяками, ржавчиной, маслом, когда что-то чиня, не попадаешь в зазор, а сволочь ноготь будто тащит за собой руку именно туда, где ее прищучит заевшая деталь. Ноготь с набрякшей болью заусеницей имел от Витька полное самоопределение.

Вот и ступни Поливоды. Они цвели и пахли,

как им хотелось. Они были волглými и стыдны-ми. Они вызывали ненависть к укутанному Поливоде, который ничего плохого Витьку не делал, а даже, можно сказать, любил младшего по возрасту. Вчера он оставил ему на ужин кусок итальянской пиццы, которую Витя не переносил ни на вид, ни на вкус. Откуда это было знать Поливоде? Он ел все. А Витя как раз был разборчив в еде, он не понимал новомодной целлофановой пищи. Она в него не шла. Не хватало зубов, чтоб ее пережевать, не хватало слюны, чтоб смягчить и слотнуть.

Так думал в то раннее утро милиционер, хотя ни о чем таком он не думал и не признал бы за свои мысли, выраженные строчкой слов. Просто в голове его было сразу все: ступни, пицца, ноготь, машинное масло и злость, что из-за духа товарища Поливоды пришлось проснуться раньше.

Но стоило Витьку встать и открыть форточку, как ветер выдул из его головы побегу незначительных размышлений, а на их место пришла главная, можно сказать, сущностная задача для ума: найти доказательства, что неизвестного миру бомжа столкнула или довела до падения артистка Нора Лаубе, которая звонком в милицию хотела запутать ясное как дважды два дело. Он видел такой фильм по телевизору: там преступник все время помогает придурковатому детективу — на, мол, смотри, что я тебе показываю; на, мол, слушай, что я тебе скажу, — и придурковатый по-

лицейский за все благодарил, прямо кланялся, но это была с его стороны хитрость.

Правда, когда Витек сказал в милиции, что этот бомж, что шандарахнулся такого-то числа, мог и не сам... Ему сказали, что дело закрыто, и нечего возникать — никто самоубийцу не ищет, никому он не нужен, и надо быть идиотом (слышь, Витя, это к тебе лично!), чтоб искать на пустом месте деньги. Займись лучше криминогенной обстановкой в районе спортивной школы. Замечательный совет. Школа стоит рядом с домом Лаубе. Вроде как нарочно.

Витя удачно появился во дворе: артистка как раз бежала на работу. У него слегка ворохнулось сердце от ее широкого и легкого шага и возникла неясная мысль о том, что длинные ноги совсем не то или не совсем то, что подразумевается в похабном разговоре. «Ноги, которые до шеи, — туговато скрипнул мозгами Витя, — играют другое значение. Это точно, именно так: другое значение. Они умеют ходить красиво и быстро. Взять, к примеру, циркуль...»

— Здравствуйте, — вежливо поздоровался Витек с Норой.

Та не сразу сообразила, кто он.

После того как она вчера узнала, что Гриша жив и здоров, она выбросила эту историю с падением из головы. Она потом перезвонила той женщине, что сказала ей, где Гриша, еще раз и оставила свой номер: «Скажите ему: пусть позвонит тете Норе». Она не уточнила — Лаубе, — чтоб не

засветиться. Пусть не первого, но второго ряда она актрисой была, ее могли знать. Теперь в голове осталась починка перил, потому что с той минуты, как ее стала затягивать балконная дыра, она на него не выходит. Все дело теперь в деньгах. Во сколько ей обойдется этот чужой смертельный полет. В конце концов версия размахивающих в падении ног не хуже всякой другой, если другой нет вообще. И она не видела никогда падающих с крыши людей, в кино падают куклы.

— Все у вас в порядке, Виктор Иванович? Служба идет? — ответила Нора на «здравствуйте», когда сообразила, кто перед ней.

— У меня находится вопрос, — скрипнул Витек.

— О нет! — закричала Нора. — Нет! Только не сейчас. Я буду дома в три. Приходите, если что нужно...

И она умчалась, пользуясь своим совершенным средством передвижения. Снова Витя смотрел ей вслед, и снова смутные какие-то идеи возникали на пересечении его извилин. Так встречаются иногда на перекрестке дорог люди, один на машине, другой на кобыле, третий вообще пешком и с собакой, столкнутся моментно — и разойдутся в разные стороны, и думай потом, думай, что это было? С чего это они сошлись? Так и дороги извилин — хотя про это известно куда меньше, — но название им придумано хорошее, вкусное и одновременно красивое. Как имя женщины. Извилина. Можно Иза. Можно Валя. У него была

знакомая Валя. Из Белоруссии. У нее были длинные отдельные волосины ресниц, и его от них брала оторопь. Витя шел в подъезд Нора и знал — зачем.

Нора же... Нора...

В троллейбусе она вдруг поняла странное: есть, значит, два одинаковых затылка? У Гриши, который в Обнинске, и у самоубиенного мужчины? А откуда она знает, что их не четыре или восемь. И вообще, с чего она взяла косую прядь и прочее? Бомж. Нечесанный и немывтый. Она и видела его на расстоянии, она ведь даже зевак не пересекла, чтоб подойти поближе. Просто бросила взгляд. И, между прочим, сначала на полотенце. Это потом уже... Творческий процесс мысли стал заворачивать в это полотенце черт-те что. Сообрази своей головой, женщина, с какой стати мальчик Гриша, которого ты когда-то подержала в руках, выросши во взрослого дядьку, мог оказаться на твоём балконе? К тебе, Лаубе, пришел климакс и постучал в дверь. «Это я, — сказал он. — Климакс. Я к вам пришел навеки поселиться. У вас будет жизнь с идиотом, но это совсем не то, про что написано в одноименном сочинении. Я не буду вас убивать на самом деле. Но умственные убийства я вам дам посмотреть непременно. Я буду вас ими смущать. Я у вас затейливый климакс».

«Слава богу, — подумала Нора, — что у меня все в порядке с чувством юмора».

Молодой, подающий надежды режиссер все-таки сбил случайную команду для постановки Ионеско. Такое теперь сплошь и рядом, деньги и успех — без гарантий, но кто может себе сегодня позволить отказаться от работы?

Хотя Нора давно знает: великий абсурдист хорош для очень благополучной жизни. Именно она, хорошо наманикюренная жизнь, жаждет выйти из самой себя, чтоб походить по краю, полетать над бездной, снять с себя волосы, обратиться в носорога с полной гарантией возвращения в мир устойчивый и теплый. Но если ты постоянно живешь в абсурде? Как играть абсурд, будучи его частью? Но все равно Нора будет репетировать, воображая — вот где оно нужно, воображение! — что ей возвращаться в мир нормальный. Надо создать в себе ощущение нормы. Чтоб не запутаться окончательно.

Норма — это ее жизнь. Она разумная и пристойная. Два одинаковых затылка, которые случились, — чепуха. Затылок — вообще вещь сложная для идентификации. Это вам не подушечки пальцев, не капелька крови, даже не мочка уха, которая может уродиться и такой, и эдакой. И спелой, как ягода, и вытянутой, и плоской, и треугольно страстной, с прилипшим кончиком, и широко-лопатистой, рассчитанной на посадку любой клипсы, эдакая мочка-клубба.

Затылок же — вещь строгой штамповки. Интересно, как начинал лепить человека Бог? С маленькой пятки или круглого шара головы? Нора закрыла глаза, чтоб лучше увидеть сидящего Твор-

ца, на коленях которого лежала все-таки не пятка — голова Адама. Бог положил на затылок руки и замер. Нора в подробностях видела Руки эти Обнимающесозидательные и круглую мужскую голову.

...Не было ли Господне замирание признаком сомнения и неуверенности в начатой работе? Уже все было сделано. Сверкали звезды на чистоневенском небе, зеленела трава-мурава, все живое было лениво и нелюбопытно, потому что ему было не страшно. В мире был такой покой, и та круглая болванка, что лежала на коленях, еще могла стать оленем или сомом. Мир не знал опасности, он был радостен, и Великому даже показалось, что, пожалуй, хватит. Не испортить бы картину.

Нора широко открыла глаза. «Я богохульствую, — сказала она себе. — Я Его наделяю своим сомнением...» Троллейбус дергался на перекрестках, люди (создание Божье?) были унылы и злы. Они опаздывали и вытягивали шеи, вычисляя конец пробки. И еще они прятали друг от друга глаза, потому как не хотели встречи на уровне глаз. В их душах было переполнено и томливо. И они жаждали... Выхода? Исхода? Конца? Нора думает: вот и она едет репетировать абсурд, увеличивая количество бессмысленного на земле. И все идет именно так, а не иначе.

А тут еще возьми и случись знакомый неизвестный затылок. Пора было выходить. «Что-то похожее у меня уже было, — думала Нора. — В чем-то таком я уже участвовала».

Виктор Иванович Кравченко нажимал кнопку звонка квартиры, что под Норой. Ему открыла женщина, лицо которой было стерто жизнью практически до основания. То есть нельзя думать, что не было носа, глаз и прочих выпукловогнутостей, но наличие их как бы не имело значения. Наверное, целенькие горы тоже выглядели никак по сравнению с разрушенным Спитаком. Никак — предполагаю — выглядит и Солнце дня смерти.

Вите такие лица не нравились, и хотя видел он их миллион, каждый раз что-то смутное начинало разворачиваться в его природе. На ровном месте он начинал обижаться сразу на всех, и возникало ощущение тяжести под ложечкой, которое и спасало, переводя стрелку со смуты мыслей на беспокойство пищеварения. Что несравненно понятней. Вот и сейчас, глядя на женщину, открывшую ему дверь, он решил, что жопка останкинской колбасы явно перележала в холодильнике и напрасно он так уж все доедает. Надо освободиться от жадности деревенщины. «Ты ее помни, но забудь», — учил его капитан-психолог.

— Ну и чего тебе надо? — спросила женщина, впуская Витьку в такую же, как сама, стертую квартиру.

— Я по поводу случая падения, — вежливо сказал Витя.

— Меня тогда не было, — сказала женщина, — я стояла в очереди в собесе. Такая, как в



войну за хлебом — воздуха в коридоре нету, пустили бы уж газ, чтоб мы там и полегли все разом.

— Нельзя так говорить, — сурово сказал Витя. — Это негуманно. А кто-нибудь другой дома был?

— Кому ж быть? — спросила женщина. — Ольга на работе с утра.

— Ольга — это кто?

Женщина заполошилась, лицо как бы пошло рябью, потом стало краснеть, потом все вместе — рябь и цвет — собрались вкупе, и уже было ясно, что лучше от нее уйти, что на смену стертости пришел гнев с ненавистью под ручку и тут, как говаривал Витин дядька, уже хоть Стеньку об горох, хоть горох об Стеньку.

— Так куда ж ей деваться? — кричала женщина. — Если нигде ничего? Кому на хрен нужна ваша прописка, если полстраны живут нигде и не там? Скажите, пожалуйста! Бомжа, проклятого пьяницу ему жалко, вопросы задавать не лень. А я сама, считай, бомж! Вот продам квартиру Абдулле, Олькиному хозяину, и кто я буду? Вот я тогда под ноги тебе и прыгну; моя дорогая милиция, дать тебе нечего!

— Успокойтесь, гражданка, — вежливо сказал Витек, потому что ни на грамм он на нее не рассердился, а даже более того — внутри себя он ее поощрял в гневе и ненависти.

Капитан-психолог объяснял им, что чем больше из человека выйдет криком, тем он будет дальше от «поступка действием». «Шумные, они са-

мые тихие», — говорил он им. Понимай, как знаешь, но Витя понимал.

— Разрешите посмотреть ваш балкон, — спросил Витя.

— Нашел, что смотреть, — тяжело вздохнув, уже смиренно ответила женщина.

Витя правильно понял смысл ее слов: смотреть было на что...

Балкон был по колено завален бутылками и банками, их уже не ставили, а клали, как ляжет. «Это все может посыпаться на головы людей, — подумал Витя, — щиты могут не выдержать напора». Но тут же другая мысль вытолкнула первую, нахально закрыла за ней дверь. Вторая мысль сказала: «Смотри, кто-то шел по этим грязным бутылкам в направлении к левому углу балкона. Бутылки порушены шагом, и грязь с них частично вытерта скорее всего штаниной».

— Вы ходили по балкону? — спросил Витя.

И тут он увидел, какой могла быть женщина, если бы... Он увидел ее первоначальный проект, задумку художника. Она улыбнулась и, несмотря на то, что ей не удалось доносить до встречи с Витей все зубы, улыбка совершила превращение. У женщины оказались серо-зеленые с рыжиной по краю радужки глаза, у нее были две смешливые ямочки, и хоть от них бежала вниз черная нитка морщины, это уже не имело значения. Нитка была красивой. Женщина была задумана в проекте, чтоб вот так, с ходу, потрясать неких

мужских милиционеров, вообразивших себя знаатоками жизни и сыска.

— По нему разве можно ходить? — смеялась женщина. — Я разрешаю попробовать.

Штанов было жалко, но он сделал этот непонятный шаг в гремучую кучу — и надо же! Случилось то, чего он испугался сразу: отошел штырь от щита, и бутылки — две? три? — выскользнули на волю. Боясь услышать снизу чей-то смертный крик, Витя рухнул всем телом на бутылки, обнимая и прижимая их к себе. Те, улпетнувшие, громко звякнули на земле, прекратив свое существование, «но не забрали жизнь других», — облегченно думал Витя, ощущая жирную грязь на себе почти как счастье.

— Идиот! — кричала женщина. — Вас таких по конкурсу отбирают или за взятку? Что я теперь с этим буду делать? Заткни дырку шампанским! Слышишь? Падает только пиво!

Но Витя не слышал. Прямо под ним был след большой ноги, и Витя испытывал сейчас просто любовь к нему, он даже потрогал его рукой. Силу любви люди еще не измеряли, а те, которые пытались, внутренне были не уверены в результатах своих замеров. Ну да, ну да... Говорили люди... Знаем, знаем... Но от чего она нас защитила, любовь? Или куда она нас привела? Конечно, как фактор размножения, кто же спорит? Но чтобы что-то более весомое, чем создание количества...

Тем более что все физические опыты, всякие там биотоки и свечения тоже ничего такого осо-

бенного никогда и не показывали. Да, любовь — это сладко, это волнительно, как почему-то говорят старые актеры; клево и атас — говорят молодые придурки, а Витя, имея малый опыт в этом тонком деле (оторопь перед пятью ресничками девушки-белоруски и волнение от бесконечности ног актрисы Лаубе), отдался чувству любви к следу на балконе так самозабвенно, так безоглядно, что был награжден еще одной уликой — куском кармана, который обвис на остряке бетона. Снял его с самой что ни на есть нежной осторожностью и положив за пазуху — к карманам было не добраться, — Витя занялся спасательными работами. Хозяйка квартиры принесла ему доски от бывшей книжной полки, и Витя в лежачем положении городил заслон шевелящимся под ним бутылкам, горячим до побега.

Потом женщина («Зови меня, сынок, тетей Аней») чистила его со всех сторон и была в этот момент тоже близкой к задуманному проекту, от нее в суете движений со щеткой пахло как-то очень тепло и вкусно, и Витя, несколько запутавшийся в запахах городской жизни и уже не уверенный, какой из них хорош, а какой дурен (он, например, на дух не выносил запах одеколона «Деним», который когда-то взял и купил по наводке рекламы), так вот тут с тетей Аней было без вариантов — она пахла хорошо. И он удивился этому, честно удивился, потому что по теории жизни некрасивое не должно пахнуть хорошо.

Когда тетя Аня (вообще-то она Анна Сергеевна, и ему надо соблюдать правила. «На интимные слова милиционер при исполнении поддаваться не должен, — объяснял капитан-психолог. — Слово — вещь двойковыпуклая») открывала ему дверь, она просто никуда не годилась ни на вкус, ни на цвет, потом эта улыбка (берегись, Витек! Окружают!), а теперь вот запах... Хочется сесть и попросить чаю.

— Хочешь чаю, сынок?

— Я уже и так, — ответил Витя. — А мне еще в спортивную школу. Но спросить обязан: он кто, тот, что был на балконе и оставил следы?

— Ты оставил следы, — засмеялась тетя Аня (или Анна Сергеевна).

— А вот это? — И Витя достал и предъявил карман.

— Что ж ты такую грязь на голой душе держишь? — возмутилась женщина. — Ума у тебя минус ноль!

Она взяла кусок ткани и выбросила его в по-мойное ведро.

— Вы что? — закричал Витя, кидаясь спасать улику. Но тетя Аня отодвинула его рукой и сняла с крючка старенький пиджак. Карман у него был оторван.

— Я в нем балкон убираю. Но последний раз это было уже года полтора как... Зацепилась, не помню за что... Да он весь рваный... Видишь, локти... А подкладка так вообще...

— И все-таки там есть след... — упрямо твердил Витя.

— Еще бы! Ты там уж походил и полежал! — Она смеялась, и была красива, и хорошо пахла. И Витя окончательно понял, что его заманивают... Есть такие голоса. Как бы птицы, а на самом деле совсем другое... Например. Птица выпь...

— Будем разбираться, — сказал Витя. Он бежал и думал, что в одну замечательно открытую минуту у него было все: след, карман, а потом — раз! — и ничего не осталось. У кармана нашелся хозяин, а след мог быть чей угодно. А то, что по бутылкам пройти без опасности для ходящих по земле невозможно, в этом он убедился на собственном дурном опыте. Витя представил, как он лежал на шампанском и пиве, и весь аж загорелся. «Главное, — говорил капитан-психолог, — дурь своего ума нельзя показывать никому».

Надо соизмерять с окружающим силу своих телодвижений. Вечером того же дня рванула из Москвы племянница тети Ани Ольга, рванула так, что растянула связки, и в поезде, который ее уносил в южные широты, пришлось пеленать ногу полосками старой железнодорожной простыни, которые дала ей проводница. Она же пустила Ольгу без билета, все поняла сразу, без звука взяла деньги и сказала, что вся наша милиция уже лет сто ловит не тех и не там. Поэтому спасти от нее человека — дело святое. И на этих словах проводница стала рвать простыню на полосы для пеленания ноги.

На другой день закрылись две лавки с овоща-

ми, хозяином которых был некий Абдулла. А всего ничего: безобидный милиционер пришел совсем по другому делу к женщине по имени Анна Сергеевна.

Что-то важное, а может, совсем пустяковое, но спутнул Витя-милиционер, идя по намеченному плану. Из-за него в человеческом толковище возникли суэта и колыхание, но так, на миг. Потом сомкнулись ряды людей и обстоятельств, и где она теперь, ненужная нам Оля с туго перевязанной лодыжкой, которую она взгромодила на ящик с яблоками? И где Абдулла, принявший сигнал опасности, хотя Витек понятия о нем не имел и не держал его в мыслях? Витек шел своим одиночным путем, а капитан-психолог много раз им повторял: «Одиночество — враг коллективизма и слаженности борьбы, а значит, хороший милиционер — враг одиночества».

*22 октября*

Она знала: абсурд ей не сыграть. Дурная репетиция. Дурной режиссер. На нем вытянутый до колен свитер, под который он поджимает ноги, сидя на стуле. Не человек, а туловище Доуэля.

— Нора! — кричит. — Вы спите?

— «Господин старший инспектор прав. Всегда есть что сказать, поскольку современный мир разлагается, то можешь быть свидетелем разложения».

— Нора! Нора! Вы говорите это не мне! Не мне! И не так!

— Я говорю их себе? — спрашивает Нора.

— Господи! Конечно, нет! Эти слова — ключ ко всему. Каждый — свидетель. Каждый — участник.

— Разве Мадлен такая умная?

— При чем тут ум? — выскальзывает тонкими ногами из-под свитера режиссер. — Она женщина. Она просто знает... Отключи головку, Нора! Она сейчас у тебя лишняя...

«Какой кретин! — думает Нора. — Хотя именно кретины попадают в яблочко, не прицеливаясь».

— Головка снята, — отвечает Нора. — Иду на автопилоте.

Еремин жмет ей под столом ногу.

«Друг мой Еремин! Ты тоже кретин. Ты думаешь, что я что-то из себя корчу? А мне просто скучно и хочется подвзорвать все к чертовой матери. С моего балкона выпал маленький мальчик. Его зовут Гриша... Правда, он уже вырос... Это неважно... Будем считать, что он все еще маленький... «Бедняжка, в твоих глазах горит ужас всей земли... Как ты бледен... Твои милые черты изменились... Бедняжка, бедняжка!»

— Нора! Это не Островский! Что за завывание? У тебя Ионеско, а не плач Ярославны, черт тебя дери!

— Прости меня! — Она возвращается из тумана, в котором Ионеско машет ей полотенцем с



балкона, а она несет на руках мальчика с невероятно крутым завитком на затылке. — Прости! Я действительно порю чушь...

### 23 октября

Анна Сергеевна, тетя Аня, ночью сносила на помойку бутылки с балкона. Она ждала Ольку, но та смылась без «до свидания», такое теперь время — без человеческих понятий. Раз — приехала. Раз — уехала. Анна Сергеевна не любила это время, хотя и прошлое не любила тоже. Поэтому, когда бабы сбивались в кучу, чтоб оттянуться в ненависти к Чубайсу там или кому еще, она им тыкала в морду этого полудурка «Сиськи-масиськи», и бабы говорили: «Да! Тоже еще тот мудака». На круг получалось: других как бы и не было. А значит, без гарантии и на завтра. Почему возникли бутылки? Потому что раньше их сдавали. Молочные у нее всегда аж сверкали, когда она их выставляла на прилавок. И бывало, что отмытостью этой она унижала других хозяек, и тогда те отодвигались от мутной тары — как бы не мои! А она, конечно, стерва, кто ж скажет другое, отлавливала отведенные в сторону глазки и говорила им громко, до бутылочного звона, что бутылки надо мыть в двух водах, что ее мама в свое время вообще старалась набить в бутылку побольше кусочков из газет, и у нее — мамы — тоже все сверкало. Когда это было! Теперь же она скидывает грязные бутылки в ночь.

*Мемория*

На третьей ходке Анна Сергеевна столкнулась с артисткой, что жила над нею. Она к ней относится без этого подхалимского сю-сю, которым обволакивают Нору в подъезде. Но стоит той исчезнуть с глаз, такое вослед говорится, что Анне Сергеевне хочется придушить баб каким-нибудь особенно извращенным способом. Был случай в ее жизни. Она — еще совсем девчонка. Замуж выходила девка из соседнего барака. Гуляли во дворе широко, весело. Мочевой пузырь наполнялся так быстро, что они, дети, не добежали до уборной, а присаживались за уголочками барачков или помоек, чтоб не пропустить ничего из веселого действия.

А на следующий день — крик, шум, слезы... И исчезновение жениха, то бишь уже мужа, раз и навсегда. Страшные и непонятные речи. Он ей, жене-невесте, предложил такое! Бараки зашлись гневом. Она, дитя совсем, видела тогда чудо: шевеление домов. И даже их вытягивание вверх, как бы на носочках. Растягивание подъездов до выражения ухмылки беззубого рта. Мигание оконных переплетов. Сморщивание крыш...

Теперь же, если раскрутить все назад, дела было на копейку. Но кто тогда знал эти слова? Оральный — это скорее орущий. По близости смысла. Секс же... Про него слыхом не слыхивали. Та несчастная, которая изгнала извращенца, потом так и не вышла замуж, потому как сдвинулась умом и стала дурно кричать при приближении мужчины. Мама Анны Сергеевны объясняла громко, на весь

двор, вешая белье: «Вы, бабы, что? Вчера вылупись?» Но у мамы Анны Сергеевны слава была сомнительная. Она всю войну прошла от и до. И у нее было столько мужиков, что даже маленькая Анечка может это засвидетельствовать. И дядя Коля. И дядя Изя. И дядя Володя. И Петр Михайлович. И наоборот — Михаил Петрович.

Но как мамочка избила доченьку, когда та после школьного вечера пришла с верхней растегнутой пуговичкой на белой кофточке, знает только дочка Анечка. Прошедшая Крым и Рим, мать заказала эту дорогу дочери. И дочь приняла это как должное. Анна Сергеевна осталась на всю жизнь женщиной строгой и даже мужу лишнего не позволяла, а когда на того, бывало, накатывало, она быстренько ставила его на правильное место и правильный путь, а он возьми и умри... Вот когда она взывала в одинокой постели, потому как поняла (или прочувствовала?), что жизнь так быстро, как миг, прошла мимо и только ручкой насмешливо махнула. «Дура ты!» — как сказала бы жизнь.

### 23 октября

Вот что моментно пронеслось в душе Анны Сергеевны, когда она спускала вниз третий мешок бутылок, а Нора придержала ей дверь.

«Она подумает, что я пьяница», — вздохнула Анна Сергеевна, уже не удивляясь этому свойству ее бытия: о ней всегда думали хуже, чем она есть.

«Оказывается — тихая пьяница», — подумала Нора тоже без удивления — в их театре через две на третью такие.

Эта общая на двоих неувидленность как-то нежно объединила их, и Нора схватила угол мешка и приноровилась к уже освоенному шагу Анны Сергеевны, а та в свою очередь почувствовала радость принятия чужой помощи. Сказал бы ей кто еще час назад, что она способна на такое, не поверила бы.

Мы не знаем течений наших внутренних рек. Какая-нибудь чепуха в виде мешочного угла так пронзит тайностью жизни, что хоть плачь!

В лифте, уже возвращаясь, Анна Сергеевна, чтоб не втягивать громко накопившиеся от устатку сопли, деликатно провела под носом пальцем, отчего нарисовались усы, а Нора достала платочек, пахнувший духами счастья, и вытерла ей их, но тут как раз возник пятый этаж, и Анна Сергеевна вышла.

Как там кричит Норина абсурдистская героиня? «Глотайте! Жуйте! Глотайте! Жуйте!» Ведь и на самом деле... Нежная пряжа отношений... Что-то детское и сладкое... Хочется сглотнуть. Надо пригласить эту женщину в театр. Дадут ли ей хорошее место?

*27 октября*

Прошло не два дня, а четыре.

Нора снова позвонила по тому же московскому телефону.

Ей ответили, что Гриша еще не вернулся из Обнинска. Никто не волновался. Человек мог задержаться. Дела, проблемы... Она не имеет права пугать других своими страхами. Хватит с нее придурошного милиционера, который, кажется, начинает ее подозревать. Она наняла мужиков чинить балконные перила. Подогнала так, чтобы быть в этот день дома, но в театре случилась беда. В одночасье умерла актриса, не старая, между прочим, заменили спектакль, назначили утреннюю репетицию. Нора остро чувствовала эти моменты одиночества своей жизни — никого и ничего.

Болезнь одной она научилась, умела какую-нибудь мужскую работу, но тут нужен был просто свой человек, который бы приглядывал за работягами, потому как — мало ли что? Но попросить было некого. Сначала подумала о Люсе со второго этажа, но тут же ее отвергла. Как подумала — так и отвергла, без достаточных оснований ни на да, ни на нет.

Нора пошла к Анне Сергеевне. Так получалось, что вроде ей и пойти больше не к кому, но это да, так и было... Жила в подъезде знакомая учительница. По средам у нее свободный день, и она в среду всегда спит долго, встанет, попьет чаю и ложится снова, и главное — сразу засыпает. Странновато, конечно, в эру хронической человеческой бессонницы. Но именно из-за сонливости Нора ее отвергла: «Пусть спит, пусть».

Получалось, что, кроме как к Анне Сергеевне,

идти и некуда. У той в тот день было дежурство в диспетчерской. Это от нее люди узнавали, что «все прорвало, к чертовой матери», что «во Владивостоке уже неделю не топят, а у вас на сутки отключили — нежные очень», что «почем я знаю?», что «бардак был, есть и будет, а с чего бы ему не быть?». И так далее до бесконечности перемен в настроении и кураже Анны Сергеевны. Но Норе она сказала: «Какие дела, конечно, посижу, за нашим народом глаз и глаз нужен, а то я не знаю?» Сама она тут же позвонила в диспетчерскую и сказала, что не придет, пошли они все, у нее мильон отгулов, пусть ищут замену, когда им нужно, она всегда есть, а сейчас — ее нет. На хрен!

*28 октября*

Пока работяги возились на балконе, Анна Сергеевна тупо сидела на кухне. В таком сидении есть свой прок: где-то что-то накапливается своим путем, без участия воли там или всплесков мысли. Просто сидишь, как дурак, а процесс идет очень даже может быть и умный. Что-то к чему-то прилепилось, что-то от чего-то отвалилось, тонкая материя расслабилась, чтоб свернуться потом как ей надо.

Через какое-то небольшое время Анна Сергеевна поняла, что ее страстное желание посмотреть, как живет артистка, вместо того чтобы доставить удовлетворение — вот, мол, сижу, смотрю, оглядываю, ощупываю (мысленно, конечно), —

вызывает в ней ощущение злой печали. Вместо того чтобы запоминать, как стоят у Лаубе чашки и какие фигли-мигли прицеплены у нее к дверце холодильника, ее накрыла и жмет ядовитая тоска, а понимания этому как бы и нету...

Мужики же, чинители, повозившись часок, быстро соскучились по свободе рук и ног и уже сообразили, что не тот взяли сварочный аппарат, что нужен им абсолютно другой, что они за ним сходят, а потом уж раз-раз... Только их и видели.

Анна Сергеевна переместилась в комнату. Со стен на нее смотрела Нора в образах: Нора — графиня. Нора — испанка, Нора — ученый. Анна Сергеевна почувствовала озноб от такой увековеченной жизни артиста, который — получается — никогда сам, а всегда кто-то. Но тут на трюмо в дешевенькой рамочке — Анна Сергеевна знает: в такой рамочке она тоже стоит у себя на серванте — она увидела молодую Нору в сарафане и с голым левым плечом. Плечо было спелым, покатым и даже как бы влажным от теплого дождя, но это уже воображение. Откуда можно узнать про дождь на черно-белой и померкшей фотографии? Анна Сергеевна смотрит на Норино левое плечо. На правом, как положено, широкая лямка, не тоненькая тюфелька, чтоб абы не сполз лиф, а в целую пол-ладонь. Анна Сергеевна носила такие же, когда ездила в деревню. Важна была еще и высота кокетки сарафана, чтоб не дай бог не вылезла бы подмышка с куском лифчика. Сплошь и рядом лахудры носили такое. У Норы лямка сполз-

ла — значит, он был широкий, вольный сарафан и лифчика на ней не было во-об-ще.

Анну Сергеевну охватила такая болючая обида, что с этим надо было что-то делать. Она вынула фотографию из рамки и стала рассматривать ее на свет (тоже мне эксперт!) и обнаружила, что та отрезана, что по ту самую левую крамольную Норину половину кто-то стоял. И это был мужчина. Виднелся грубый локоть. Анна Сергеевна продолжила локоть. Получалось, что это ее муж стоит в любимой позе, сложив ладони на широком ремне. Он всегда так фотографировался: локти — в стороны, а руки — на ремне. Глупая поза. Анна Сергеевна испытала гнев на покойника, который и умер рано, и фотографироваться не мог, и никогда ничего ей не сказал ни про ее плечи, ни про ночи. Как грабитель нападал на нее ночью, а если натыкался на трусики, то поворачивался спиной, прикрыв голову подушкой, а она в этот момент чувствовала запах менструации как позор жизни. А баба уже была, не девочка.

Какое там левое плечо!

Она даже не заметила, что рвет фотографию Норы на мелкие кусочки. Она испугалась, растерялась, клочки сунула в карман, а рамку положила на самую верхнюю полку. Потом она сидела и перетирала в прах то, что осталось от старой фотографии.

Как это бывает с людьми: сделав ненароком дурное кому-то, мы больше всего начинаем его же и ненавидеть. Но кто ж признается в себе как источнике зла?



Анна Сергеевна обхватила себя руками от неловкости в душе и мыслях. Опять же... Разве она за этим сюда пришла? За собственным смятением?

Она же шла за любопытством, ей хотелось знать, как это у тех, кто всегда при маникюре, кто носит разные обуви в разные погоды на высоком каблуке? Ей хотелось знать, как это, когда ты знаменитая и на тебя оглядываются, как? Но у нее по неизвестной причине случилось совсем другое настроение. Совсем. И это было Анне Сергеевне неприятно. Она прикрыла плотнее балконную дверь, твердо зная, что чинильщики не возвращаются быстро, когда у них случается неправильно взятый аппарат. Что они могут не вернуться совсем и что тогда будет делать эта Лаубе завтра? Она-то, Анна Сергеевна, больше ни за что не останется, потому что у нее от этой квартиры случилась душевная крапивница, этого ей только не хватало.

Анна Сергеевна села в кресло, которое, по ее мнению, стояло неправильно — на ее вкус, быть бы ему развернутым иначе, но какое ей дело! Села в неправильное кресло, удрученно вздохнув, что все не так и не то. «Нет, — сказала себе. — Я не хотела бы быть ею».

Это была, конечно, ложь-правда, но именно она сработала динамитом.

У Норы было мрачное настроение. Кого попросить сидеть завтра? Наверняка балкон за день не починят, а у нее никаких шансов освободить-

ся. Хоть привози из Мытищ тетку, но ее действительно надо привозить: у тетки бзик — она не ездит на электричках, потому как в них нет туалетов. Она, тетка, должна твердо знать: если ей приспичит, уборная есть рядом. Нормальная старуха, но в этом безумная. Куда бы ни шла, ни ехала, вопрос о туалете — первый. Поэтому Нора раз в сто лет ездит к ней сама, а когда у нее случаются премьеры, на которые нестыдно позвать, то она берет машину и привозит родственницу. У тетки красивое имя Василиса, но в коротком варианте не нашлось ничего, кроме Васи, но это совсем уж гадость для барышни, и ее с детства звали насморочно Бася, а теткин папа — Нора помнит старика, еще той внучки инженера-путейца, уже сто лет покойника, — так вот, папа этот ни к селу ни к городу всегда так и добавлял: «Она у нас — Вася с насморком».

Уже нет никого из тех людей, но Бася — Вася с насморком — так и осталось. И в театре иногда Нору спрашивали: «А эта твоя Вася с насморком жива?»

Так и останется она во времени: причудой отмечать расположение уборных и дурачьим приименем.

Нора решила поговорить с Ереминым, не расщедрится ли он на машину в Мытищи? Но до того надо было поговорить с теткой.

В перерыве она пошла к телефону, чтоб позвонить той, но допрежь набрала свой номер. Анна Сергеевна отвечала отрывисто и недружественно

но: мастера ушли за аппаратом. Что она делает? Сидит.

«Ах ты боже мой! — подумала Нора. — А предложи я ей деньги, как она отреагирует? Конечно, теперь все иначе. Теперь денежки правят бал, но мы с ней другое поколение... Мы еще помним, что люди помогали за так... По душевному порыву»... Гнусность в том, что — Нора это давно поняла — появилась популяция промежуточных людей. С ними хуже всего. Они мечутся меж временами, не зная, какими им быть. Им хотелось бы сохранить вчерашний порыв в том чистом виде, когда они, как идиоты, перлись на химические стройки, не беря в голову никакие возможные осложнения для собственного здоровья. Но теперь к порыву надо присобачивать деньги. Получается уже не порыв. Что-то другое. Вот тут и возникает злой и растерянный — промежуточный человек. Хуже нет его, испуганного, ненавидящего поток чужого времени, лихо уносящего вперед других. Спорых и скорых.

Нора позвонила тетке, но та отказалась сразу. «Нет, Норочка, нет! Я невыездная. Теперь уже навсегда».

— Бася. Ты спятила! С чего бы это?

— Такое время. Нельзя уезжать далеко от дома.

«Я ее обольщу», — подумала Нора, имея в виду Анну Сергеевну. Она подумала об этом в тот самый момент, когда Анна Сергеевна невероятно kloкочущим от странной гневности сердцем твердо решила: да никогда больше не будет она ню-

хоть чужие квартиры и рассматривать чужие фотокарточки. Нечего ей делать в мире этих так называемых... Она честно прожила свою жизнь, зачем ей на старости лет артистки, у которых все не как у людей? Заглянула в ящик, а там шахматное белье. Анна Сергеевна очень долго перерабатывала в себе отношение к цветочкам на белье, с трудом взошла на постельные пейзажи, но шахматы? Белье — поняла она сейчас окончательно — должно быть белым! Белым! Белым аж голубым, это когда оно на морозе трепещет и надувается парусом. И вообще... Разве можно определить на цветном белье степень его чистоты? Ее бабушка прощупывала простыни пальцами, слушая тоненький скрип отполосканной материи. А мама вешала белье на самое что ни на есть солнце в центре двора, унижая барачный люд степенью собственной белизны и крахмальности. Такими были предметы гордости. У Анны Сергеевны сердце просто сжалось от воспоминаний о времени тех радостей. «Оральный секс!» — сказала она вдруг громко, и слова заметались в комнате туда-сюда, эти стыдно основополагающие время слова. Анна Сергеевна последила за их полетом, как они слепо тычутся в предметы, потихоньку теряя силу своей оригинальности. Возбужденная образом оглашенных летающих слов, она как истинный волонтерист решила твердо: в комнате артистки этим словам и место. В собственном же доме у Анны Сергеевны они бы — слова — просто не взбухли бы и не взлетели.

Витя же шел путем зерна. Внедрялся и тужился пустить росток. Правда, он этого не знал, ибо был бесконечно далек от формулировок, какими, к примеру, сыпал туда-сюда капитан-психолог. У того просто отскакивало от зубов точное выражение. Вчера он ему сказал: «Ты, Кравченко, берешь в голову больше, чем там может поместиться по объему черепа». Сказал и ушел, а Витя просто почувствовал, как из ушей — кап, кап... Лишнее. Он тогда, действительно, такое себе вообразил, что на лице тут же отразилось и было замечено тонким вниманием психолога.

Витя вдруг решил, что «упаденный человек» знал какую-то страшную тайну Лаубе. Та могла быть курьером-наркоманом, а могла передавать прямо со сцены шпионскую информацию: идет налево — значит, ракеты подтянули к Калининграду, идет как бы в зал — значит, начинается китайская стратегия. И вообще у нее, у Лаубе, любовник вполне может быть крупным генералом, из тех, которые ползают по карте мира, расставляя туда-сюда стрелочки. Вот она и столкнула дурачка, который каким-то образом все узнал, а он напоследок последним разумом схватил полотенце, полосатое, как флаг. А флаг почти родина. Витя аж вспотел от возникшей картины подвига, тогда-то и случилось из ушей кап-кап...

Анна Сергеевна, отводя глаза, сказала Норе, что больше «нет, не смогу посидеть», а эти, которые мастерские, так и не вернулись. Не надо было им давать аванс, это же как дважды два.

— Спасибо, — ответила Нора. Она почувствовала, что эта *вечерняя* Анна Сергеевна была не та, что *утренняя*. Конечно, интересно бы знать, что случилось за это время, но ей не до того... Главное она поняла сразу: ей соседку не обольстить, стоит вся как в презервативе — ни кусочка живого тела, чтоб тронуть пальчиком.

— Спасибо вам, — сказала Нора достаточно вежливо, все-таки актерство бесценно в случаях лицемерия. Потом она вышла на балкон. Процесс починки, видимо, начинался с окончательного разрушения. Балкон состоял теперь из огромной зияющей дыры, которая заманивала, заманивала...

Нора подошла и потрясла ногой над пустотой, ощущая ужас под ребрами, в кишках, и даже подумала о том, что животный страх потому и животный, что он не в голове, не в существующей над пропастью ноге, не в сердце, которое даже как бы не убыстрило бег, а именно в животе, в его немыслящей сути... Она вбежала в комнату, задвинула все шпингалеты и зачем-то придвинула к балконной двери кресло. Уже дома, в безопасности, она поняла: та степень ужаса, которая выразилась в этом придвинутом кресле, была равна двум страхам: ее собственному и тому, чужому, предположительно Гришиному, для которого страх был последней и окончательной эмоцией. Он же, страх, каким-то образом остался на ее балконе, а значит, прав тот парнишка-милиционер, который учувствовал его и решил: неизвестный, оставивший страх, упал с ее балкона. У этой нелепой и

невозможной истории должно быть свое простое объяснение, как есть оно у любой с виду запутанной задачи. Когда это выяснится, все скажут: «Какими же мы были дураками, что не догадались сразу».

Нора набрала номер, который набирала уже не раз. Ей снова сказали, что Гриша в Обнинске, правда, добавили: чего-то он там застрял? Нора настойчиво стала узнавать, нет ли у него еще кого в Москве, к кому он мог вернуться из Обнинска? На что ей резонно ответили: «Так ведь он человек холостой. Мало ли...» И там, где-то там, на другом конце шнура, засмеялись найденному определению «холостой, мало ли...».

Поверхностным сознанием Нора отметила про себя, что ее, звонящую женщину, вполне могли принять за ту самую, которая принадлежит этому «мало ли».

Ах, Гриша, Гриша... Каким беспомощным ты был, когда тебе закапывали глаза. Как ты терялся, а в растерянности мгновенно засыпал. Счастливое свойство некоторых людей уходить в сон, как в спасение. Власть бы нам всем в какой-нибудь недельный анабиоз, чтоб проснуться с ясной головой и чистым сердцем, без злости, зависти. Проснуться, чтоб жить долго и счастливо... Боже, какая дурная сказка разыгралась в ней! Какое ей дело до всех? Ей бы разобраться с собой, с этим балконным проломом, с простой житейской проблемой: кого оставить в квартире, когда придут чинильщики? А если они не придут? Если они взяли

у кого-то уже следующий аванс? Где их тогда искать? А после всего этого надо идти и репетировать абсурд, который она не умеет играть, он ей не поддается, он выскользывает из ее рук, и режиссеру все время приходится выпрастывать ноги из-под свитера, чтоб, приблизившись к ней на тонких цыплячьих лапках, объяснить глубинную сущность парадокса.

Свет мой зеркальце! Скажи, почему мне так томливо и тревожно? Я не ответственна за выросшего чужого ребенка. В конце концов! Ты ничего о нем не знаешь. Может, так ему и надо? Может, балкон написан ему свыше? И потому быть балкону. И быть свержению с него вниз. С полотенцем в руке. Ибо так тому... Аминь.

*29 октября*

Работяги не пришли. Она ждала их до последнего, потом второпях надела не те сапоги, а на улице коварная, не видимая глазу наледь. У поребрика разъехались ноги.

— Извините, — сказала, ухватившись за чей-то рукав. — Вы меня не подстрахуете?

«Вот как это происходит, — подумал в этот момент Витя. Он охранял только что побитый и раскуроченный киоск и видел Нору, хватающую мужчину, — вот как!» В его несильной голове мысли сначала разбежались во все стороны, а потом столкнулись до красной крови. И Витя увидел одновременно Нору Лаубе, египетскую Клеопатру, барыню из «Гермуму» и их сельскую библио-



текаршу Таньку, портящую мужиков каким-то особым способом, отчего они после нее ходили притуманенными и ослабшими, что для жизни не может годиться, потому как потому...

В каком-то розоватом свете Вите показалось, как этот, который страшит артистку, летит с известного балкона с ярким полотенцем в руках. Хорошо, что подъехала милицейская машина и от него потребовали «фактов по делу поломки киоска», а так куда бы увела Витю мысль?

Вадим Петрович знал этот покрасневший кончик носа, который только один и краснел в холод, подчеркивая алебастровые крылья переносицы. Он знал его и на вкус, этот кончик солоновато-холодный, и как он выскальзывал из его теплых губ, когда он его отогревал. Снизу лицо женщины было скрыто кашне, сверху — огромными темными очками. Но в покрасневшем кончике он ошибиться не мог.

Нора же, оперевшись на чужую руку, встала на твердое место, проклиная себя за то, что наде-ла не те сапоги, что в этих рискует сломать шею, а такси теперь недоступно, тем более если ты сдуру вносишь аванс за работу, которую тебе никогда не сделают. Оттолкнувшись от руки мужчины, она даже улыбнулась ему в глубины кашне. Это неважно, что он этого не видел, — важно, что он знает: улыбнулась — значит, перед Богом чиста. То же, что не развернула для этого лицо, так ведь не тот случай. Всего ничего — секундно подержалась рукой, чтоб помочь ногам найти опору.

Вадим Петрович смотрел ей вслед. Он знал эту походку. Так устремленно вперед не ходит никто.

Женщина уходила. Еще шаг, и она скроется в переходной яме...

— Нора... — сказал он. В сущности даже не сказал. Прошептал.

И она остановилась. Так же быстро, как вперед, она теперь шла назад, а потом на скользком месте, у того же поребрика, стала разглядывать Вадима Петровича живыми глазами, сняв темные очки.

Он понял, что она не узнает его, что в ее осматривании — сплошное непризнание, и ничего другого. Теперь, без очков, с сеточкой морщин вокруг глаз, со слегка набрякшими веками, она была той, которую он узнал бы не то что по кончику носа — по ветряной оспинке, которая сидела у нее над бровью; по жесткому волосу, что ни с того ни с сего выростал у нее на подбородке, и она тасила его пинцетом, а потом внимательно рассматривала на свет, пытаясь понять природу его ращения. Он помнил вкус ее кожи, запах подмышек, выскобленных до голубизны. Он жалел все, что она уничтожала на себе: и подбородочный волосок, и все ее другие выбритые волосы; он печалился, когда она изводила свой естественный цвет на какой-нибудь эдакий новомодный. Смешно сказать, он много лет носил при себе обломок ее зуба, когда она сломала его, грызя им купленные орехи. Ей тогда сделали новый зуб, не отличимый от прежнего. Но он отличал. Он знал разницу.

А вот теперь она разглядывала его почти сто

пятнадцать часов, даже голову склонила к левому плечу — и ничего. Ни одного сигнала памяти.

— Видимо, вы ошиблись, — сказала она глупо, можно сказать, бездарно, потому что зачем же тогда она вернулась на сказанное шепотом редкое свое имя? Не Катю же окликнули, не Лену, не Машу, не Дашу... Коих пруд пруди... Нору.

Он же думал, как она смеялась: «Иванов! Как это жить с такой фамилией, когда тебя легион?» — «Но ведь живу!» — отвечал он.

Тут же, у поребрика, он ощутил себя эдакой «ивановской сплющенной массой» без начала и конца, не вычленимой для идентификации.

Вот такая казуистика жизни: тебя могут не узнать в то самое лицо, которое когда-то це-ло-ва-ли.

— Я Вадим, — сказал Вадим Петрович. — Бездарно было не представиться сразу. Сколько лет прошло! Столько уже и не живут.

Меньше всего он ожидал, что, еще до того как он договорит, она так обнимет его и так вожметя в его грудь, что сердце сначала замрет, потом подпрыгнет на качеле систолы, потом ухнет вниз, и он начнет искать в кармане нитроглицерин, потому как два инфаркта он уже имел за это время, которое обозначил: «столько не живут».

### *Мемория*

Это безусловное преувеличение. Потому что прошло всего ничего — двадцать шесть лет, а даже в нашей лучшей из всех стране, имеющей весьма низкий уровень, живут пока еще, если взять на круг, несколько больше. Тут ведь глав-

ное — пережить какие-то критические годы: тридцать семь там, или сорок два, или критически-менструальные дни страны — войны, революции, перестройки, а также другие явления, типа Чернобыль, «Нахимов», «Руслан». Но зачем пенять на страну? Мы живем больше двадцати шести. И спасибо ей.

Ровно столько лет тому театр Норы был на гастролях в Ленинграде. Вадим был там в командировке, и они жили — так, видимо, встали звезды — в одной гостинице. Если идти по коридору от впередсмотрящей дежурной по этажу, то Норина комната была третьей направо, а его — третьей налево. Но это выяснилось потом, потом...

Сначала командировочный пошел в театр, куда можно было попасть. В не самый престижный гастролирующий московский театр. Билеты перед самым началом в кассе были. Рубль пятьдесят штука. Давали «Двенадцатую ночь», конечно, лучше бы что-нибудь другое, хотя что? Репертуар нервно перемогался между Софроновым и Островским с легкими перебежками в сторону Шекспира.

Но командировочный ходит в театр не для того, чтобы что-то там смотреть. Вадим Петрович, например, идет, чтоб не выпивать с собратьями-толкачами. Что невозможно сделать, оставаясь в номере. У него язва двенадцатиперстной, но кому это объяснишь? Он, конечно, может рюмку, две, но гостиничное пьянство — процесс безудержный, страстный. В нем такая энергия смятения и

тоски, что язва просто не может идти в расчет по причине мелкости своей природы. Он после театра еще и по улицам походит тихо и неспешно, а в номер нырнет, как битый пес в подворотню, и затаятся там без всякой, между прочим, надежды, что его не отловят где-нибудь часа в три ночи, чтобы задать глобально-космический вопрос: как он насчет баб? Никакой проблемы снять их нет, но Петрович (Михалыч, Кузьмич, Иваныч) рассказал случай такой болезни, что проявляется сразу и притом на лице, какая-то американская зараза, видимо, из Вьетнама, а может, еще из Кореи, какой-то половой вирус, который косит белого мужчину как хочет, а женщине хоть бы хны. Один вот так приехал из командировки, а у него прямо на парткоме лицо пошло буквами.

Дичь, дичь, полная дичь... Но три часа ночи, ремни у штанов на последнюю дырочку и такая сила хотения, что даже страхи получить знаки на будущем парткоме — имею в гробу! «Ты пойдешь с нами, Вадя, или?! Ты сука, Вадя, сука... Ты не мужик, Вадя... Ты обосрался, ебена мать, Вадя...» — «Да, — скажет он, — да. Я такой!» Вот за это, что он такой, они и пошлют его за бутылкой, потому что если ты такой, то хотя бы выпей, сволочная твоя морда. Другой альтернативы, скажут, нет! Или по опасным бабам, или пьем по новой! Выбери, Вадя, иначе на тебе опробуем вьетнамское (корейское, китайское, мексиканское, негритянское) оружие. «Ты ляжешь, Вадя, первым! И даже не сомневайся в нашей жестокости».

Вот почему он сидит вечерами в театре. Он видел «Двенадцатую ночь» несчетное число раз. Он видел Виол с тяжелыми ляжками и бойцовскими икрами ног, под которыми гнулись половицы сцены. Видел Виол с ногами-спичками, столь легкими и невозбуждающими, что думалось: «О господи! Зачем ты так нещедр?» Встречались и коротконогие Виолы. У этих раструбы ботфортов щекотали им самое что ни на есть тайное место, и эта потеха обуви и тела, бывало, передавалась залу. Тут некрасивость производила тот эффект, которого актрисы с идеальными ногами не достигали, и в этом гнездилась загадка победы природы над искусством.

Нора была идеальной Виолой в смысле ног и ботфортов. И вообще спектакль был вполне: Эгьючик там, Мальволио вызывали нужный утробный смех.

Когда он совсем освоился в восприятии, вытеснив из памяти всех предыдущих актрис, он понял, что ему нравится эта Лаубе, интересно, кто она по национальности? Немка? Прибалтийка? Красивый голос, из тех, что особенно хороши в нижнем регистре. Мальчик из нее что надо... Хотя и женское в ней, спрятавшись в мужской наряд, очень даже возбуждает. Такого подарка от театра он, честно говоря, не ждал. За полтора рубля — и такие молодые эмоции! Его тут недавно настигло сорокапятилетие. Жил-жил и не заметил, как... Жена с чего-то вдруг засуежилась, а до этого было, между прочим, и сорок, и тридцать

пять... Он понял: радостно-нервной возней вокруг его лет жена как бы утвердила некий переход в другое его время. Она его назвала, время, так: «Можно перестать себя расчесывать и сдирать струпья». Никогда до этого, никогда... они не говорили про это — про расчесывание и струпья. Но ведь несказанное, оно было в нем, было! Горезлосчастье неслучившегося, несовершенного, горе ушедшего как песок времени. Вадим Петрович Иванов с нежным шуршанием ссыпался, стекал в узкое горлышко никуда, и сколько там его осталось в воронке жизни?

А тут — на тебе... Такое волнение от женщины-артистки. Существа других неведомых реальностей, существа, принадлежащего, так сказать, всем сразу. И вот оно, существо артистки, вызывает в нем совершенно частную, индивидуальную мужскую нежность, до такой степени не поделенную со всеми, что даже удивительно присутствие других людей слева и справа...

Надо ли говорить, что Вадим Петрович поперся к служебному входу и вырос там под фонарным столбом? Надо ли говорить, что незнаменитый театр такими «сырами» — по-нынешнему фанатами — избалован не был, что под фонарем он был один — немолодой мужчина провинциального вида: в шапке из зайца, которую напялила на него жена, потому как Ленинград — город сырости и туберкулеза. Другой бы, может, и оспорил мотивацию уже неновой шапки, но он принял треух, как принимал от жены все по праву млад-

шего (хотя жена была моложе его на пять лет), а потому осведомленного о жизни меньше. Жена же знала практически все: Ленинград — город туберкулеза. Одесса — сифилиса. Москва — гастрита. Свердловск — аллергии. Элиста — гепатита. Астрахань — дизентерии. Такой была табель о болезнях его командировок. Поэтому в тот день заячья ушанка под полной луной поблескивала основательной вытертостью, в день серпомесяца это могло и не обнаружиться.

Они — ангелы — вышли компанией, и он пошел следом. Они сели в троллейбус, и он вошел в него, тем более что это был его троллейбус. Конечно, все сошли на одной остановке, потому что он уже в дороге сообразил: скорее всего, артисты живут в его гостинице. Он не решился подниматься с ними в одном лифте, но когда он вышел на своем этаже, она разговаривала с впередсмотрящей и на его вежливое «добрый вечер!» улыбнулась вполне дружелюбно. А потом они шли вместе по коридору, и выяснилось, что соседи. Вадим Петрович хотел сказать, что был на спектакле, но растерялся, не знал, как оформить в слова то, что спектакля он не видел, а видел и чувствовал только ее, но его заколдобило: будет ли правильным сообщить именно это — уж очень признание может быть похоже на обман, а что есть лесть, как не обман? — но сама мысль о возможности обмана просто не помещалась в том человеке, который ломал ключ, чтоб открыть дверь.

Поэтому смолчал. Нора же отметила команди-



ровочную затрапезность мужчины, которую видела миллион и тысячу раз. Ее бывший муж Анатолий Лаубе был вполне таким же и обрел товарный вид, только когда встретил мечту своей жизни — большеступую из Айдахо, и она сводила его в «Березку», из которой вышел уже другой Лаубе, мгновенно поднявшийся над несносимым румынским костюмом и чешскими ботинками «товарища ЦЭБО», или как там его?

В ту ночь Вадим Петрович сам нашел гостиничный номер, где не спали его братья по крови, пьяно хрипя про бесконечность бесконечных вопросов бытия.

— У тебя же язва? — вспомнил кто-то, кто еще что-то помнил, когда Вадим Петрович налил себе в стакан.

— Сегодня это не имеет значения, — ответил он.

— Такое бывает, — поняли его.

Он стал ходить в театр каждый день. Если Нора Лаубе не играла, он уходил сразу, до начала спектакля, прочитав только программку.

Однажды он решился и, когда она вышла в компании сотоварищей, отрезал ее от всех, вручив букетик — что там говорить! — неказистых гвоздик — во-первых, других не было; во-вторых, что называется, «цветы были по средствам».

Нора узнала его сразу, взяла под руку, и они поехали в гостиницу следующим троллейбусом, не со всеми. Она рассказала ему, что сегодня утром подвернула ногу, что вся в перебинтовке, что

боится снять повязку, потому что не сможет наложить ее сама, придется заматывать ногу в полиэтиленовую штору из ванной, иначе как принять душ? Но если она снимет штору, как принимать душ? «А говорите, что нет безвыходных ситуаций!» — смеялась, потому что как действительно снять штору?!

— Я вас забинтую, — сказал Вадим Петрович. — Я этому обучился на сборах. Вот ведь! Считал дурным делом, а могу вам помочь.

— Класс! — ответила Нора.

Процесс разматывания бинта, благоговейное держание за пятку, терпковатый запах стопы, столь совершенной, что он даже слегка оробел. Почему-то вспомнилось умиление ножками дочери, когда она была маленькой, он тогда любил целовать сгибы крохотных пальчиков и думать, какую красоту дает природа сразу, за так, а потом сама же начинает ее корезить и уродовать. Норина же нога не подверглась всепобеждающему превращению в некрасивость, и ему страстно, просто до физической боли захотелось поцеловать сгибы ее пальцев. Но она резко поднялась и, прихрамывая, пошла в ванную. «Бинты в тумбочке», — сказала она ему.

Он прокатывал в ладонях бинт туда-сюда, туда-сюда, слушая шум воды. Все мысли, чувства, ощущения собрались в комочек одного слова — «случилось». Жена, дети, работа — все то, что составляло его, сейчас завертелось, устремляясь к этому абсолютно забубенному, по сути, слову.

Могло бы и покрасивше назваться главное потрясение мироздания.

Потом они пили чай, и рядом с пачкой рафинада на журнальном столике лежала грамотно перебинтованная Норина нога, а специалист по наложению повязки трогал время от времени голую стопу, что бы проверить (ха-ха!), не пережал ли он ненароком какой сосуд и поступает ли кровь в самые что ни на есть ничтожные и незначительные капилляры.

— Не жмет? — спрашивал Вадим Петрович.

— Я млею, — смеялась Нора. — За мной так ухаживали в последний раз, когда мне было четыре года и у меня была ветрянка. Видите след на лбу? Это я в страстях почесухи содрала струп.

Да будь она вся в рытвинах осп, да будь она слепа и кривобока, да будь... Именно это хотелось крикнуть ей во всю мочь. Он даже понимал: это «дурь любви», но хотелось именно таких доказательств. Доказательств криком. Если уж нельзя как-то иначе.

Нора же, сидя тогда с совершенно чужим человеком, думала другое. «Брехня, — думала она, — что любовь сама себе награда. Любовь — боль. Сказала бы еще, боль, как в родах, но не знает — не рожала. Но боль непременно, потому как страх. Потерять, не получить ответа, быть осмеянным, ненужным, наконец, перестать любить самой, что равносильно землетрясению, когда ничего не остается, даже тверди под ногами. Ушедшая из жизни любовь может оказаться пострашнее смерти,

потому как смерть — просто ничто, а ушедшая любовь — ничто, но с жизнью в придачу».

Именно тогда от нее уехал в Айдахо муж, и она еще не успела его как следует разлюбить, чтоб перестать жалеть и помнить.

Умная, она знала, что в конце концов все пройдет. Не случай мадам Бовари там или Анны Карениной. Но глядя на умиленного, потрясенного провинциала, который стесняется оскорбить ее даже собственным глотком чая, а потому тянет кипяток трубочкой губ... Вот эти самые ошпаренные губы и сделали свое дело. Ее подкосила степень его ожога.

Дальше все как у людей. Вадиму Петровичу ничего не стоило продлить раз, а потом и еще, и еще командировку. За ним сроду не числилось ничего подобного. Наоборот, он всегда недобывал там, куда его посылали, всегда рвался вернуться домой. Поэтому, когда он сослался на какие-то проблемы, ему сказали: «Оставайся сколько надо». Тогда же он попросил прислать и денег, ему их тоже перевели спокойно — то было время, когда деньги всегда были в кассе и люди не подозревали, что им могут взять и не заплатить. Как не подозревали ни об истинной стоимости своей работы, ни о зависимости ее от того, нужна ли она кому? Уже постарели и поумирали те, кто знал, что деньги что-то значат в системе экономики. Люди иногда вспоминали какие-то странные факты из жизни работника и товара, но их было все меньше и меньше, а те, которые стали потом мо-

нетаристами, или как их там, были еще октябрятами и носили всеобщего цвета мышинные пиджачки, уравнивающие их потенциал со всеми остальными. Так вот, то, что тогда называлось «деньгами», пришло по телеграфу. Вадим Петрович купил себе новые носки, потому что стеснялся жениной штопки, не всегда совпадающей с главным цветом. Опять же... Нитки того времени... Те, что для штопки, были строго двух цветов — коричневого и черного. Надо было быть большим пижоном, чтобы купить себе серые маркие носки. Вадим Петрович гордо взошел на эту гору.

Театр посмеивался над странно вспухшим романом. Нора только-только отвергла ухаживания вполне респектабельного журналиста-международника. Такой весь из себя Ять, чулочно-носочные проблемы жизни проходили настолько мимо него, что, если говорить правду, именно это и остановило Нору, живущую среди вещей и людей так близко, что подлетающий на облаке кавалер в чужом аромате заставил Нору душевно напрячься.

Может, в случае с Вадимом Петровичем она пошла по пути от противного?

Норе было уютно в руках этого знатока бинтования. Ей было покойно. «Не надо держать спину», — объяснила она все это одной старой актрисе, с которой можно было пообсуждать случившийся роман. «Это ненадолго, — ответила та. — Даже среди простейших не выживают именно те, кто не держит спины. А уж в нашем деле позво-

лить себе такое... Как только выпрямишься, так его и сбросишь»...

До этого не дошло полсекунды. Оканчивались гастроли, надо было ехать в Витебск, именно тогда спина как раз и напряглась выпрямиться. Расставались горячо, страстно, но слова Вадима Петровича, что он приедет в Москву непременно-всенепременно, Нора покрывала поцелуем, и он, настроенный на нее и только на нее, уловил торопливость ее губ, испытал ужас, но тут и поезд тронулся, а Нора еще на перроне — «быстрее, быстрее!», — и вот она уже стоит на площадке с благодарно освобожденными глазами.

«Я свинья, — корила она себя, не отвечая на его письма. Но тут же утешилась: — Пусть так и думает. Ему же будет легче, что я такая гадина».

Он никогда не думал о ней так. Он думал о ней по-другому — страстно, нежно, продлевая и продлевая каждый из прожитых тогда дней. Он натягивал, вытягивал эти нити из прошлого, боялся их порвать, пока однажды все не порвалось само: тяжело, безнадежно заболела дочь. Смерть назначила истинную цену жизни. Бились с женой, спасая девочку, упустили сына... К тому времени, когда Вадим Петрович и Нора встретились у поребрика под контролирующе замечающим все взглядом милиционера Виктора Кравченко, дочери уже много лет не было на свете, а сыну было столько, сколько было Вадиму Петровичу в том Ленинграде. Жена готовилась к операции катаракты, и Вадим Петрович специально приехал в институт

Федорова, чтобы показать все медицинские бумаги, а одновременно выяснить, сколько может стоить операция в Москве, все-таки как-никак, а центр этого дела.

29 октября

Договорились так. Нора возвращается домой в одиннадцать часов. Пусть он ее ждет на этом же месте. «Это мой дом, — и пальчиком в серый, грязный, безрадостный торец. — Видишь, какой красавец!»

По торопливости, по рассеянности или по некоей потайной логике побуждений, но Нора не сказала номера своей квартиры. Вадим Петрович, боясь ее пропустить, пришел на час раньше. После дежурства, возвращаясь дорогой мимо ларька, Витек увидел утреннего старика уже с букетом, обернутым «юбочкой вверх». Витька давно напрягали именно эти фасонные «юбочки» цветов: все в кружавчиках, цветы обретали особый, специфический намек. Сам Витек цветы никому никогда не дарил, но капитан-психолог объяснял им, что «цветы есть момент спекуляции на влечении мужчины к женщине. Влечение не стыд. Это естественный процесс».

Витя — в который уж раз! — подумал: как он прав, капитан. Но и не прав тоже. Ибо нельзя назвать естественным процессом то, что заставляет этого старика стоять на сквозняке, прикрывая собственным телом «юбочку цветов».

— Не замерз, дед? — с подтекстом спросил

Витя, думая, что с этой актрисой ему еще ломать и ломать мозги. — Спрашиваю, не замерз? — повторил он, на что действительно замерзший и не услышавший Вадим Петрович ответил невпопад:

— Да вот! Жду...

Нора опоздала, потому что по первому ледку троллейбусы скользили медленно. Она увидела Вадима Петровича издали, на фоне унылого торца своего дома, маленький человек боролся с ветром, был несчастен, а букет это еще и подчеркивал.

— О господи! — сказала Нора, внутренне раздражаясь на цветы. Зачем он их? — Идемте скорей!

Она представила, как он будет не знать, не уметь себя вести, как ей предстоит наводить этот ненаучно-фантастический мост между временами, и как ей это не нужно совсем. Прошлого у них не было. Надо разговаривать о том, что случилось вчера и сегодня.

— В Москве в командировке? — спросила она.

— О нет! — засмеялся Вадим Петрович. — Я уже не работаю. Я тут частным образом...

Невероятная формулировка, взятая из другого времени. Он это понял и растерялся, что такими здешними словами скрывает проблему женной катаракты, а значит, получается, и ее самою. Стало стыдно, неловко перед ни в чем не повинной женой, и он приготовился сказать все как есть, но Нора стала рассказывать ему про «случай с



балконом» и про то, что, ей кажется, она знает этого упавшего мужчину. Но в словах получилось как-то неловко, неточно: ведь если то, что ей вообразилось, правда, то она знала не мужчину — ребенка. «У него от атропина были просто сумасшедшие зрачки. А сам он становился вялым и сонным»... — это Нора уже уточнила факты, а Вадим Петрович думал: «Надо же, мы сближаемся при помощи офтальмологии. Если бы я начал объяснять, зачем я здесь... Тоже были бы глаза».

Рассказывая все вслух другому человеку, Нора вдруг поняла, что с ней сыграло шутку воображение, что все ей пригрезилось. Возможно, потому, что они репетируют абсурд. У нее не зря всегда было к нему боязливо-брезгливое отношение. Сегодня, например, она заколдобилась на фразе: «Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста». Сказала режиссеру: «Это надо с иронией? Я ведь отнюдь не маленькая». «Какая ирония? — закричал он, выскальзывая из свитера. — Это в пьесе самая психологическая фраза. Это суть». — «У вас все суть, — пробурчала она в ответ. — Но у нас не радиоспектакль. Меня же видно!» — «Вы что, на самом деле не понимаете?! Разве на самом деле речь идет о росте?!» — «Читаю! — закричала Нора. — Читаю: «Я ведь никого не стесняю, я небольшого роста».

Хотя поняла все сама, но такая обуяла злость...

— Сама напридумала историю, — уже почти смеясь, объясняла она Вадиму Петровичу. — Этот бывший мальчик — сын моего второго мужа. Не

дергайтесь, Вадим, я вас прошу. Мы давно разошлись, а потом он умер. Ведь с того Ленинграда двадцать пять лет прошло, не халам-балам, как вы считаете? — А хотела ведь не касаться прошлого.

— Двадцать шесть, — ответил он.

Она сама обозначила память. И разве он виноват, что слеза выкатилась из уголка глаза и застыла, чтоб ее заметили, под очечным ушком? Он повернул голову так, чтобы она не увидела его старческой слабости. Но она заметила и прижала его голову к себе. Вадим Петрович, траченный жизнью инженер, подрабатывающий время от времени ночным сторожем в поликлинике (выгодное для стариков место, каждый был бы ему рад), давно забыл былые мужские молодецкие эмоции. Они ушли от него давно и спокойно, как уходят выросшие дети, — уходят, оставляя чувство освобождения от милых, дорогих, но все-таки хлопот и беспокойств. «Став импотентом, я испытал чувство глубочайшего облегчения». — Так или почти так говаривал в какой-то книжке Моэм. Вадим Петрович это запомнил и был рад, что и у него потом оказалось так же, как у умного англичанина.

Могла ли вспрыгнуть в голову мысль, что он не иссох и не иссяк? Что заваленный хламом источник жив и фурычит?

Он остался ночевать, напрочь забыв, что следовало бы предупредить приятеля, у которого жил: откуда у него могли быть деньги на гостиницу? Ведь сначала Вадим Петрович рассчитывал поси-

деть всего полчаса и уйти — для него одиннадцать часов было временем поздним.

А теперь вот три часа ночи, и Нора лежит у него на руке и рассказывает, как наняла рабочих починить ограду балкона, как они взяли аванс — и с приветом, как трудно найти было человека, чтоб посидел и покараулил квартиру, пока работы доламывали балкон.

— Пришла тут одна женщина из подъезда, а потом ушла с поджатыми губами. Злюсь на нее невероятно! За поджатость эту... С чего это она взъерошилась на меня?.. Ты заметил, как легко мы все входим в ненависть? Как в дом родной. И как нам не дается сердечность. Участие. Я и сама такая. Да и ты, наверное. Хотя про тебя не знаю. Я ведь тебя вообще плохо знаю. Но ты мне кажешься очень хорошим. По моей математике, это когда в человеке добро и зло в одинаковой и постоянной пропорции, без возможности перевеса зла. С таким, как ты, хорошо переходить бурные реки по шатким мосткам.

Он смеялся и целовал ее плечи.

*30 октября*

В пятом часу он уснул первым. Разомкнул на ней руки и уснул, удивляясь и восхищаясь случившемуся.

Утром Вадим Петрович вспомнил позвонить приятелю, но дома у того никого не оказалось. Куда ему было деваться?

Нора сказала:

— Оставайся. Я съезжу в театр — обещали выдать зарплату — и вернусь. А ты отдохни и расслабься.

Она поцеловала его так нежно, что из того же самого, что и вчера, слезного канальца опять выползла сумасшедшая слезинка. Нора промокнула ее ладонью.

— Хочешь мне помочь, — сказала, — сходи за хлебом. — Ключи звякнули на столе.

Он еще раз позвонил приятелю, потом еще и еще и стал собираться за хлебом. Вчера было не до того, а сегодня он обратил внимание на аскетизм Нориной кухни. Пакетик майонеза. Баночка йогурта. «Суп Галины Бланко». Его жена, женщина других правил, просто умерла бы от отчаяния, не будь у нее в холодильнике суповой косточки и не стынь в нем вилок капусты. Почему-то возникло чувство раздражения на жену, вечно озабоченную проблемой обеда, чтоб обязательно первое и хоть пустяк, но и второе — сырничек там или колечко колбасы с горячим горошком... «Да не морочь ты себе голову, — сердился он. — Сколько нам надо?» Жена подслеповато хлопала глазами, но лицо ее становилось твердым и упрямым.

Тут же, озирая скудную снедь Норы, Вадим Петрович впустил в себя мысль, возможность которой еще вчера была чудовищной. Он способен уйти от своей слепнущей жены, организовав ей, конечно, операцию и последующий уход, а потом остаться здесь, у Норы. Навсегда. На все годы.

Почему-то мысль, что думает про это Нора, придет ли ей такое в голову, просто не думалась. Он смог бы. Он сможет.

С этим новым, неведомым и очень возбуждающим чувством он и стал собираться за хлебом. Хотя допрежь вышел на балкон посмотреть, что там случилось у бедной девочки. Именно такими словами теперь думалось. «Бедной» и «девочки».

Рваная рана ограды. Девочка ночью призналась, как затягивает ее проем. Что однажды она даже потрясла ногой над бездной, а потом вбежала в квартиру, будто за ней гнались. «Что-то надо делать, — удрученно думал Вадим Петрович, — так это нельзя оставлять».

Выйдя на улицу, он первым делом пошел на помойку. Вадим Петрович был старым и опытным помоечником. Именно там он находил нужные в хозяйстве предметы. Телевизор без начинки он отмыл и приспособил как ящик для обуви. Он очищал чужие поддоны и решетки газовых плит и заменял ими собственные, которые еще хуже. Хотя очистить и выскобли он свое, домашнее... Но сидел в нем, сидел этот помоечный пунктик, праправнук кладоискательства, и эту генетическую цепочку, как ту самую песню, «не задушишь и не убьешь».

На одной из ближайших дворовых свалок Вадим Петрович нашел кусок ребристого материала, он потопал на нем ногами — проверка на прочность, — кусок не дрогнул, не согнулся, не треснул. Найти куски толстой проволоки было делом

совсем простым. Конечно, он не знал, какие у Норы инструменты, но надеялся нарыть что-нибудь колюще-протыкающее, в крайнем случае сгодились бы и простые ножницы. Так что возвращался Вадим Петрович, правда, без хлеба, но достаточно обогащенный другим.

«Я сделаю все до ее прихода, а потом уже схожу за хлебом», — думал он, радуясь ее радости, когда она увидит залатанную дыру. Потом она, конечно, найдет честных рабочих и они заварят уже все как следует, но пока... Пока у нее не будет этой страшной возможности подойти к краю. У него закружилась голова от нежности к слабости девочки, у которой для пищи одна-единственная «Галина Бланка», будь проклята эта курица-женщина во веки веков. Его жена даже с катарактой куда более приспособлена к жизни, и это была очень вдохновляющая мысль, если рисовать ту перспективу, которую уже начинал мысленко видеть Вадим Петрович.

Ребристая штука по размеру плотно, даже с запасом закрывала проем. «Как тут была», — восхищенно подумал Вадим Петрович. У него даже выступил на ладонях пот, хотя руки у него всегда были сухие и жестковатые. Но в минуты крайнего волнения или потрясения он мокрел именно ладонями. У каждого своя причуда. У знакомого Вадима Петровича в таких же случаях текли неумные и стыдные сопли, а человек он был сухой и опрятный. Другой его приятель бежал от волнения в уборную по-большому и пару раз даже не

добегал, что совсем ужас. Но разве можно предугадать потрясение? Разве знал он еще утром, что ему придет в голову идея ремонта? А потом карта сама ляжет в руки.

Перед тем как выйти на балкон и укрепить там все, Вадим Петрович подумал, что надо бы позвонить приятелю, чтоб тот не думал плохого, но сейчас, когда в голове поселилась мысль о некоем другом будущем, почему-то не хотелось объяснять, где он... Слишком все серьезно, чтоб говорить об этом по телефону. Надо сесть за стол там, на диван... Чтоб видеть глаза.

Именно в этот момент его приятель стоял у своего телефона и не знал, что ему думать. Вчера вечером звонила жена Вадима, сказала — пусть возвращается домой и не морочит голову с федоровским институтом. Она сама нашла врача, в которого поверила сразу и решила, что он и только он будет ее оперировать. И деньги он возьмет смешные, потому что он дальний родственник их невестки (а они и не знали!), но из тех дальних, что лучше ближних.

Вадима еще не было дома, но и время было десять с минутами. Жена сказала, что позвонит завтра с утра. Вот и позвонила. Пришлось что-то наплести. Приятель испугался сказать женщине, что Вадим не пришел ночевать. Он думал: «Мало ли?» Человек ежился у телефона, и мысли плохие, очень плохие бились в его голове. «Какая же ты сволочь, — думал приятель о Вадиме Петрови-

че, — если у тебя все в порядке, а ты не объявляешься».

Пришла его жена. Старая и единственная.

— Не звонил? — спросила. И добавила: — Лично я кобелизм исключаю. У него для этого дела в кармане вошь на аркане. А за так теперь и прыщ не вскочит.

Нельзя думать плохие мысли. Никто не исчислял их энергетику, пусть даже малую. Никто не знает каналов устремления умственного человеческого зла. Никому не дано увидеть зависимость от гипотетического желания убить до обрушения земли. И очень может быть, что хватило малой толики ненависти, идущей от вполне порядочного человека, которого достала играющая гаммы соседская девочка, и он в сердцах подумал: «Чтоб тебя разнесло с твоим пианино». И разнесло. В другом месте.

На мысли своего приятеля, хорошего человека, «Какая же ты сволочь!» Вадим Петрович уже летел вниз с Нориного балкона. Проклятый ледок, что тормозил скорость машин на улицах, соединившись с истертостью подошв Вадима Петровича, сделал свое дело. Плиточка пола на балконе была выложена с мудрым расчетом стекания воды. Микроскопическая ледяная горка для хорошо поношенной обуви.

С этим уже ничего не поделаешь, но это был праздник души милиционера Виктора Ивановича Кравченко. Он даже не мог скрыть, хотя и сказать



впрямую не мог тоже — понимал: радоваться чужой смерти нехорошо. Хотя на этот счет капитан-психолог говорил совсем другое: «Надо возбуждать в себе радость победы посредством мысли о смерти врага». Но «упатый с балкона человек» — так было написано в рапорте — врагом не был. Он был стар, и он был жертвой. А с жертвой как понятием Витьку было не все ясно. «Жертва — момент преступления. Но если ты мертвый — не значит, что ты невиноватый. Если, конечно, не дите или сосулька на голову».

Капитан-психолог — умный человек, но и он не может знать ответов на все вопросы жизни. Капитан длинноват от макушки и до пояса и коротковат в сторону земли. Виктору Ивановичу нравятся такие фигуры. Длинные ноги, которые теперь всюду показывают, вызывают в нем нехорошие чувства. Тянущиеся ноги, у которых нет конца и краю, и, карабкаясь по которым, уже и не помнишь, с чего это ты тут оказался. Получается, что тебя подчинила длина, и она унижает и оскорбляет тебя высотой по сравнению с тобой.

Низкорослые люди были милиционеру Виктору Кравченко понятней и ближе. Они над ним не высились. Они попадали с ним зрачок в зрачок.

*1 ноября*

К вопросу о зрачках.

В этих не было света. Совсем. «У нее же катаракта, — объясняла себе Нора. — Надо с ней по-деликатней».

Но как? Как? Нора провалилась в вину, как в пропасть. С этим ничего нельзя было поделать. Вина и пропасть стали данностью ее жизни. Можно ли к тому же оставаться деликатным?

— Как это можно было самому починить? — спрашивал тот приятель Вадима Петровича, которому Нора в конце концов дозвонилась. Теперь он в присутствии мертвых зрачков жены покойного бросал ей как поддержку вопрос о несостоятельности ума Вадима Петровича, желающего самостоятельно заделать брешь в ее балконе. Ну зацепись, дура-артистка, за помощь, скажи что-нибудь типа: «Я ему говорила», «Я понятия не имела, что он задумал», «Мне и в голову не могло взбрести»... Но все эти бездарные слова уже говорились милиции, хотя даже тогда она уже знала: она их произносит «из пропасти вины». Это сразу понял молодой мальчик, как его там? Виктор Кравченко. Он наклонился над ней, над ее «колодецем», куда она прибыла как бы навсегда, и смотрел на нее сверху черным, все понявшим лицом.

— Я ушла. Он остался. Я попросила его купить хлеба. Мы вечером заболтались. (Фу! Какое неправильное, стыдное слово накануне предсмертия. Когда ты уже взвешен на весах...)

«Откуда он вас знал?» — Естественно, женщина с катарактой думала только об этом.

«Когда-то, когда-то... В Ленинграде мы жили в одной гостинице. Знаете, как возникает командировочная дружба...»

«Да, я помню», — сказала женщина. И что-то мелькнуло в ее лице как воспоминание радости.

...В ее жизни тогда был голубой период. Надо же! По какой-то цепочке продаж ей обломился голубой импортный костюм из новомодного тогда кримплена. Воротник и карманы костюма были отделаны черной щеточкой бахромы. Он так ей шел, этот наряд, что хотелось из него не вылезать, а носить и носить без передышки. Но голубой цвет маркий. Тогда она сказала: «Надо что-то купить еще голубое. На смену». И купила платье в бирюзу. Все тогда решили, что у нее появился любовник. Другой уважительной причины «наряжаться на ровном месте» люди не понимали. А она как спятила. Купила еще и голубую шляпку-феску с муаровым бантом-бабочкой на затылке. Лицо у нее тогда как бы оформилось по правилам — стало тоньше, овальней. У нее вдруг появилось ощущение собственной неизвестной силы, она даже не скучала, что так долго нет мужа. Ей было тогда с собой интересно.

Потом он приехал. Уставший и унылый. Он не заметил ее голубую феску.

Сейчас это уже не имело никакого значения. Ни эта артистка, ни этот несчастный балкон, ни даже смерть. Ее, имевшую в жизни однажды голубое счастье, прижало лицом к черному без края пространству... Хотя разве можно прижаться к пространству? В него падают, в нем растворяются, им поглощаются... Но нет. Ее именно прижало...

Собственно, зря они пришли к этой актрисе. Она на самом деле ни в чем не виновата, хватило

бы посмотреть место, куда он упал, ее глухой муж, неспособный починить бачок или прибить ровненько плинтус. Но там, у подъезда, в них было столько радостной ненависти, что пришлось бежать на шестой этаж в квартиру.

Актриса впустила их и заплакала. Странно, но она поверила ее слезам, хотя тут же подумала: «Ну что такое ей заплакать? Их же этому учат!»

Потом они уходили, а люди подъезда так и стояли у дверей, прижатых камнем. Не похороны ведь, но все же процессия из трех человек. Женщина подумала: «Это они для меня. Оказывают внимание. Они не знают, что мне уже все все равно». И она пошла со двора быстро-быстро, пришлось ее хватать за локоть. Ведь почти слепая, в чужом месте, как же можно бежать, глупая?

— Датушка, датушка, — сказала кассирша Люся со второго этажа.

Никогда еще чувство глубокого удовлетворения не переполняло ее так полно, так захлебывающе, что хотелось даже делиться избытком, и она сняла длинную белую нитку с юбки Анны Сергеевны и протянула ее, обвисшую на пальце, самой хозяйке:

— Блондин к вам цепляется, мадам! Хотя по нынешним временам лучше их не иметь. Всегда найдется какая-нибудь подлая и сделает ему шире.

— Стой! — закричала Анна Сергеевна. — Такое горе, а вы!

— Да? — насмешливо ответила Люся. — Да?

У женщин такое бывает: они проникают друг в друга сразу, без препятствий, они считают текст не то что с извинин — тоже мне трудность! — с загогулилки тонкой вибрации, не взятой никаким аппаратом науки. А одна сестра на другую глаз бросила — и вся ты у нее как на ладони.

Люся и Анна Сергеевна несли в душе одну на двоих общую радость: свинство в виде прыжка с чужого балкона их настичь не может. Они, слава богу, хоть и одинокие, и у них нет мужей, но не могут допустить к себе чужих и случайных. А дальше большими буквами следовало:

...Не то, что некоторые.

Когда прощались возле троллейбусной остановки, жена Вадима Петровича сказала Норе странное:

— Я бы тоже хотела умереть на хорошем воспоминании.

— Сделайте операцию и живите долго. Вадим очень беспокоился о ваших глазах, — ответила Нора.

— Да? — спросила женщина. — Я его раздражала. Случалась бумага в супе. Недомытость чашки... Он не указывал пальцем, но начинал громко дышать...

На этой фразе она замерла, потому как неосторожно вырвавшееся это слово «дышать» было тем самым, что отличало жизнь от нежизни.

Возвращаясь домой, Нора вспоминала, как за-

стопорилась на слове «дышать» жена Вадима Петровича.

«Живые, — думала Нора, — обладают тысячью способов передачи информации, в которых слово — самое примитивное. Смерть — это невозможность передачи информации. Это хаос системы».

Она даже не подозревала, что обнаружит дома столько знаков присутствия Вадима Петровича. «Как наследил», — печально подумала Нора. На балконе она прижала принесенный им ребристый щит старой, с отслоившейся фанерой тумбочкой. Бреши не стало видно, даже возникла некая законченность в дизайне с ободранной тумбочкой — хоть ставь на нее горшок с цветами. В ванной Вадим Петрович оставил свой галстук, сам же, видимо, и прикрыл его полотенцем. Очешник, в котором лежал список московских поручений. Гомеопатическая аптека была на первом месте. Вот почему он оказался рядом с ее домом. Рядом была такая аптека. Остался полиэтиленовый пакет с газетой «Московские новости» и брелком томагочи. «Господи, — подумала, — надо было посмотреть раньше. Это ведь для кого-то куплено».

Странно, но в ту ночь они не говорили ни о ком, кроме себя. Только сначала — жена и катракта — и все. Потом — как оттолкнулись от берега времени. О чем же был разговор, если почти не спали? Нора стала вспоминать, набирался ворох чепухи. Вспоминали, как она тогда, давным-давно, выходя на поклоны, зацепилась юбкой за

шип розы, которые получила другая артистка. Это были единственные цветы от зрителей, и Вера Панина была очень этим горда, хотя все знали: букет принес ее двоюродный брат, но Вера так с ним — с букетом — крутнулась, что зацепила Нору и поволокла за собой. Кто-то тут же придумал плохую примету — шип хорошо годился для всяких мрачных умственных реконструкций. Но Вадим того времени предложил другое толкование: роза утатила Нору. Это было время Сент-Экзюпери и его Розы, от него могли идти только хорошие предзнаменования. И теперь можно сказать с уверенностью: тот шип ничего плохого не означал. Еще Вадим Петрович вспоминал в ту ночь, как у него кончились чистые носки и рубашки — конечно, не самое романтичное воспоминание для встречи после долгих лет, но ведь никто еще не научился руководить взбрыками памяти, она ведет себя как хочет. Но получалось, что именно носки и шипы сделали свое дело. Нора сказала: «У меня уже сто лет не было такой родственной близости, такого совпадения молекул». Они лежали обнявшись, у Вадима постанывало, похрипывало горло, а она думала: у него сердечное дыхание, ему надо обследоваться, он себя запустил, и ей так сладко было думать о нем с нежностью. А потом он соскользнул с балкона, потому что у их истории не могло быть продолжения просто по определению. Не такие они люди... А какие?

И еще Нора думала, что никто ей не предъявил счет за потерю. Ни жена, ни друг-приятель. Как

будто все заранее знали, что случится так, а не иначе, и виноватых не будет. Но этот томагочи... Не доставленный неизвестно кому. Он пищал ей все время, она не знала, что делать. «Так я с ума сойду, — подумала Нора, — надо взять себя в руки».

2 ноября

Вот из этих слов и надо понять, в каком она была состоянии. Она даже не заметила, что подъезд ей объявил газават. Иногда что-то бросалось в глаза: мертвое молчание пассажиров в лифте — а какой до этого слышался щебет, пока не раздвинется дверь. Обойденные мокрой тряпкой пределы ее половика в коридоре. По первому разу это показалось смешным. Нора не принимала эти знаки, как знаки войны, как не принимала и подъезд как силу, ей противостоящую. Наоборот, люди всегда демонстрировали ей низкопоклонство, если уж не любовь, во всяком случае, с их стороны было должное отношение, как к человеку не простой, а, скажем, изысканной профессии, эдакого штучного товара их подъезда. Все как все, а она вот — артистка. Это было данностью. Поэтому до Норы не доходили разные другие знаки отношения, в голову она не могла их взять.

Однажды Люся со второго этажа, будучи человеком, у которого мысль располагалась ближе всего к кончику языка, а потому на нем и не удерживалась, сказала Норе тихо:

— Я бы на вашем месте постеснялась...



Сказала прямо возле лифта, прямо на смыкании дверей, чтоб не дать Норе ни понять, ни переспросить.

Будь у Норы другое состояние души, она бы запросто могла вставить ногу в притвор, и еще неизвестно, чье слово было бы последним, но со дня падения Вадима Нора существовала в некоем другом измерении. В нем главенствовал четкий выход в ничто, хотя и задвинутый рифленой поверхностью. Но это выражаясь словами, а по жизни чувств ей все время было зябко. Душевная мука выходила дрожью, ознобом, а однажды она услышала странный звук, стала оглядываться — откуда, что? Выяснилось: стучали зубы. Суховато, как стучат деревянные ложки, когда ложкари входят в раж.

Как-то встретила этого молодого милиционера. Забыла, как звать. Он посмотрел на нее обличительно и громко втянул в себя детскую каплю, некстати обозначившуюся.

Она ушла с этим ощущением уличенно-обличенной. «Нашел, дурак, леди Макбет», — подумала Нора, но в душе стало муторно: она чувствовала себя виноватой. Леди такое в голову не пришло бы. Вина виделась так: она слишком много думала о Грише, бывшем мальчике с крутым завитком, который — возможно! — и был тем первым упавшим у ее подъезда. Получилось: она сама создала проект смерти, умственный, гипотетический. И живая жизнь просто обязана была наложиться на ее чертеж. Нора думала, что позвонит еще раз

по тому телефону, который знал Гришу, и вот в этот момент Виктор Иванович Кравченко, дернув тонкой шеей, посмотрел на нее так нехорошо. Дело в том, что накануне Виктор Иванович впервые в жизни бил человека. Тип стоял за помойкой, что у детской площадки, с приспущенными штанами, и белая его плоть была столь стыдной и омерзительной, что, когда кулак Виктора Ивановича попал в голое тело, противность мгновенно поползла к локтю и выше и стала как бы захватывать его всего, и тогда, ударяя в этого молчаливо терпящего боль типа, Виктор Иванович стал стряхивать руку, как стряхиваешь термометр. Бил и стряхивал. Бил и стряхивал. Но тут сбрасывалась не ртуть — отвращение.

Потом пришло упоительное чувство успокоения. Все в Витьке размякло, расслабилось, каждой клеточке тела стало вольно. Он смотрел, как убегает этот кретин, на ходу застегивая штаны. Он ведь даже не пикнул, не издал даже малейшего звука, что говорило о правильности и справедливости битья за помойкой. «Рукоприкладство — вещь недопустимая, — говорил капитан-психолог. — Но жизнью это не доказано».

Когда Нора прошла мимо, Витек обратил внимание на тонкоту ее щиколок (имея в виду щиколотки). Он представил их, обе две, в обхвате своих широких ладоней и как он держит артистку вниз головой в балконную дырку и она признается ему криком из сползших ей на голову одежд, зачем она их погубила, двух мужиков, молодого и

старого. Она признается ему, будучи вниз головой, в преступлении, и все потом поймут, что все было так самоочевидно, а увидел и понял он один. Витек так сцепил кулаки, что в них ссочилась вода и даже, казалось, булькает... Виктор Иванович распластал ладонь — она была влажной, линии судьбы переполнились живым соком и обратились в реки. Особенно полноводной была та, что являла собой долгожительство. С нее просто капало.

### 3 ноября

«Я ведь никого не стесняю... Я небольшого роста...» Всегда был комплекс, что она вровень с мужчинами, ну не так чтобы сильный комплекс — пришло ведь ее время, время длинноногих, маленькая женщина, можно сказать, потерялась среди женщин-дерев.

На этой же фразе — Нора это ощутила в ногах, как они будто подломились для уменьшения — пришло ощущение (или осознание?): больше никогда никого не стесню. Ростом. Телом. Количеством. Буду жить боком. Левым боком вперед. Чтоб не задеть, не тронуть, не стеснить. Режиссер стал орать, что не этого от нее хотел. Что не нужна такая никакая, живущая боком, ему нужно ее притворство, ее лукавство. Такова женщина! «Никого не стесню» надо понимать как полную готовность стеснить любого до задыхания, до смерти.

— Да? — удивилась Нора.

После репетиции Еремин сказал, что если она

с ходу, с разбега не заведет любовника, то спятит, что он это давно видит — с тех самых пор, как начали репетировать, что ее славное свойство не принимать роль всерьез, а просто надевать, как костюм, ей изменило. Она ведет себя, как малолетка-первогодка, выжигая себе стигмы. Кому это нужно, дура?

Что он понимал, Еремин? Тогда, когда был Ленинград и Вадим Петрович, его еще в театре не было. Для него вся случившаяся история заключалась в словах: «Старый идиот взялся не за свое дело и рухнул. Конечно, жалко. Кто ж говорит? Но ты, Нора, его в проем не толкала. Тебя вообще дома не было». Как объяснишь про умственную дорогу, которую она построила вниз и сама к ней примерилась.

5 ноября

Она бы спятила от чувства вины, но случилось невероятное. Объявился Гриша.

Если бы она не разучилась к этому времени смеяться, то да... Повод был. Он был практически лыс, этот новоявленный Гриша. У него не то что излома волос, а даже намек, что излом такой мог быть, не возникало. Зато проявились уши. Они были высоковаты для обычной архитектуры головы, и Нора подумала: «Рысьи». Хотя нет, ничего подобного. Уши как уши. Чуть вверх, но такими зигзагами мелкой фурнитуры, и создается внешнее разнообразие мира. До извивов тонкой мате-

рии еще добираться и добираться, а уши — они сразу. Здравствуйте!

К ушам прилагалась бутылка «Амаретто». Это-то соединение и стало ее беспокоить. Но потом. Позже...

— Я думал, думал, — объяснял себя Гриша, — но водка — было бы грубо?

Он нашел ее по телефонному номеру, который дала ему сестра из Челябинска, и знакомые, у которых он остановился.

— Вы меня искали. У вас что-то случилось? — спросил он прямо, не понимая, почему она сейчас плачет, и сокрушаясь о ходе времени: в его памяти Нора была красивой молодой женщиной, от которой пахло духами. Эта же была стара, и от нее просто разлило мятной жвачкой. «Удивительно тонкий вкус. Зимняя свежесть».

Нора поняла, что ничего не сможет объяснить. Ни-че-го.

Гриша рассказывал о своем способе выживания. Он его называл «моя метода». Маленькие услуги большим клиентам. Нет, ничего криминального. Но кому охота мотаться, чтоб получить достоверную информацию о том и сем? Не ту, которую вложили в компьютерную башку, а ту, что на самом деле проживает в Обнинске, а нужна позарез Челябинску. «Я почти шпион, — говорил Гриша. — Взять, к примеру, кобальт...» — «Я тебя умоляю, — смеялась Нора, — давай не будем его брать. Скажи лучше... Тебе нравится так жить?» — «Вполне, — ответил Гриша. — Во-пер-

вых, я свободен в выборе. Во-вторых...» На «вторых» он замолчал, и Нора поняла, что есть только «во-первых», а процесс саморекламы «своей методу» у Гриши не отработан.

— Материально как? — спросила Нора.

— Свою штуку в месяц имею...

«А сколько это — штука?» — подумала Нора. Спросить было неловко. Теперь это не принято. Вполне может быть, что они думают на разные «штуки». Но после того как Гриша оказался живой, свести разговор к деньгам было не то что противно, а разрушительно по отношению к состоянию ее радости. Мелкий свободный порученец Гриша закрыл своим живым телом черный проем ее балкона, и стало возможным думать, что смерть Вадима Петровича действительно случайна, страшна, трагична, но не ее рукой вычерчена. И тот, первый, все-таки бомж, просто задел ее перила, дурачок, не смог спроектировать траекторию падения, потому как был пьяный, а то и хуже — накуренный незнамо чем.

Жизнь на глазах побеждала смерть, случай, что ни говори, уникальный, чтоб не сказать неправдоподобный. Но ведь и Нора — человек странной профессии, в которой главное не то, что есть на самом деле, а то, что надобно назвать, изобразить главным... Нора удивилась бы, скажи ей кто, что раньше она никогда сроду не забывалась в роли, больше того — не верила, что так может быть у кого-то, сейчас же вела себя, в сущности, непрофессионально. Верила в чушь. И это уже вто-

рой раз. Первый, когда у нее на репетиции укоротились ноги от произносимых слов, а сейчас вот — от присутствия Гриши. Ей уже близнится, что вообще никто с ее балкона не разбивался. Просто недоразумение. Раз Гриша тут.

Вот тут-то и стало быстро-быстро раскручиваться беспокойство. Вдруг ясно, до деталей, увиделся поворот головы с приподнятым ухом и донышко бутылки. И между атропинным мальчиком и этим лысоватым шпионом новой экономики был еще один, которого она видела так четко и ясно. Легко все свалить на свойства актерского глаза: он уж высмотрит, он уже выковырнет. Издержки профессиональных накоплений. Склад забытых вещей. Но внутри что-то бибиало.

Параллельно с этим пилось «Амаретто» — и вылилось. И она сказала Грише, что раскладушка вымерена и впритык становится к кухонному окну, так что...

Гриша ответил, что может спать на любом данном ему пространстве пола, раскладушка — это для его кочевой жизни почти пять звездочек. Нора подумала, что, пожалуй, представления о «штуке» у них одни и те же.

Она заснула крепко, как не спала уже много времени.

Виктор же Иванович Кравченко знал: у артистки ночует мужчина.

У него странно вспотела спина: будто кто-то мокрым пальцем поставил ему на ней точки и

мокрота... Витек прислонился к косяку двери и потерялся.

— Чего это вы, как животное? — ядовито спросила Анна Сергеевна.

С той поры, как он грудью падал на ее пустые бутылки, в результате чего сбежала Олька и от нее ни слуху ни духу, Анна Сергеевна Витька не полюбила. Все в ней завязалось в странный такой узел, а зачем ей это, зачем? А получается — конца нет, вот опять явился не запылится милиционер и чешет спину об ее косяк, как какая-нибудь собака.

— Разрешите выйти на ваш балкон, — сказал Виктор Иванович, запомнив навсегда слово «животное». «Помнить — не забыть, — говорил капитан-психолог, — это не то что взлетело-вылетело. Выдвинь в голове ящик и положи наблюдение».

«Положил», — подумал Витек.

Его приятно удивили убранность балкона и отсутствие на нем новой опростанной тары. Он посмотрел снизу вверх и представил след падения, как след сдвинутого с места мешка.

— Какое у вас мнение? — спросил Витек Анну Сергеевну.

— Мое мнение будет такое, — четко ответила женщина. — Я на шахматы сроду бы не могла лечь спать. Значит, мы с ней разные. Я из другого мяса... Но сегодня у нее уже другой. Молодой. А времени прошло всего ничего...

В шахматы Виктор Иванович не врубился, но не переспросил, потому что за так, за здорово живешь получил наиважнейшую информацию. Спи-



на была уже мокрая вся, он выскочил на свежий воздух и стал смотреть на Норины окна, взобравшись на крышу трансформаторной будки.

### *5 ноября*

Гриша лежал на неудобной и коротковатой раскладушке, и ему было хорошо. Хорошо от неудобства тела. Что коротко. Что провалились чресла. Что комковатая подушка. Физике Гриши не нравилось все, зато — о боже! — как хорошо было в том нежном пространстве, которое разные люди называются по-разному, а Гриша определял это место как «то, что кошки скребут» или попросту «скрибля». Как всякий ленивый человек, Гриша любил словообразования. Это занимало его и развлекало.

Последний месяц ему было ой как нехорошо. Он потому и сбежал в Обнинск, где у него была в запасе нежная грудь, к которой в любое время припасть — не было проблем. Грудь была вдовая, пожилая и даже собой не очень, но для случаев побега лучше не сыщешь.

Возвращался он в Москву осторожно, опасливо, сразу узнал, что его искала Нора, чуть было не сбежал снова, но потом стал наводить справки...

### *12 октября*

...Началось все с конфет. Девчонка торговала польской «Коровкой», а у Гриши они — слабость. Девчонка оказалась болтливая, разрешила за так попробовать и маковые, и ореховые.

— Вообще-то нельзя, — смеялась она. — Да ладно! Абдулла меня любит.

— Кто ж такую не полюбит! — сказал Гриша, но сказал так, для тонуса общения, потому что барышня была не в его вкусе. Крепковата на вид, а Гриша ценил в дамах ломкость и одновременно как бы и мягкость. Но могли ли быть ломкими женщины, если они родились в городе Пятихатки? Девчонка даже паспорт показала — истинно Пятихатки, на фамилию внимания Гриша не обратил — зачем? А вот имя глазом выхватил — Ольга. То да се. Живет девушка у тетки, но хочет снять жилье («Видишь объявление?»), потому что тетка — зануда: никому не прийти, никому не уйти. «Я ей кто — крепостная?»

Гриша — мастер цеплять слово за слово. Почти подружились.

Через несколько дней подошел еще.

Возле Ольги стоял мужик из этих, приплюснутых жизнью, когда уже не стригутся и не бреются. Ольга шепнула: «Земляк. Не может найти работу, а детей аж четверо. Соображаешь степень?» И она незаметно покрутила пальцем у виска. У Гриши детей не было, но он знал в жизни одну историю, как его маму с тремя детьми увел от мужа большой человек, воспитал их, а от родного папы как раз толку не было. Тут не сразу сообразишь, где Пятихатки, а где Гришина мама, но поди ж ты... В каком-то тонком Гришином составе жило представление о Женщине-Подарке (пишется с большой буквы), которая не зависит от

такой случайности, как муж-неудачник. Подарок как эстафета переходит к удачливым, ведя за собой детей, родственников и остальные бебехи. Сам Гриша потому и не женился, что, с одной стороны, он ждал такую же, а с другой же — никакой логики! — совершенно не хотел нести последующие неудобства в виде чужих детей.

Гриша узнал, что звали земляка Ольги Пáva! Именно так его называла «коровница», уточняя: «Ну Павел он, Павел! Но Пáva! Я знаю почему? Так все зовут!» — судя по всему, жена Пáвы Подарком, видимо, не была, если он торчал в Москве, зарастая густым волосом. «Продай свой скальп с кудрями!» — смехом предложил Гриша. Но Пáva не понял юмора, потому как не знал слова «скальп». А когда Гриша объяснил, ответил, что продал бы. Грише в тот момент стало даже как-то неловко, и он стал рассказывать, какие у него в детстве были волосы, не поверишь! меховая шапка! И где это все, где?

### 3 ноября

Могло ли ему тогда прийти в голову, что именно из-за волос его будет искать Нора? Ведь Нора ему ничего не сказала. И про разбитого Пáву тоже. Хотя к теме волос возвращалась. «У тебя был такой крутой завиток!» — «И не говорите! — смеялся Гриша. — А ведь я еще, считайте, мальчик. Ха-ха. Однажды увидел себя на старой фотографии...»

Как говорила на все случаи жизни Норина гримерша: «Переспать — еще не повод познакомиться». С какой стати грузить на Гришу превратности собственной судьбы? Поэтому Нора ничего ему не рассказала ни про бомжа, ни про Вадима Петровича.

Гриша молчал тоже. Когда вышел на балкон и увидел прижатый тумбочкой рубероид, подумал: надо бы ей заделать дырку, и даже осторожно — вообще! — сказал об этом, но Нора просто закричала как полоумная: «Ни в коем случае! Я уже договорилась!»

Крик ее был неадекватен необязательности его предложения. С чего бы?

Теперь он провисал в раскладушке, радуясь тому, что история кончилась, и он в ней — как выяснилось — ни сном ни духом.

...Ольга тогда сбежала. Так сказала ему вчера ее соседка по лотку. Сбежал и Абдулла. Ольга ничего соседке не сказала, а Абдулла сказал, что, когда близко подходит милиция, надо уходить. И еще он сказал, что «боится белых русских глаз». Конечно, милиция должна была появиться, и у Норы в первую очередь, но она ничего про это. «А я тебя тоже не спрошу! Не спрошу!» — внутри себя весело кричал Гриша.

Хотя занимал вопрос: почему она ему звонила? Не раньше, не позже, а именно в момент этой истории? Но ответ был вполне складный.

— Знаешь, — сказала Нора. — Я ведь одна как

перст. Тебя вспомнила маленького. Как тебе закапывали глаза. Какие крутые у тебя были волосы. Папу твоего... Как все у нас было хорошо, а потом плохо...

— А балкон у вас почему сломан?

Это было даже элегантно с печали о себе перевести на грубую материю перил.

— Он был хлипкий сразу. А зимой такие были сосульки. Расшатали.

«Она думает так? Она не знает? Может, она даже не слышала про то, что случилось? Артистка! Что с нее взять? А перила на самом деле были на соплях. Пава только зацепился за них кочергой — и абзац. Почему-то сорвалась и веревка, и очень красиво летело полотенце».

### *17 октября*

Тогда ведь как было. Ольга их пригласила к себе, потому что тетка утром ушла в собес, а оттуда должна была уехать на сорок дней чьей-то кумы.

— Приходите, — сказала Ольга. — Я возьму отгул.

Пришли поврозь. Так, чтоб никто не видел и не донес тетке. Ольга варила картошку, селедка лежала под щедрой охапкой фиолетового лука. «Коровка» дыбилась на блюдечке. Пава пришел пустой. Гриша взял «Монастырскую избу», на что Ольга печально сказала:

— В какие-то веки отгул...

Как-то так сразу стало ясно, что был мужской расчет на Ольгину бутылку. Но та как отрезала.

— Я ставить не буду. Что принесли, то и ваше.

Поэтому было скучновато: ноль семь на три делится сразу и без остатка.

— А бутылок нет, чтоб сдать? — спросил Пава.

Ольга аж зашлась от хохота. Сказала, что уже давно не пещерное время, а бутылок, как грязи, на балконе только у таких идиотов, как ее тетка. Лежат с тех еще пор, когда та жила с сыном, а он «гудел» прилично, а потом так удачно женился, что теперь ни капли в рот, все время за рулем, но матери ни копейки, рожай детей после этого. С нерожания и перекинулся разговор на артистку, что живет сверху. Уже немолодая, а живота ноль, потому как никакая будущая свинья — сын или дочь — не растягивала ей стенки пуза, молодец женщина, предусмотрела последствия.

— Небось богатая, раз одна, — сказал Пава.

— Естественно, — ответила Ольга, — всю жизнь живет для себя — накопится.

Потом она показала журнал, где портрет артистки, и Гриша прочел: «Нора Лаубе».

— Да я ж ее знаю! — закричал. — Идемте к ней в гости! Она была женой моего отца.

Такой возник азарт. Что уже забыв опаску — правда, к счастью, никто им не встретился, — взбежали на этаж и позвонили в дверь. Норы дома не было.

Бывает, опьяняет сама ситуация. Во всяком случае, пробежка туда-сюда. Занимательность Гришиной истории — и такое пошло гулять у всех возбуждение, что естествен был итог: надо ку-

пить бутылку и еще закуску, потому как осталось две картошины и несколько вялых фиолетовых колец.

С Павы взять было нечего. Решили по-честному: Гриша идет за бутылкой, а Ольга — за колбасой. Паву в квартире заперли. «К телефону не подходи». «Дверь не открывай».

— А это что? — спросил Пава.

— Кочерга, — ответила Ольга.

— Это я вижу. Зачем, если нет печки?

— Тетка открывает дверь с нею, — засмеялась Ольга. — Специально привезла из деревни.

— Пава! — сказала Ольга уходя. — Руками ничего не лапай. Ладно? У меня тетка очень приметливая.

Они разбежались в разные стороны: Ольга в гастроном, где дешевле, а Гриша по ее указке в «кристалловский» магазинчик. «Принес «Избу», можно подумать, дети», — сказала насмешливо.

С деньгами у Гриши было туговато, но он так возбудился новостью, что Нора рядом и он к ней непременно нагрянет, что по такому случаю решил не жмотиться. Пусть будет самая лучшая водка с лучшим винтом.

Когда он возвращался, у подъезда уже толпились люди. Он увидел Паву, полотенце, чуть в стороне валялась кочерга. Люди были так увлечены упавшим лежащим, что он на глазах у всех отпнул кочергу ногой, а потом, когда уходил совсем, отпнул ее еще раз. Он видел, как возвращается Оль-

га, но уже знал, что встречаться с ней не будет, что он уйдет отсюда навсегда и ни одна собака его здесь больше не увидит. Гриша завернул за угол и исчез из жизни этого дома, подъезда, Ольги и этой дурной, напрягшейся вожделением смерти толпы. В какой-то момент ожидания автобуса он испытал просто лютую ненависть к Паве. А если бы тому удалось попасть в квартиру к Норе и его застукали?.. Гришу всего просто выкрутило — так ясно он представил, как его потом вяжет милиция, а затем обвал всей жизни, не сказать какой удачливой, но без всяких там яких. Жизнь у него в полном согласии с требованием нормы, пусть заниженной, приплюснутой временем, как у всех не преуспевших, но и не рухнувших окончательно, как Пава. А как у всех нормальных.

По дороге побега в Обнинск он представлял, как дурным голосом кричит у подъезда Ольга, как будет она его ждать, как навалится на нее милиция (и на него, захочет, тоже). «Не найдете, дорогие товарищи, не найдете», — молился Гриша.

А все было совсем не так. Увидев Паву, а потом пролом в балконе артистки, Ольга почти спокойно поднялась в квартиру, выкинула к чертовой матери пустую бутылку «Избы», на все повороты закрыла балкон, сокрушаясь над тем, как шагал бедолага по бутылочному развалу. В школе Пава был хороший гимнаст, черта выделял на снарядах. «Таких не берут в космонавты, — говорил их физкультурник, — такие идут в циркачи!»



Так это ж когда было? Теперь у него четверо детей. Уже не детей. Сирот. Ольга поклялась, что никогда не скажет жене Павы, как он погиб. Она понятия о нем не имеет. Ни разу в глаза не видела. Ни разу. А сейчас она выйдет на работу.

Но следующий день принес неприятности. К тетке приходил милиционер.

Она после этого сказала Абдулле, что уходит, так как без прописки и почему-то менты начали интересоваться.

— У нас человек в подъезде убили, так они теперь шныряют.

Абдулла хорошо ей заплатил. Она так и не узнала, что после нее так же быстро уходил в никуда и Абдулла.

А всего ничего — Виктор Иванович Кравченко лег живым животом на грязные бутылки.

### 6 ноября

Нора проснулась от ощущения, что троллейбус дернулся и остановился. Таких ощущений в ее жизни миллион, по несколько случаев на дню. И с чего бы просыпаться с мыслью, что у нее не сходятся концы с концами? Да потому, что она однажды уже видела из окна троллейбуса Гришу с бутылкой. Тогда она обратила внимание на выражение лица мужчины. Он стоял на остановке, ожидая троллейбус, в котором она ехала. Она подумала, что обидчивость мужчин недоизучена

психологией. Умная женщина, даже не так, просто женщина в миру проблем и отношений сто раз спрячет в карман и боль, и обиду, а мужчина набрякнет носом, заскрипит зубом, да мало ли? Их очень долго можно нумеровать, такого рода признаки. Этот, ждущий троллейбус, был, видимо, оскорблен сразу всем. И Нора подумала: «Ну что за порода...»

Она тогда вышла в заднюю дверь, а обиженный вошел в среднюю, какое-то время она заметила доньшко бутылки, которую он держал в руке. Она злилась на свою прилипчивую зрительную память, что без разбора копит все увиденные лица.

Сейчас она знала точно: тот человек с остановки лежал у нее ночью на раскладушке в кухне. Ее память признала его. Она, память, знала, что такой обиды лицо у сына от отца, вечно оскорбленного живущим без интереса к нему человечеством. Память же тогда угодливо подсунула ей и завиток на голове у мальчика, и она такое себе нагородила, увидев затылок разбившегося бомжа. Все так...

Но почему все-таки не сходятся у нее концы с концами, если так все складненько объясняет ум?

— Да потому что, значит, он был тут в тот день и тот час, когда погиб несчастный! — сказала Нора вслух, а Гриша во сне скрипнул раскладушкой, потому как был чуток.

Норе бы встать и сварить кофе, но как это сде-

лаешь, если кухня занята? Она лежала, громко распластав руки и ноги, она беззвучным криком кричала тому Невидимому, который, оказывается, все давно знал. «Почему ты не надоумил?» — было в тишине крика.

Вчера Гриша ей сказал, что встанет рано и уйдет тихо — у него нужная встреча. Это было вранье. Никакой встречи — надо было застать приятеля дома, до работы, потому как оставаться у Норы Гриша не хотел. А тут еще мудрое утро первым словом снова спросило его как бы между прочим: «А почему все-таки мадам не рассказала, кто ей порушил перила?» Гриша не подозревал Нору в каком-то злом умысле — боже, сбавь! Но то, что такой самоочевидный, можно сказать, просто публичный факт не называется, то надо согласиться: в этом есть нечто остораживающее. Эдакое: я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь — до бесконечности сокрытия...

Гриша оделся тихо, умылся бесшумно, когда шел к двери, увидел сидящую на диване Нору в облачении из шахматной простыни. Вид, прямо скажем, жутковатый. Фигурки казались черными фальшивыми собачьими костями. А Норино лицо, желтоватое, стекшее к подбородку, было невероятно ярким на фоне черных по белому костей. Эдакая яркость гепатита супротив яркости замерзшего в степи.

— Ты бывал раньше в этом доме? — спросила Нора. — Если точно, семнадцатого октября?

— Я? — сказал Гриша. — Семнадцатого? Но ты же мне звонила в тот день, я был в Обнинске!

Нора засмеялась. «Так попадаются малолетки, — подумала она. — Он не может знать, в какой день я звонила... Тем более что это было не раз».

— Гриша, расскажи, как это было!

Странное у нее лицо. Она все знает, тогда зачем ей его рассказ?

— Нора, о чем ты? — смеется Гриша. — О чем? Я уже бегу! Клянусь Богом, я тут никогда не был, ничего не видел, ничего не знаю! — А сам уже крутит в замке ключ. Этого ему еще не хватало, тем более если Ольга сбежала и никто не подтвердит его слов о том, что он пошел тогда за бутылкой. Нора, получается, его видела. Но что она видела? Что?

— Ты стоял на нашей остановке, в руках у тебя была бутылка, у тебя было испуганное и злое лицо... Я шла и думала: чье это лицо? Чье? Ты очень похож на своего отца. У него было такое же выражение, когда его не утвердил ВАК.

Что она сравнивает, идиотка?

Дверь наконец поддалась, и Гриша подумал, что именно этой идиотке он мог рассказать все, что было на самом деле. Если б она не соврала первая. Но она соврала. Все вокруг растет из одного корня — лжи. Все врут налево и направо. И он такой же. Денег на этом не наживает, но и врагов тоже. С кочки на кочку, с кочки на кочку...

Я иду по ковру, ты идешь, пока врешь. Я — ты, он — она, вместе целая страна...

— Нора! Я бегу! Закрой за мной.

Она идет к двери. Гепатит и фальшивые косточки.

— Гриша! Расскажи мне! Расскажи. Ты же знаешь.

— Целую вас, Нора! Ты такая фантазерка!

«Он знает, что случилось, — думает Нора, запирая замок. — Иначе зачем скрывать?»

«Черт знает что она теперь навоображает, — думает Гриша. — Еще решит, что я его скинул. Надо смываться отсюда навсегда. В милицию она не пойдет... Из-за отца... Какой-никакой — я ей слегка пасынок. Зачем я пришел к ней, дурак? Зачем?»

Виктор Иванович Кравченко, стоящий у подъезда, не оставил у Гриши сомнений в истинности именно этого умозаключения.

### *5 ноября*

Витек знал, что мужчина остался ночевать у артистки. Когда он вернулся в общежитие после того, как у нее погасли окна, у него свело в желудке. Посидев без толку на толчке, он понял: болит не там. Пальцем он подавил себе живот сверху вниз и с запада на восток. Боли как бы не было, но одновременно она и была. Тогда он решил, что просто голоден и надо поесть. В холодильнике

стояло молоко и лежал кружок чайной колбасы. Он откусывал от круга и делал глотки прямо из пакета. Через пять минут пришли отвращение и тошнота.

«Надо следить за пищеварением, — говорил капитан-психолог, — камни кала могут способствовать неправильности исходящих мыслей».

Витек лег на живот, дыша открытым ртом в подушку. Отвращение сосредоточилось в бегущей слюне, но почему-то стало легче мозгам. Он сумел заснуть, как был, одетым, лицом вниз, а когда проснулся, то уже знал, что будет делать. Он ее спросит по всем правилам, и пусть она ему ответит по ним же. Пришел со смены Поливода и стал разуваться. Слабым внутренностям Витька вид мокрых ступней товарища был уже не под силу.

У подъезда артистки он столкнулся с выбегающим мужчиной. Тем самым, которого он приметил вчера.

— Предъявите документы, — не своим голосом сказал Витек, потому что не ожидал встречи — раз, а два — он еще ни разу не требовал предъявить вот так, что называется, на ровном месте.

У Гриши тряслись руки. Это было очень заметно и приятно сердцу милиционера. Хотя паспорт был как паспорт. Прописан в Челябинске.

— Вы тут по какому делу? — спросил Витек.

— Был у знакомой. Проверьте. — Далее слу-

чился казус. Гриша по нервности назвал номер квартиры Ольги. Витек переписал данные и отпустил Гришу. Только у квартиры Норы он увидел, что ему назвали другую квартиру. Этажом ниже. Витек сбежал вниз и изо всей силы позвонил в дверь Анны Сергеевны.

Анна Сергеевна проснулась оттого, что сверху громко хлопали дверью. Вечером у артистки долго не спали. Грохотали в кухне. Двигали мебель. Она собиралась, одевшись, подняться и сказать той об этом.

С того дня, как Анна Сергеевна «пасла работяг» в квартире Норы, она успела взрастить в душе приличного веса ненависть. Конечно, формально все началось как бы с шахматного белья, но Анна Сергеевна была воспитана в понятиях и отдавала себе отчет: само по себе любое постельное белье не может быть причиной такого сильного чувства. Но если бы только белье! У нее в ноздрях до сих пор запах Нориной кухни, не едкий, горелый, кофейный — что было бы понятно, — иной. Она ей сегодня скажет про ночные стуки-грюки, скажет прямо глядя в лицо.

Вот тут и позвонили в дверь.

Сколько времени прошло, как пропала ее кочерга, место которой было у дверного проема! Она ее специально привезла из деревни, взяла в брошенной избе, из которой люди уволокли все что можно, но кочерга — предмет в хозяйстве единичный: если у тебя уже есть одна, зачем тебе

вторая? Вот Анна Сергеевна и привезла никому не нужную вторую в столицу и приставила к стеночке у самой двери. Идешь открывать, а кочерга так складненько ложится в ладонь. Наверняка ее куда-то затырила Ольга, но зараза уехала и ни слова, где ее теперь черти носят, в какие края пода-лась?

— Кто там? — громко закричала Анна Сергеевна, силой голоса возмещающая отсутствие кочерги.

— Это участковый, — тихо ответил Витек.

Он был весьма обескуражен неправильностью номера квартиры. Его охватил злой гнев, но капитан-психолог учил: «Тем больше тише говори, чем больше громче у тебя накопилось».

— Чего тебя с утра пораньше принесло? — спросила Анна Сергеевна. — Кочерга куда-то задевалась, а то б я тебе устроила сейчас ужас.

Слово ударилось об Витька и рассыпалось на буквы. Он собирал их вместе, но получалось как в детской игре — «агречок».

И тогда нарисовалась картинка: чья-то нога в линялой джинсе отбрасывает кочергу. Он шел и думал: «Абсолютно бессмысленный предмет для жизни в большом городе».

Его тогда подвезли по дороге. На происшествие. Он вылез из машины, шел... А тут нога. Штанина. Движение носком ботинка. Бряцанье. Тот самый день.

Витек бежал вниз, забыв о лифте. Анна Сергеевна кричала ему вслед, забыв, что рано утром на площадке не кричат.



Нора стояла в обмотанной простыне — сердитый крик Анны Сергеевны вслед милиционеру совпал с ее внутренним криком обо всем сразу: о Грише, который врал, о Вадиме, который оставил томагочу, о бомже, который, видимо, не бомж, потому что Гриша наверняка его знал, но Гриша бежал от ее вопросов, едва не сломал дверной замок. «О боже! Боже! Прости меня!» — кричит Нора голосом Анны Сергеевны.

Удивительное — рядом. Отпнутая Гришей кочерга так и лежала в канаве двора. Железяка она и есть железяка. Витек взял ее грязную своей чистой рукой и пошел в подъезд.

«Мыслительный процесс может начаться с любой никакой мелочи, — говорил капитан-психолог. — Нельзя исключать даже следа мухи».

На девятом этаже он снял с лифтовой шахты лестницу-стремянку. Вместе с нею и кочергой он вернулся к Анне Сергеевне. Та так и стояла у двери, другие квартиры тоже были открыты. В проемах замерли вызванные Анной Сергеевной, на всякий случай, свидетели.

Этого Витек не ожидал, он не собирался ставить эксперимент на глазах у посторонних. Он ведь решал личную, глубоко задевшую его внутреннюю задачу. Поэтому, войдя к Анне Сергеевне, он, во-первых, выяснил, ее ли кочерга у него в руке, а во-вторых, предложил ей закрыть дверь, потому как «тут вам не театр». Причем эта его фраза к мыслям его о Норе отношения не имела

никакого, это была бытовая, обиходная фраза типа: «Не ваше дело» или «Кто тут последний?».

Анна Сергеевна радостно узнала в лицо кочергу, но назад ее не получила, так как вместе с Витьком и стремянкой кочерга отправилась на балкон.

— Он тогда от вас шел, — сказал Витек. — Я видел след. И я вас еще потом спрошу, кто он...

— Кто он? Кто? — Анна Сергеевна испугалась не слов — тона голоса. Было в нем что-то пугающее, некая настырность: бедная женщина вдруг поняла, что не знает, с какой стороны ей оборониться и какую часть себя прикрыть.

Витек же как раз все знал очень хорошо. Он верил, что у него получится. Он взойдет к актрисе через балкон и, значит, докажет возможность такого пути. И тут неважно — зачем? Важно: к ней шел убиенный.

Потом он разберется с хозяйкой кочерги — тут налицо уже все улики! Стоя на стремянке и кочергой отодвигая рубероид с тумбочкой, Витек сказал прямо в открытый рот Анны Сергеевны:

— Кочерга служила зацепом в квартиру артистки. Но ограда была на соплях.

Анна Сергеевна завывала жалобно и тонко, потому что правда милиционера всегда была и есть выше правды простой женщины-пенсионерки, которой вовек не доказать, что в ее дому сроду не было посторонних мужчин, охочих до актрис.

Но кочерга, кочерга... Плач о непонятном вы-

ходил из Анны Сергеевны жалобным вытьем. А чем же еще он мог выходить?

Нора несла на балкон мокрое полотенце. Иссекала себя горячими и холодными струями, а толку чуть. Шла в распахнутом халате. «Сейчас схвачу воспаление легких, — думала. И тут же: — А пусть! Пусть воспаление! Отчего-то ведь умирать». Он вырос, как лист перед травой, — гордый, грязный и с кочергой.

Она не испугалась. Она заплакала. Мог ли Витек взять себе в голову, что был третьим человеком на земле, способным прослезить Нору на ровном месте и сразу. Первым был Феллини. Вторым — Альбинони. Третьим оказался Виктор Иванович Кравченко с кочергой и при исполнении. Дальше история смутная. Ибо все не ясно. Могла бы Нора кинуться на грудь Феллини, взойди он к ней через окно? Но на грудь Витьку женщина кинулась. И было тут все сразу: и понимание отваги милиционера, проделавшего путь, который для другого оказался последним; и плач по Вадиму и бессмысленности его смерти; и тревога-обида о выросшем мальчике с рысьими ушами... Да мало ли...

Этот же был живой, теплый и грязный. Но главное — живой!

И он, живой, проделал весь путь, чтоб объяснить, насколько она не виновата в том, что мертвый человек обнимал ее полотенце.

Она так любила сейчас этого молоденького отважного дуралея, который пришел снизу. И те-

перь можно никому не говорить о Грише. Пусть его! И можно объясниться с соседкой, этой запалившейся на нее неизвестно за что женщиной. Она поговорит с ней потом. Обязательно.

— Голубчик вы мой!

Стоя в полураспахнутом халате, Нора прижимала к себе грязную форму Витька.

Витек же опустил глаза и увидел эти экранные белые ноги, которые отделяла от него грубошерстная ткань штанов. Он перестал себя понимать. Каким-то бесшумным, почти вкрадчивым движением он освободился от кочерги. Облегченная рука взяла на себя руководство ситуацией. Он не подозревал о ее храбрости: «Дурачок, ты ничего не умеешь», — смеялась Нора. Для действующего в неизвестной обстановке Витька это не имело значения. Пусть говорит, что хочет. Правда, другой Витек, тот, что остался как бы в пределах кочерги, был сцеплен зубами и запоминал все слова женщины. Уже зная, для чего они ему пригодятся.

— Какой ты запущенный, — смеялась Нора. — Давай я тебе вымою голову! — Еще она предлагала остричь ему ногти, почистить лицо — «У тебя угри, мальчик!», — сделать другую стрижку. Пусть говорит...

Расслабленный и опустошенный, он, казалось, уснул. Но что-то сильное, мощное толчками снова рождалось в нем...

Женщина поняла это неправильно и легко засмеялась своей проницательности. Откуда ей было знать, что толчковая сила гнала его не к ней, а

от нее. Витек видел дверь, в которую он должен выйти. Там, за дверью, он поймет себя лучше, да просто станет самим собой, чтоб никакая б... Сказал ли он это вслух или просто громко подумал?

— Да остановись ты! — смеялась Нора: — Я не ем молоденьких.

Народ подъезда был на месте. Народ ждал. Солировала Анна Сергеевна. Она уже несколько раз повторила историю про то, как не спала ночью, про шум и бряк «у этой». Она объясняла, что милиция «не там ищет». С нею не спорили.

— Два случая с одного балкона, — кричала Анна Сергеевна и показывала людям два пальца, как бы не веря в силу слова произнесенного. — Два! — повторяла она. — Два! — И осеняла толпу своим двухперстием.

— Разойдись! — сказал Виктор Иванович Кравченко, увидев все сразу. Он произнес это с лету, как первое попавшееся, и попал в точку.

Они отпрянули — шаг в сторону сделал каждый. Только Анна Сергеевна не тронулась с места. У нее занемела правая нога и стала совсем неживая. «Как протез», — подумала она. И еще пальцы. Два вытянутых вверх для убедительности пальца не сжимались. Она испугалась не этого, а того, что люди заметят! И она улыбнулась им всем половиной лица, не понимая кошмара своей улыбки.

Нора поставила на место рубероид и прижала его тумбочкой. Она видела людей внизу и уходящего милиционера. «Не побоялся», — думала она о нем с нежностью. И еще она думала, что, освободившись от несуществующей вины, она сможет, наконец, оплакать Вадима. Раньше не могла. У нее не получалось. Она поставила забытую кофегу у двери, чтоб, когда придет Виктор, не забыть отдать.

На слове «придет» Нора затормозила. Разве он нужен ей, этот мальчик? Нет, ответила она, это я ему нужна. Он такой запущенный. Он придет.

И тут она вспомнила еще одного мальчика, которого однажды всего миг видела по телевизору. Давным-давно, когда были приняты пафосные концерты детей в честь съездов партии. Стоял в приглушенном свете детский хор на сцене и ждал взмаха дирижерской палочки. И вдруг из первого его ряда вышел маленький мальчик и слепо, пошатываясь, пошел в темноту зала. В последнюю секунду, уже перед ямой оркестра, его перехватила выскочившая из-за кулис женщина и унесла на руках. Не дрогнул хор. Не вскричал зал. Не сбилось время концерта. Нора часто вспоминала этого ребенка. Что с ним было потом? И что произошло с его сознанием, когда он вышел из строя? Что потянуло его в черноту неизвестности? Маленький запутавшийся хорист... Может, ему захотелось пописать? Или он забыл, где он и кто? Возможно, теперь у него рысьи уши. Возможно, он

стал милиционером. Возможно, он не вырос вообще.

Нора смеется. Какая мальчиковая дурь сидит у нее в голове. «Нет! — говорит она себе. — Этот здесь ни при чем!» Что?

Как говорит ее абсурдистская героиня? «Пьеса банальна, а могла бы быть привлекательней, по крайней мере, познавательней, правда ведь... но...»

«Но» и «как бы» — ключевые слова нынешней речи.

Нора корчит гримасу. «Дура...»

### 5 ноября

Та сила, что толчками выталкивала из Витька расслабленность тела, завершила дело победой. По улице шел уже хорошо сконцентрированный милиционер. Все фишки стояли в нем по местам. Во-первых, он раскрыл тайну, как разбился бомж. Оказалось — элементарно! Тетку с кочергой он прижмет теперь в два счета. Она определенно навела убитого на артистку. Больше никому. Во-вторых, эта самая Лаубе...

Если думать именно так — Лаубе, то можно победить в себе эту оскорбительную слабость. «Идя на задание, на выполнение долга, нижний член оставяй дома, чтоб не болтался между ногами». Капитан-психолог любил эту тему — низа и верха — как в милиционере, так и в простом человеке. «Преступления во имя низа и во имя денег — первые в нашем деле, — говаривал он. —

Но низ в деле преступности хуже. Он есть у каждого в отличие от денег».

Витьку почему-то сейчас, когда он шел домой, все это казалось каким-то глуповатым, что ли... Он вспомнил капитана, его клочковатые, взлетевшие высоко вверх не по правилам брови, и это пространство между бровями и глазами... Непонятное пространство, не обозначенное никаким словом. Не придумали люди слова? Или не сочли необходимым называть диковину в строительстве лица капитана? Но кто он такой, чтобы ломать мозги для названия места на лбу начальника? Ладно, пусть... Пусть капитан не силен в словах. И пусть даже глуповат, но суть он знает. Ведь получается, он заранее предупредил, что наступит момент, и Витек ослабеет перед женщиной Лаубе. Это ж надо иметь «такое фамилие!». Второй раз за последний час он споткнулся на странности фамилии артистки и испытал приближение открытия.

Первая его женщина — продавщица сельмага Шура — в глаза не смотрела и отдавалась в подсобке с легким отвращением к самому процессу. Не жалко, мол, на! Когда на третий раз Витек заметил, что тело Шуры отвечает ему, он больше не пришел. Это совпало с уходом в армию, то да се. И Шура, скорее всего, не заметила, что Витек больше не пришел не потому, что его забрили, а по более тонкой причине. Потому что всхлипы-



вать телом и широко открывать глаза женщине ни в коем случае не следовало.

С тех пор так и пошло. Возникали тихие, безответные тетки или равнодушные девчонки, выдувающие жвачные пузыри. Девушка из Белоруссии была не такая, с ней у Витька ничего и не случилось. Этим и еще вразнотык растущими ресницами она и запомнилась.

Витек не верил в Бога. Хотя временами Бог беспокойно задевал Витька. Его в жизни стало больше — целования, рясы, заунывное пение. Витек хотел понять, зачем это людям, если ни одного доказательства?! Ведь никакого безобразия Бог не остановил, ни от чего страшного не уберег? Поэтому Витек, голова которого не вмещала существование Бога, всегда радовался приметам его отсутствия. Ага, ураган! Ага, дите в колодец провалилось! Ага, и СПИДа дождались! Так где ж Ты есть, когда Тебя нет?!

Получалось, что Дарвин ближе. И человек — животное и от обезьяны — вне сомнений, глазом видно. Но если уж надо продлевать человечество — пусть! Пусть это будет. Он согласен. Но без обезьяньего шума. Тихо. Женщина под мужчиной должна быть как бы мертвой.

Эта Лаубе практически стояла перед ним голая. Она сама, первая, прижалась к нему длинными ногами. Она лапала его. Она смеялась и подсказывала ему, что и как... Она в этом участвовала без стыда!

Стоя под душем, Витек плакал, потому что не

мог отделаться от наваждения воспоминаний. Он боялся, что пойдет к ней вечером. Он вспомнил, как стоял у ее дома тот покойный старик с букетом «в юбочке». Витек понял, как близок к такому же позору ожидания. «Лучше смерть», — подумал он и испытал странное облегчение от возможности выхода из всего этого при помощи смерти.

Он даже запел что-то вроде: «Никогда, никогда я тебя не забуду». Он слышал эту сладкую песню в кино, кино в армии, ему понравилось.

Сейчас он пел без слов, мыча и высвистывая запомнившийся мотив.

Пусть она еще раз сделает с ним, что хочет. Эта Лаубе, нерусский человек. Он позволит ей все ее умения.

Витек всхлипывает. Его организму жалко Лаубе. Ему хочется ее трогать и нюхать. Но он не хочет быть животным! У него есть понятия. И он ставит их впереди себя.

По телу бежит вода, и тело ему не подчиняется. Оно живет своей жизнью, жизнью восторга. Оно просто расцветает на глазах у всех его понятий.

Витек кричит в отчаянии счастья.

*7 ноября*

Вечером он купил в киоске запаянный в целлофан цветок. Витек не стал спрашивать, как его звать, негоже это. У цветка была жирная головка, а по ней как бы разбегались сосудики с кровью.

Гнусным был желтый язык тычинки, что подрагивала изнутри нагло неприлично. «В мозги лезет одна похабель, — подумал Витек. — В конце концов, око за глаз — это справедливо», — скажет он капитану-психологу, когда придет его время говорить.

Пока же он идет, положив целлофановый цветок под куртку. Он потому и куплен, хоть и дорогой, что незаметно спрячется на груди.

И еще потому... «Слышишь, капитан? Как я все предусмотрел. Цветок на груди — мое алиби».

Когда он позволит Лаубе еще раз — всего один раз! — тронуть себя, он столкнет ее с балкона, но так, что никто на свете «не догадает его». Ибо милиционеры не покупают цветы неизвестных названий. «Некоторым живым, — скажет Витек капитану-психологу, — полезно быть мертвыми».

И пусть капитан с ополоумевшими бровями найдет, что ему на это ответить!

— Ну, — возможно, скажет он (он же не стерпит смолчать), — ты прямо мыслишь, как существуешь...

# Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом

Сколько жонклов в твоей восточной  
машине, где ты,

Сколько жонклов в твоей восточной  
машине, где ты, где ты, где ты,  
Где ты, где ты, где ты,  
Меня больше не дави.

Сколько жонклов в твоей восточной

Я нашен там машин севкажи  
Обулажишь лодки,  
И ты к снакапным накажи  
Меня уж больше не дави.

Меня больше не дави,  
Меня больше не дави,  
Меня больше не дави,  
Меня больше не дави.

Сто лет назад или около на дороге из Пуца-Водицы в Киев умерла старуха. Баба Руденчиха совершенно не собиралась этого делать, она была настроена на жизнь и на долгое путешествие аж до самой Белой Церкви, где вдовела ее старшая сестра. Семидесятилетняя Руденчиха собиралась соврать сестре Варваре, что пришла ради нее, чтобы подмогнуть в старости, все-таки той уже ближе к восьмидесяти, а Руденчиха, слава богу, крепкая, до работы спорая, она еще самое то — принести и сделать. И баба шла быстро, ее босые пятки стучали по шляху вполне энергично и, может даже, отдавались в центре земли.

Пуца-Водица дула ей в спину ветром недобрым, но чем дальше, тем дула слабее, и в этом положительная сила расстояния. В Киеве баба собиралась помолиться, для чего говела уже две недели, чтоб снять грех со своей души, но, главное, с души тех, которые вытолкнули ее на дорогу. «Хай! — молилась Руденчиха. — Хай живуть!» Главное было — не думать про это все время. Про то, что она одна на дороге, в легком мешке у нее все, что у нее есть, и ей, как потом скажут ее пра-

внуки совсем по другому поводу, нельзя ни шагу назад.

Руденчиха стучала по земле и мысли старалась отбирать исключительно местного значения. Вон та загогулина, что буковкой обзмеила овраг, пройдет — и дорога станет под гору, а там и Киев закрасуется так, что сердцу станет больно от красоты, и вот тогда она уже даст себе поплакать хоть и тихонько, но все-таки допуская к слезам тонкий голос, чтоб душе стало легче. От красоты можно и повыть в чистом поле, когда она сядет на землю и даст пяткам роздых.

## 2

Одновременно...

Из Киева в Пущу-Водицу — совсем наоборот — шел еврей Хаим, это был случайный проходящий еврей, которому вообще-то надо было в другую сторону, но так встали звезды, что и он своими босыми пятками (ну чем их можно еще заменить?) дошел до того места, где ногами в сторону Киева лежала баба Руденчиха и рот ее был жадно и навсегда открыт небу. Хаим сказал что-то на своем печальном языке и оттащил бабу в хорошую такую ямку, которую придумала сама природа как бы специально для Руденчихи. В мешке ее он нашел бумаги, но Хаим не знал грамоты этого народа, он только по-польски немножко читал по-печатному.

Конечно, можно было сделать вид, что его не

касаются мертвецы, лежащие на дороге, и не его дело с ними как-то поступать. Но Хаим очень хотел бы, чтобы его тоже быстро положили в землю, если придет его час, и чтоб ни у кого не возникло мысленных затруднений на этот счет. И он, выпевая свою молитву, хорошо присыпал Руденчиху, закрыв ей лицо платочком в мелкую такую точечку. И трохи посидел рядом с могилкой, думая над жизнью как таковой... Жизнь не давалась ему в разумение, а положиться без задумчивости на Богом данные истины у него почему-то не получалось. Истины были прекрасные, но хрупкие, а жизнь некрасивая, но сильная, и концами они не сходились. Имеются в виду истины.

Покидая уже никуда не идущую Руденчиху, Хаим попросил Бога, чтоб он не оставил его с открытым в небо ртом, чтоб нашелся и для него по дороге путник с правильными понятиями.

### 3

Через сто лет или около на тахана-мерказит маленького города близ Хайфы, что в Израиле, сомлела пожилая дама, всем своим видом доказывающая непричастность к народу этой земли. Она уперлась спиной о бетонный стояк этой самой таханы, или этой самой мерказит, одним словом, дело было на автобусной станции. Дама, значит, сомлела, но не упала, а осталась сидеть, откинувшись на стояк.

Ее заметили скоро: если не через десять ми-

нут, то через пятнадцать точно. И тут же завывала не своим голосом амбуланц — то есть «Скорая помощь», — хотя почему не своим, очень даже своим — и молодой бородатый доктор Хаим сам положил даму на носилки и дал всему этому делу колеса и ноги, и уже скоро все, кому надо, знали, что всякие трубочки, шлангочки и прочие стражники жизни приставлены к Анне Лившиц, приехавшей в гости и так далее.

Внешний мир спорадически пробивался к мозгу женщины, она слышала его всплески, но когда они исчезали, на самом моменте их излета, утихания, возникало нечто, что в переводе на язык жизни можно было бы приблизительно обозначить, как радость и удовлетворение... Но это очень приблизительно, как приблизительно само наше немощное представление о том, что с нами случается там, за гранью. Гораздо интереснее в смысле описания живой и полнокровный доктор Хаим, который, успокоившись состоянием больной, покинул ее — и зря, между прочим, — на могучую аппаратуру и сноровистых медицинских сестер, а сам вышел в коридор, где, не озабоченные сохранением тишины, шумели многочисленные евреи, и Хаим (Леня Вильчек в прошлой жизни) в который раз подумал о том, что своих соплеменников он любит вкрапленными в тело других народов, там они как бы умнее и как бы выдержаннее, а тут одна орущая мешпуха. То бишь семья. Леня-Хаим был немножко художником — так, для себя, без всяких претензий. Он малевал под Шага-



ла, под Дали, под Шемякина, это самое «под» было в его картинах главным и даже как бы позорило Леню, но ведь он и не лез со своими картинками на выставки, он даже никому их не дарил. Они висели у него дома в темном коридоре — так решила его жена, — и он не спорил, еще чего! Там им, скорее всего, и место. Но когда никого не было дома, он включал все лампочки и ходил по коридору туда-сюда, туда-сюда, и на него падали из иллюминаторов самолетов скрипки, шахматные доски, «Анны Каренины» и таблицы логарифмов. Картина под Шагала, которая устраивала это безобразие, называлась «Освобождение от лишнего. Исход из России».

Сейчас Хаим, не художник, не мазила, а реаниматор Божьей милостью, разглядывая орущую семью Анны Лившиц, особо выделил хлопающую руками по широким, квадратным бедрам женщину, определил ее как главную в этом коуде и обрадовался, что не надо выстраивать на кончике языка медленный ряд ивритских слов, так как «бедра в квадрате» говорили на хорошем русском, которому Богом дано выражать словами много больше, чем только смысл самих слов. В русской речи есть еще нечто — надсловие, подсловие, а есть и что-то притулившееся рядом... Правильно делают те, кто упорно овладевает английским. Вот он как раз создан для того, для чего и быть языку, — для понимания, тогда как наш великий и могучий — и

для понимания, конечно же! — но и для того, что над... под... и сбоку...

Хаим уже растянул губы от радости этой русской непонятности, но мы его оставим на этом. Хаимы в нашей истории сыграли свои исторические роли, они Первыми держали за концы Полог целого столетия, который нам надлежит сейчас натянуть как следует, чтоб кусок человеческой истории влез под ним, как помещаются дети под простыней, тряпкой, полиэтиленом, натянутыми на что ни попадя, чтоб сыграть под прикрытием, как под небом, свою игру в дочки-матери. Собственно, и мы об этом.

## 4

Никто никогда не искал бабу Руденчиху. Сестра Варвара в голову не могла взять, что кто-то там к ней идет на подмогу. Какая подмога? От кого? В Пуще-Водице живет сестра, так у нее ж трое детей, внуков она даже не знает сколько... Какая подмога! Смех с вас!

У Варвары снимала угол и столовалась фельдшерница. Старая дева верила в звезду Сириус, но показать ее на небе не могла, потому как та была с другой стороны неба. Варвара сразу подумала, что это очень умно — верить в то, что не видно. Что это — считала Варвара — освобождает от ответственности. Фельдшерница же как раз была ответственна до противности, и это единственное, что вызывало у Варвары желание отказать ей от

угла и стола, потому что сама она никогда не озабочивалась поливом огорода, если ей хотелось другого, например, погадать на свою младшую сестру и убедиться лишний раз, какая у той «дурная судьба».

Это ж надо, при живом, правда, отсутствующем муже, завести шуры-муры с шинкарем из жидов. Варвара от одной этой мысли холодела ногами и влезала в подрезанные валенки, потому как ножной холод считала очень опасным для дыхательных путей. Начнешь стынуть с пальцев, а перекинется аж в горло. Злые языки говорили, что кто-то из детей сестры — от шинкаря, потому как это дело естественное: раз есть одно, то и другое идет следом.

Но Варвара знала точно: брехня.

Два раза, тайком от чужих глаз, была у нее непутевая, это когда надо было травить ребенка. «Не от Николая», — говорила она Варваре и ложилась на грех и муку. Правда, кончалось все благополучно. Организм у грешницы был крепкий.

У Варвары за время пребывания сестры набухало много вопросов, и высоких, и низких. Последние для нее были вообще не говоримы по причине Варвариной стыдливости. Давным-давно, всего два месяца, у нее был муж. А потом взял и утоп. Повис тогда в воздухе вопрос — не сам ли? И уставился на Варвару острый глаз народа, не она ли причиной, потому как... С чего бы другого? Она тогда заколотилась в страдании именно от этого — от подозрения. И всю свою жизнь оп-

равдывалась за Федю, который ушел на речку и не пришел. А ей ведь живи! Потому кто, с кем и зачем, Варварой и не говорилось, и даже зачеркивалось в мозгу. Стеснялась она спросить и другое: почему сестра не боится греха измены вере? Соединения с другим Богом? Но та как-то сама сказала: «Не было б детей — ушла б. Глупость это — еврей-нееврей. Любовь, Варька, это все!..» Тут уж Варвара не стерпела и сказала, что за такие слова — «любовь — все» — точно ад и горячие печи. На это сестра засмеялась, закинув голову: «Дура ты, Варька! Ад и печи — здесь. На земле». — «Сгоришь, сгоришь!» — кричала Варвара.

Тогда же пришла к ней странная мысль: сестра — чтоб всем назло — могла оставить плод и от шинкаря. Такой у нее характер. Варвара быстро перебрала в памяти племянников. Не сообразишь! Все, как один, лупатые и кареглазые, в мать. Шинкаря же Варвара никогда не видела.

Но это когда все было... Не считаешь. К ней уже давно не приходит вопрос о Феде — сам или не сам? И сестра уже бабка. Теперь у них обеих один ответ — перед Богом. Он справедливый. Он определит. Но смерть на шляху и чтоб рот открытый, и чтоб еврей «заховав» — такого карты показать не могли. И то сказать, как? Еврей — он ведь не валет и не король. Он кто? И вообще смерть на шляху — если бы Варвара про нее знала — гораздо ширше пикового туза, даже если положить на него сверху девятку пик, а пик даму сунуть ему под ноги.

В общем, Варвара жила-поживала под приглядом фельдшерицы, и та похоронила ее по всем церковным правилам, хотя и держала в голове потусторонний Сириус. Она была широким по мировоззрению человеком, эта старая дева тех времен, когда слово значило то, что значило.

И царство им всем небесное.

Не искали бабу Руденчиху и ее дети. Старший сын давно существовал где-то в кацапских краях, средний пил и гулял, считая, что если не это, то тогда зачем жизнь? В смысле — вообще? Мать являлась ему тогда, когда настырный такой хлопце-чертеня садился ему на шею и бил его копытками под самый что ни на есть кадык. Вот тогда и являлась с рушником ридна матынько и рвала рушник на чертячьих рожках, но маленьке бесеня прыгало с шеи, гогоча по-своему. Где ж она, мать, думал сынок, обшупывая болючие ребра, звидкиля появлялась и куды счезла?

И он спрашивал сестру Паню, от которой и ушла с мешочком старуха Руденчиха:

— От матери ничего нема?

Паня начинала ответ с самой высокой ноты, может, «ля», а очень возможно, что даже «си». Она могла держаться на ней долго, на ноте, так что даже куры прятались кто куда, не то что имеющие соображение собаки, которые учуивали ноту «ля» («си»?) за момент до ее возникновения. Ответа на вопрос брат, как правило, не дожидался, он уходил вместе с курами, завидуя мудрой скорости собак.

Паня знала сокрушительную силу своего голоса, потому всегда после крестилась, нервно ища направление прощения, но где ты его найдешь, если кругом, куда ни глянешь, то клуня, то курятник, то уборная? Панин глаз все это ухватывал, и уже до второго перекрестья дело не доходило, зато гнев набухал в ней рьяно, и из двора тихонечко убегали уже и дети, и даже Тарасик — звездочка, внучек ненаглядный — и тот на своих кривых лапках тикал за всеми, улавливая высокое напряжение воздуха и природы.

Вот его Паня обязательно славливала и, обнимая, отходила голосом, и уже другие звуки шли из нее, те, что хорошо годятся для расцветания и плодоношения. Такие звуки — не исключено — мог слышать и сам Моцарт. Не от Пани, конечно, но где-то недалеко от Киева. В Европе.

## 5

Совсем в другое время, когда уже и внука Пани на свете не было, его внучка играла в настольный теннис в огромном редакционном холле, а тамошние мужики и парни в этот момент всегда открывали двери, потому что каждому хотелось поймать глазом краешек трусиков Паниной праправнучки, когда та дотягивалась ракеткой до шарика, который взбрыкивал от нее подальше. Тогда у картины был вид так вид — и весь мужской род набрякал кровью, желая незамедлительно войти в пределы розовых штанишек. Надо ска-

зять, что многим это удавалось. После игры, конечно.

Хотелось этого и Моцарту. Так в редакции называли попа-расстригу, регулярно приносившего в пятничный номер газеты «уголок атеиста», где он высоким тенором выпевал отсутствие Бога как такового, ссылаясь на свой трагический опыт заблуждения, когда он смолоду и сдуру, под влиянием и так далее... За то, что он брал в этом важнейшем деле идеологии самую что ни на есть высоту и парил в ней на прямых крылах аки тот голубь, он и получил кличку Моцарт, хотя фамилию имел грубую — Шумейко, звался Иваном, но это не имеет никакого отношения к делу. Поп-расстрига нужен нам, что называется, на раз.

А раз такой...

Наглядевшись с близкой, удобной позиции на хорошенькие ножки Паниной праправнучки, в миру Лильки Муратовой, и обмыслив хитромудрым лукавым умом свои шансы на возможность более конкретных отношений с Лилькой, Ваня-расстрига понял, что разыгравшуюся фантазию ему лучше попрिдержать в конюшне, а не давать ей вольную волю. Лилька заведовала тем самым отделом, куда он приносил свои насмешки над Богом и иже с ним, отношения у них сложились вполне деловые, каждую пятницу, лишь солнце закатится, он имел свеженький оттиск статейки, их уже поднабралось более чем, и обком вынашивал в своем большом животе идею Дома Атеизма, именно так — с двух больших букв. Хотя Ваня

Шумейко в партии еще не был, а только собирал рекомендации, но, по существу, он и забрюхатил идеей обком. Поведи он Лильку в какое-нибудь укромное место, при ее языке завтра же весь мир узнает, какие у него параметры и скорость. Поэтому экс-поп ударил сложенной в трубку очередной заметкой по возбуждательной Лилькиной попке, Лилька потеряла шарик, заорала на него «дурак!», Ваня сказал, что Бог все видит, как они в рабочее время стук-стук да стук-стук, одним словом, игра прервалась, и Лилька повела Ваню на свое рабочее место, одновременно выкусывая из своей крепенькой ладони мозолики от ракетки. «Дай!» — сказал Ваня, беря Лилькину руку. Дело в том, что он последнее время баловался хиромантией, хотя в те годы слово это знали очень сильные интеллигенты, а простой народ вообще если и слышал его, то был убежден, что корень там совсем не тот, что имели в виду греки. Наш задний ум на самом деле очень передний, и нас хлебом не корми, а дай вставить любимое слово ума в самую что ни на есть середину. Ваня Шумейко с чувством глубокой печали отметил у Лильки очень сытный «венерин буторок», вздохнул по поводу жизни, в которой так часто приходится отказываться от вкусного, и хотел уже бросить горячую Лилькину лапу, но тут профессиональный взгляд усмотрел точечную ямку на линии Лилькиной жизни, после которой линии как бы не стало; получалось, что жизнь у нее совсем, совсем недлинная, хотя что-то в раскладе ладони



было необычное, потому Иван подвел Лильку к большому окну и развернул ее лапу широко и навстречу самому солнышку...

— Тебе, мать, чтоб спастись, надо уйти в монастырь, — сказал он.

— Щас, — ответила Лилька.

— Ты меня слушай! — закричал расстрига. — Тебе придется что-то смочь...

Лилька засмеялась. Вот уж что без проблемы — это смочь. Она даже печку переложила, когда снимала халупу в Нахичевани. Разобрала к чертовой матери трубу, вычистила дымоход, побелила комнатку, хозяйка пришла, и, как в том стишке, — «такая корова нужна самому». Отказала от комнаты. Лилька ей пригрозила, что, выезжая, сделает печку, как было, а стены чистые «обосыт». Девушка с красным дипломом университета, Лилька могла мгновенно о нем забыть, если надо было что-то объяснить родному народу. Ее уважали технички, электрики, слесаря, даже продавщицы, потому что Лилька всегда держала в кармане пульт на спуск некоей себя другой, не знающей французского и латыни и не почитающей Аполлинера.

Так вот... Ей ли не смочь?

— Смогем, если надо, — ответила Лилька, вырывая руку у расстриги, — давай лучше свой пасквиль.

— Лиль! — сказал тот. — У тебя будет трудный период... На грани, можно сказать...

— Помру? — спросила Лилька, которой уже

нагадывали и короткую жизнь, и длинную, и бедность, и богатство, и двух мужей, а у нее уже был четвертый, и троих детей, а у нее была двенадцатилетняя дочка, за которой вослед вытащили из нее все рожальные причиндалы, и была она теперь свободна от страха забеременеть, и никакой печали о неродившихся ребеночках у нее сроду не было. Так что поп-расстрига мог ее пугать, как хотел, мог ей морочить голову, Лилька была свободна от мыслей, как оно там будет...

Но мы запомним этот момент развернутой к солнцу ладошки. Как запомним лежащую на шляху ногами к Киеву Руденчиху, двух Хаимов, сомлевшую у тахана-мерказит Анну Лившиц и то, что мы так шутя-играючи натянули полог на целое столетие и теперь нашли себе место в центре жизни Лильки Муратовой, которая читает статью расстриги, выкусывая из ладошки пингпонговые мозолики.

Вечером она положила на стол редактору статью Вани, тот привычно, даже, можно сказать, буднично приспустил ей трусики и — не подумайте плохого! — почесал ей лобок, такая у них была игра, потому что другой быть не могло: редактор был слегка импотент, слегка трусоват, но так чтоб совсем от всего отказаться — силы воли не хватало.

Правда, после этого он шел по лицу багровым пятном и прилично скотинел глазом, но и это кончалось столь же быстро, сколь быстро и начиналось. К тому же у редактора была фамилия Ми-

нутко, и, видимо, она все и определяла, хотя Лилька давно всем объяснила, что никакой он не Минутко, Минутки теперь все, он — Секундко. Но определение не прижилось. Неудобные для произношения встали буквы, а мы не какие-нибудь там венгры, чтоб ломать себе язык на слепившихся согласных. Лилька оправила юбочонку, редактор незаметно нюхнул подушечки пальцев-игрецов, пятно с лица его сошло, и он сказал, что двухкомнатную квартиру им в этот раз не дают, а дают однокомнатную, так что «извините, Лилия Ивановна».

— Хочешь — жди следующего дома.

— Я тебя сейчас убью, — сказала Лилька и взяла каслинского Дон Кихота, подаренного редактору на пятидесятилетие. Дон был большой, и если прицелиться его оттопыренной рукой в висок... Почему ей хотелось убить редактора именно так — рукой Дон Кихота, когда куда как легче было это сделать основанием скульптуры прямо по лысой башке, на которой висок — в сущности, малость. В него еще попади.

Минутко пожевал собственный рот — так он обижался. Он и правда боролся за двухкомнатную квартиру для Лильки, заведующей отделом, ее мужа, сотрудника чумного института, и их ребенка — девочки Майи. Но ему сказали: какие претензии? Двухкомнатные рассчитаны на четверых. Не меньше! Сам посчитай: пять на четыре — двадцать, плюс еще пять на хозяина. Это же арифметика.

«Это арифметика, — думала Лилька, проживая в автобусе свои сорок минут. — Эта лобковая сволочь даже не подозревает, как он прав».

Тут надо сказать: писать о метрах остобрыдло. Хорошо бы в качестве завязки взять что-то изящное, тонкое, какой-нибудь фэйф-о-клок. Но ни туда, ни сюда. Мы все будем подрываться на этой теме, как на mine. Это такая наша народная забава. Но чтобы слегка отвлечься от противного и навязшего, возьмем Лильку в руки — это приятно! — и выясним, откуда у нее растут и ноги, и притязания.

...Первым мужчиной в ее жизни был одноклассник, призер всех и всяческих математических олимпиад. Он ей объяснил про количество сперматозоидов и про теорию вероятностей, по которой только и может случиться беременность. Он не подозревал, что ей было плевать на это, что она так его обожала и так хотела, что математике просто рядом стоять не стоило. Она забеременела от первого же сперматозоида, и ей сделали аборт накануне выпускного сочинения. Обескровленная, синяя, с острой болью в крестце, она писала про то, что в жизни всегда есть место подвигу. Ни боже мой! Никаких аллюзий не было и близко. Это была самая легкая, бездумная тема, которую не надо было знать, а просто сидеть и навязывать пучки слов и фамилий. Учительница литературы очень обиделась на Лильку за этот ее выбор. Отличница, она должна была писать про вольность русских поэтов, а она возьми и напиши то, про

что пишет всякий троечник. Учительница подло заподозрила Лильку в расчетливости, и ей, носителю высоких мыслей и чувств, было противно. Она столько вложила в эту девочку своего, личного, можно сказать даже тайного, а та возьми и сделай такой выбор, тогда как у нее — у Лильки — просто не должно было быть выбора. Лилька кожей чувствовала обиду литераторши, когда та сновала между рядами и остро пахла «Серебристым ландышем» и сукном юбки.

Лилька писала автоматически, думая совсем о другом. О том, как она лет в десять поняла: всегда надо выбирать вещи простые, они удобней, они долго носятся. Какому ненормальному человеку удастся поместить в головке теорию вероятностей? А вот арифметику «подзалета» знать надо. И она знала! Знала. Ей мать сто раз говорила, что дела на миг, а неприятностей на всю жизнь. Правда, мать не говорила, как поступать с жаром, который распирает изнутри и тебе только и надо, чтоб это случилось, потому что иначе спятишь, сама изорвешь себя ногтями... Нет, про такое говорено не было... Такого как бы не было вообще. Получалось, что десятилетняя Лилька была умней семнадцатилетней. Маленькая, она рассматривала в зеркальце все свои сморщенные складочки и таинственный ход, в который она легонько ткнула пальцем, и ни-че-го не произошло. Но потом случилось с этим призером-чемпионом, и она забыла, что была умная, а стала какой-то хищной росянкой, жаждущей поглощения.

С того выпускного сочинения, когда Лилька абсолютно инстинктивно — как пригнуться, чтобы не удариться головой, — выбрала самую забубенную, самую примитивную тему, она навсегда отвергла для себя путь сложный.

Когда математический мальчик на выпускном вечере сделал ей предложение руки и сердца «как порядочный человек», она захохотала ему в лицо. Она сказала ему, что не сможет жить с человеком, у которого в голове дурь в виде теории вероятностей, что она любит — обожает! — арифметику, где дважды два никогда не подведут, что таблица умножения во сто крат важнее таблицы логарифмов, что мальчиков, которые рисуют формулы, надо сбрасывать со скалы, чтоб другим не повадно было. Одним словом, она такого нагородила, что мальчик назвал ее ничтожеством, и тогда она с полным на то основанием двинула ему кулаком по носу, да так, что призер захлебнулся кровью, хорошо, что аттестаты уже были в родительских сумках. Их просто выставили из школы, а учительница литературы, все еще обиженная на Лильку за измену глубоко прекрасному, сказала:

— Чтоб твоей ноги...

— Да пошла ты, — перебила ее Лилька, хотя логики в словах не было никакой: это она навсегда покидала школу, а учительница оставалась. Но Лильке было хорошо в каком-то новом, освобожденном от лишнего теле.

Но ничто не канет навсегда. И воля одного непременно обернется неволей другого, это просто

элементарная физика. У Лильки была младшая сестра Астра, которая попала потом в руки оскорбленной Лилькой литераторши, и бедной девочке мало не показалось. Выше тройки она не зарабатывала никогда, хоть головой об стену бейся. В результате — отчаяние, обида, все пошло комом, и Астра едва-едва поступила в швейный техникум, такую печать неспособности поставила на ней страшная месть. А ведь если разобраться, то все началось с теории вероятностей, которой заморочил голову один математический мальчик девочке-росянке.

Тут надо ввести еще одно объяснение, чтоб было все ясно впоследствии. Имя Астра. Мама хотела девочек-цветов. Если бы были мальчики, то, возможно, они стали бы Эльбрусами, Эверестами, и это определило бы их стремление ввысь, что-то в этом духе... Девочкам же надлежало цвести и пахнуть. Поэтому, во-первых, Лилия. Поэтому, во-вторых, Астра, хотя такого имени нет вообще. Но Роз зналось слишком много, и мама колодилась между Азалией и Астрой, и в конце концов остановилась на Астре, Азалия показалась чересчур. Беда с этими романтически настроенными мамами и их неумной фантазией. Астра была неудачницей по жизни, ей в восьмом классе объяснили, что она ничтожество, бедный ребенок поплакал-поплакал и принял свою судьбу, потому что куда же от нее денешься?

Лилька же взнуздала в себе волю и храбрость и была всегда и всюду первой.

На первом курсе университета она вышла замуж в первый раз. На втором — во второй. Если учесть, что это было строгое время и оно любило наказывать разное индивидуальное баловство, то естественен вопрос: как? Как ей, комсомолке, удалось такие пируэты? А вот так. Первый муж быстро попался на болтовне по поводу давно прошедшей финской войны, с ним по-хорошему поговорили — и ничего больше, но Лилька шкурой («арифметикой») почувствовала, что ее муж-интеллектуал может ей дорого стоить, к тому же семейная жизнь на частной квартире в холодной коридорной выгородке ничем таким особенным не показалась.

Развелись летом к радости мамы, которой зять не нравился длиной, сутулостью, длинным ногтем на мизинце и распадающимися на две неравные части прямыми бесцветными волосами. «Это не муж», — сказала мама. И хоть сказала она так, считай, во вторую встречу с зятем, в Лильку диагноз попал. Она так его и звала, вроде бы с юмором: «Немуж! Не-муж!» Университет тогда был захвачен событиями масштабными — докладом Хрущева. Потому на фоне большого катаклизма мелкое обстоятельство Лилькиной жизни потрясения не вызвало.

Не успели людишки оправиться от речей и собраний, как Лилька прыгнула в койку преподавателю древнерусской литературы, некрасивому старому козлу, у которого дочь училась вместе с Лилькой. Лильке нравился доцентский дом, в нем



устойчиво пахло высшим образованием — книгами, пылью, теплыми, свалявшимися кофтами, уже тогда бывшими «унисекс». Большая квартира была холодной, поэтому в ней часто пахло и горелым: это когда на включенный рефлектор падала газета или цеплялась та же безразмерная кофта. В первый же раз на Лильку напялили одну такую до самых колен, и это определило точку обзора для замороженного древностью доцента. Он увидел красиво вытянутые бутылочки Лилькиных ног — на ней как раз были длинные зеленые рейтузы. Больше никуда доцент смотреть не мог. Его откровенно сластолюбивый интерес был, можно сказать, нараспашку, но и жена, и дочь — как ослепли. А Лилька как раз напряглась и мысленно вымыла и вычистила квартиру.

Во втором замужестве неприятностей было гораздо более... Общественность, забыв о разоблачении культа личности, восстала против Лильки и ее старого нового ошалевшего супруга. Они жили у доцентской мамы, старухи еще более древней, чем наука сына. Она уже мало что кумекала, путала Лильку с внучкой и не сразу понимала, что за старик сидит у нее в кресле. Лилька мысленно вымыла и эту квартиру, такой тогда сидел в ней внутренний мойдодыр.

На помощь спятившему с ума от острых ощущений доценту было вызвано подкрепление в образе его младшего брата, который вынес за порог Лилькин фибровый чемоданчик, а доцент был скручен в прямом смысле слова и доставлен в

«тихое место», где у него стало «много друзей». Партбюро поставило в повестку дня Лилькино личное дело, запахло крупным пожаром. Лилька сконцентрировалась, пошла в ректорат и забрала документы «в связи с болезнью матери». Бюро не успело очухаться, как Лилька исчезла в неизвестном направлении, вынырнула в Свердловском университете и на той же липе — болезни матери — стала тамошней третьекурсницей. Чистенький, без штампов, паспорт она заимела раньше, это ей недорого стоило. Начальник паспортного стола был хороший арифметический человек. Он слыхом не слыхивал про теории неожиданностей и невероятностей, войну с финнами считал справедливой, не читал Вересаева, даже не знал, кто это такой. От него пахло «Шипром» и чистой мужской плотью, а не сваявшимися кофтами, и Лилька подумала, что простота, она, может, и хуже воровства, зато, безусловно, лучше интеллигентской кажимости.

В Свердловске Лилька в третий раз, но как в первый, вышла замуж — за строительного инженера, который имел большую комнату в общежитии и держался за нее обеими руками, когда совершались попытки переселить его или в комнату поменьше, или дать ему подселенца. Инженер принимал бой и выигрывал его, поэтому Лилька сразу въехала в человеческие условия — двадцать квадратных метров, два огромных окна, отдраенный желтый краник над раковиной и туалет —

три шага по коридору. Лилька купила трюмо и поставила его между окон. Теперь кто бы ни входил, прежде всего видел себя, и это имело большое организующее значение. К ним в гости люди старались приходиться поприбранней, без этого нашего расейского абы как, помноженного на общежитские нравы.

Этот тип женщин — тип Лильки — многожды был показан в кинематографе и в литературе, и не стоило бы трудов опять и снова браться за захватанное. Лилька, едущая в автобусе в свои тридцать пять лет, — красотка будь здоров. На нее пялится весь мужской пассажирский состав, а женщины мысленно выкалывают ей ключами глаза и с мясом рвут сережки. Вокруг Лильки такое энергетическое поле, что какой-нибудь затрюханый Гондурас вполне мог бы существовать на ее электричестве. Эх, времечко, куда ты котишься...

Сегодня ей за шестьдесят, что называется, отработанный пар. Она — тетка с сумками. Она — «в Советском Союзе секса нет». Она — старая пердунья, которая зажилась на этом свете... Чтоб писать про это горе, его надо чуть-чуть забыть. Чтоб создался паз, расстояньице, может, через него, может, через время и всколыхнется жалость... Не сейчас... Но у нас другая история. Лилька в ней — точка обзора иных причудливых пространств.

Надо было срочно прописать мать. Та всегда жила с Астрой, потому что портнихи, как правило, люди оседлые, им не требуется знание других земель. Мать уже много лет вдовела, похоронив отца Астры. Тут надо сказать, что у Лильки и Астры были разные отцы. Лилькин канул в середине тридцатых, именно канул. Был, был — и не стало, не пришел с работы, но — люди видели — с нее ушел, его заметили на крыльце конторы, когда он опустил ногу на ступеньку, чтоб идти вниз, но вот свидетелей, что он сошел со ступеньки, не оказалось. Именно эта сдуваемость человека с ровного места, хотя нет, не ровного, крыльцо — место промежуточное между плоскостями... Так вот, сдувание человека с места промежуточного чуть не довело мать до наложения на себя рук. Спасла Лилька. Крохотная девушка требовала материнской жизни, и мать собралась с силами и выжила...

И тут к месту сказать, что в другие времена, когда исчезновение людей в пресловутые годы стало знаком качества семьи, некоей самоценностью фамилии, ни мать, ни Лилька не вставляли отца в автобиографии как этот самый знак, что тоже, мол, не лыком шиты. Воспарение с крыльца в момент опускания ноги больше годилось к предположению о похищении отца пришельцами с НЛО, но про них тогда слыхом не слыхивали, поэтому ни в коем случае для автобиографии отец не годился. А потом мать нашла себе другого, тишайшего из тишайших евреев Семена Лившица, специалиста по шахтерскому силикозу, играюще-

го в шахматы и на скрипке и имеющего национально-горбатый нос. Его слегка презирали врачи других направлений — дантисты и гинекологи, — работа которых приносила куда больше уважения и денег, ибо всегда имела результат: вырванный зуб или удаленная киста. Силикоз же — вещь эфемерная, его нельзя подержать в руках, нельзя предъявить начальству как факт собственной нужности. Поэтому жил Лившиц тихо и, как теперь говорят, не возникал. Знал свое место. От него и Астра. Он погиб на фронте, и доводил девочек до ума уже третий материн муж. Такой весь из себя бычок-мужичок, маленький, крепенький и лобастый. Лилька скоро уехала учиться, стала строить жизнь по собственному разумению — а по чьему же еще? А мать и отчим так и куковали с Астрой. Та их обшивала, потом вышла замуж за шахтного технолога, потом родила Жорика. Это случилось раньше рождения Лилькиной Майки. Собственно, не будь Жорика, была бы Майка? Первый опыт, как мы знаем, был у Лильки не вдохновляющим, но тут племянник, курчавое дитя, так раззадорил какие-то неведомые силы, что Лилька стала ощущать пульсацию в сосках и какую-то влажную слабость от вида младенцев. Ей хотелось их нюхать, лизать, тискать, сердце ухало куда-то в область выходящих отверстий, одним словом, в той самой комнате, где между окнами стояло трюмо и посверкивал на солнце медный краник водопровода, и родилась Майка через пять лет после рождения Жорика.

Сейчас Жорику семнадцать, Майке одиннадцать с половиной, мать живет с Астрой, технолога нет и в помине. Уехал на севера за длинным рублем да так там и остался, прижился у какой-то коми-женщины и сказал, что «это хорошо». Правда, в алиментах был честен, что да, то да.

Лилька написала матери письмо, в котором без всяких обиняков сказала: «Ты всю жизнь жила для своей Астрочки, так вот расстарайся и для меня, и для Майки, моя дорогая. А то людям сказать стыдно...» Что стыдно, было неясно, но именно неопределенность обвинения ударила мать в сердце. Мы ведь боимся не того, что уже стоит на пороге, а того, что таинственно скребется, не имея лица. С тем, что есть, уж как-нибудь, туда-сюда разберемся, а там, где нам ставят три точки и на что-то намекают, — все. Сердце такого может не выдержать. Мать выписалась и примчалась к старшей дочери, Лилька прописала ее в два дня, явилась к Минутко-Секундо и шлепнула его по рыжей, пятнистой лапе материнским паспортом.

— Нас четверо, — сказала она. И боком потерялась о рукав начальника, как бы подбадривая его совершить традиционную шалость. Лилька тогда готова была пойти и на большее и предупредила секретаршу в приемной: — Надя, у меня дело конфиде... Чтоб ни одна собака...

Надя хохотнула так, что задрожал графин с водой, и сказала, что, пожалуйста, ей не жалко, разве только придет Трофимыч, тут ей не устоять... Но это была редакционная хохма. Трофи-

мыч — секретарь обкома по идеологии — был замечен в неожиданных появлениях там и сям. Поэтому, выпивая в кабинетах, люди закрывали стулом дверь. Предусмотрительность называлась «вот придет Трофимыч».

Лилька получила вожделенную двухкомнатную квартиру, перекрасила кухню, отциклевала пол, врезала «глазок», а однажды, сидя с матерью перед телевизором, сказала как бы между прочим, что теперь мать может вернуться к Астре.

А матери так понравилось жить в большом городе. Пять минут — и ты на набережной главной речки России. Вода в ней то отдает фиолетом, а то зелению, густая такая вода, как настойка пустырника, и пахнет пьяно, не сказать чем, каждый раз по-разному. То разрезанным пополам грибком, то сохнущей после зимы бочкой, а бывает и спермой, от этого запаха у матери возникали молодые и забытые чувства, и ей виделся то беглец с крыльца, то канувший в войну специалист по силикозу, но весомей всего возникал недавно умерший третий муж-бычок, который был хорошим человеком, что там говорить! Взял ее с двумя девками и даже не задумался. И когда у этой дуры Лильки случился аборт в десятом, успокаивал и жалел и мать, и Лильку, а мог бы и выгнать девчонку, люди бы поняли. Такое люди понимают всегда.

Но умер... Болел несильно, кашлял, и на тебе — воспаление легких, и на тебе — осложнение, и на тебе — нет человека.

Тут же, в большом городе у реки, мать, что называется, отошла душой и приготовилась жить еще долго, долго, а Лилька качнула ногой и так, как бы между делом, предложила вернуться к Астре.

У Астры же в тот период возьми и случись шанс.

Объявился работник ОРСа, вдовый дядька, приезжий, местными связями не опутанный. Пришел шить себе костюм из ткани заказчика. Сестра щупала ткань — «дрек» (в смысле, барахло), а не ткань. Глаз не поднимая на клиента, она пыталась по трубам штанин выяснить глубину личности заказчика, но картина в голове не складывалась, требовала расширения обзора, и Астрада подняла глаза и увидела очки, что, конечно, не стало вдохновляющим открытием. Очки — они и есть очки. Они недостаток, во-первых, во-вторых и в-третьих. С ними неудобно жить, сильно наклонись — и они могут упасть с потного лица. Как-то очень ярко это увиделось — падение очков с лица. И надо сказать, что потом так все и случилось, и через десять лет у Николая Сергеевича упадут очки, когда он, стоя на коленях, будет затягивать ремни Жориных чемоданов, и будет он в этот момент потный, и у Астры внутри все ухнет, потому что она испугается, что все это уже видела и заранее знала. Хотя в тот момент еще ничего страшного не произойдет: просто упадут очки, потому что на хрен разболталась дужка.



Но мы об раньшем.

Возник простой и естественный вопрос: как быть? Это вокруг Гамлета наворотили незнамо сколько, а у него целый замок, а может, и не один. У него что — с матерью одна комната на двоих, как у Астры? Николай же Сергеевич, возникший в вялотекущей жизни, так хорошо себя проявил, так вежливо пригласил в кино на содержательный фильм «Красная палатка», назад они возвращались медленно, и Николай Сергеевич сказал Астре, что жена у него была замечательный человек, жаль, что Бог не дал им деток, что после нее трудно представить кого-то, кто лучше, — на этих словах он крепко сжал локоть Астры, локоть бурситный, болючий, и она стиснула зубы, чтоб не заорать, стерпела умница... В результате слов, боли и выдержки получилось вполне убедительное предложение соединить судьбы. В отличие от старшей сестры Астра была женщиной нрава строгого, ее за руку никакой случайный мужчина взять не посмел бы, а уж о тех фокусах, что творила Лилька, Астра понятия не имела. Она бы померла, просто померла бы, пощечочи ее кто-нибудь... Да ей козу-козу было делать опасно, все эти шутейные атю-тюсенки... Могла бы и в глаз... Видимо, могла. Но не было случая.

Николай же Сергеевич поцеловал ей исколотые подушечки пальцев. Именно их...

На этом историческом моменте и вернулась мать. Вся обиженная, вся во внутренних слезах. Вот тут-то и возникает подспудно, всплывает, как

град Китеж, тема Эльсинора. Интересно, сколько в нем квадратных километров? Тут и возникает озарение всей темы — именно у нас, на самой большой территории, возникла жилищная (в смысле — мало места) проблема. Острая нехватка пространства...

Поэтому Астра пишет гневное письмо Лильке и покупает матери (выписанной из домовой книги) обратный билет.

На процессах переезда — мать приехала «к старшенькой», а у той для нее уже билет обратный — она стала скукоживаться. Было в матери, еще хорошо, как выясняется, помнящей запах спермы, добрых семьдесят пять кило, а усохла до шестидесяти. И никто — никто! — этого не заметил. Даже она сама, перекручивая в который уж раз резинку в сползающих рейтузах, думала о качестве галантереи, в которую «забыли положить» главное — резиновую нитку, на усыхание же собственного тела внимания не обратила. У всех пламенем горела душа, до плоти ли было!

А тут случись... Лилькин четвертый муж (не Майкин отец, отчим) — ну ничего на это не указывало заранее! — собрал вещички, трусы к трусам, рубашки к рубашкам, в полиэтиленовый пакет (редкость по тем временам), набил комочки носков, громко хрустнул коленом и ушел. Ушел к знакомой еще по школе, с которой в младые лета не было ничего, а потом — раз! — встретились, и откуда что пошло-поехало. Развернула женщи-

на собственного мужа в обратном направлении, Лилькиного же — в койку, а тот, дурак, и рад. Хотя квартира, выстраданная Лилькой, еще пахла свежей краской. Им самим положенной. Больше всего Лильку потрясло то, что он ее же обвинил во всех тяжких, хотя она — конечно, всякое было — оставалась в семейной постели и никуда из нее не собиралась, просто поддерживала время от времени организм иными, чем дома, мужскими витаминами. А этот — муж! — сказал, как плюнул: «Мне твои блядки уже поперек всего. Я хочу иметь женщину, другими руками не захватанную».

Лилька у него спросила: «Где таких дают?» Ну и узнала про школьную подругу — «после мужа, и не захватанную?!» И получила в ответ: да, именно... Светлая и чистая.

У Лильки в голове случился ступор, потому что она была убеждена: она хорошая, можно сказать, замечательная жена. У нее чистота и порядок, у нее заработок не ниже мужнего, у нее супы и борщи закачаешься, не говоря уже про специфические женские умения. Предыдущих мужей она бросала сама, Майкин отец в свое время чуть умом не тронулся, когда она его бросила. Она всегда была такая: если хотела, то брала, если очень просили — давала, не смущалась пребыванием в тамбуре там, или в фотолаборатории, или даже торжественным собранием в честь... Это место вообще было очень сексуальным, потому как освещались только нужные лица, в последних же

рядях, или в кулисах, или даже за плотным сукном стола была хорошая темень. Именно там такое можно вытворить, сохраняя при этом значительность и строгость лица... Лилька была в этих делах мастер высшего (правильней — низшего) пилотажа.

Итак, развод. И мать при нем особенно лишняя. Не надо ей видеть! Не надо! Как бы гуманная позиция.

А на другом конце — свадьба. Тоже не повод вторгнуться и поселиться жить.

Мать в сердечном приступе (предположительно) ссадили с поезда на полустанке, не подумав о длине перегона. Какая «Скорая» поедет в чистое поле по кодобинам и выбоинам? Люди же, которые ссаживали, мысли имели хорошие: случись окончательный исход, все равно придется выносить на ближайшей станции труп, так лучше вынести еще живенькую старушку, которая на земле, без поездной качки, может и оклематься, задышит воздухом простора, а не духотой плацкартного вагона. Ведь старики живее всех живых.

Мать вынесли и посадили на травку, как ребенка. Спину ее оперли на столбик шлагбаумного цвета. Все сказали: смотрите, как ей тут хорошо. Она тут отдышится. Посадите ее потом на вечерний скорый. И чемодан поставили рядом. И сумку с документами. Правда, двести рублей, которые там лежали, вытащили, когда искали паспорт заболевшей. Дело простое, естественное: когда лежат деньги, как же их не взять?

Дочки долго ничего не знали. Астра думала: мать осталась у сестры. Сообразила, мол, та, что не время матери возвращаться. А Лилька думала: обиделась мать и не отписывает. А ей сейчас это и годится: надо соскрести себя со стен, чтоб жить дальше.

Так удачно появился гость из Москвы, из ЦК комсомола, классный такой мужчина, с которым было и легко, и просто. Пробегая пальцами по тугому Лилькиному животу, без единой жирипочки, замирая ими же над пупочным кратерком, Леня (для остальных Леонид Всеволодович, но Лилька сказала — не то у нее здоровье, такие отчества выговаривать) пообещал:

— Я тебя заберу в Москву. Разбазаривание кадров — держать тебя здесь. Но надо быстро. До сороковника.

И не соврал. До того как переехать в Москву, были поминки по матери на территории Астры, и случился жуткий скандал, сестры чуть не убили друг друга. И если бы не Майка, которая стала вопить, могли бы и покалечиться. Обе были сильные и цепкие. Но унялись, и поминки уже делали в четыре руки.

Странные поминки на семнадцатый день смерти в отсутствии могилы. Столько именно времени потребовалось, чтобы найти родственников уже закопанной там же, на полустанке, покойницы, которая тихо отошла в чистом поле. Последние ощущения матери — вытягивающиеся в длину, вдаль, ноги. Она смотрела, как все дальше, на большой скорости убегали от нее ступни ног, уже

где-то там, ближе к горизонту, виднелись прюне-левые туфли, сохранившиеся еще от послевойны. Мать тянула к ним невероятно короткие руки, и на этом странном действе, действе-попытке придать себе привычные соразмерные формы, мать и отлетела, не подумав ни о чем таком значительном, какое полагалось бы, если б сообразить.

Расстались сестры холодно, ткнулись друг в дружку носами — и пока. Между готовкой и подачей на стол кутьи Лилька сказала, что, возможно, переедет в Москву. Астра вскинула брови, и Лилька подумала: вот так она похожа на еврейку. Не надо ей играть бровями. А Жорик, тот вообще внешне чистый еврей, хотя всего ничего — внук. Но вот же... Взыграл в нем дедушка. Лилька смутно помнила второго материнного мужа. Перед самой войной он водил ее на карусель. Астра была еще маленькая и сидела у матери на руках. Лилька помнит эту радость отделения от тех, кто совсем мал и никуда еще не годится. Эта радость была связана с отчимом, и она-то в душе и осталась.

Лилька считала, что жизнь у сестры не получилась. Портниха — она и есть портниха, и ничего больше. И выглядит Астра старше своих лет, такая вся дебелия...

Что было неправдой. Астра выглядела хорошо. Ей нравилось снова быть женой, нравилось вечерами ходить в капотах. Она их сама себе шила, с

оборочками на широких рукавах, в цвет им отделанными петельками для пуговиц, а главные ее семейные капоты были широки в запахе, не обтягивали и не западали куда ни попадя. Одним словом, у Астры как раз был хороший вид в отличие от Лильки, загнанной мыслями о переезде в Москву и всеми проистекающими.

Поминки прошли, и слава богу. О матери старались не говорить. Уже ее нету. Все. Какие тут могут быть разговоры? На самое дно положили сестры то, что они втайне друг от друга считали своей виной, но называли вину иначе — обстоятельствами. На поверхность же была извлечена и всячески обнародована мысль — как знамя: мать должна быть там рада перемене участи дочек. Одна в столице на хорошей работе и в хорошей однокомнатной квартире. Другая снова в замуже. Они так и лежали где-то там на тарелках весов — Москва и замуж — и находились практически в равновесии. Временами колыхнутся чаши, то одна перевесит, то другая. Но это было такое время, время не до конца определенных ценностей. Хорошо, конечно, муж, но что он без жениной работы? Хороша, конечно, работа, когда ты сама, сама, все сама и никто тебе дома не указ, но тогда зачем тебе муж? Возможности Москвы оказались безграничны и в смысле пространств, и в смысле вариантов для выбора. Езжай в какое-нибудь Забубенино с кем-нибудь не обремененным лишними мыслями и погуляй как хочешь и сколько тебе надо.

Они надолго разошлись по своим интересам, Астра и Лилия Ивановна. Время было густое и неподвижное. В нем было легко застывать. Слова в нем гасли, не давая эха. Астра взяла — тогда это было модно — участок, а Николай Сергеевич поставил на нем домик на курногах. Посеяли редиску и стали страстно смотреть в землю, страстью ожидания подгоняя природу вегетативных процессов. Редиска уродилась на славу. Ходили к соседям с пучками редиски, у тех была своя такая же. Происходил процесс обмена как начало гостевания, потчевания, принятия рюмочки и так далее. На следующий год, чтоб всех перехитрить, сеяли огурцы. Но у всех оказывались они же. Выяснилось, что в поисках радости все были одинаковы. Одного размера. Одной колодки. Но это не раздражало. Это даже укрепляло время и его клейкость.

Лилию Ивановну в этот же период прикрепили к кремлевской поликлинике. Всеволодович из ЦК оказался человеком слова и дела. Он хорошо ее устроил в издательство, где под ее бойким руководством выходили бойкие брошюры про то и про это. Через нее шли рефераты диссертаций. Они назывались публикацией. Важным фактором защиты. Перед ней заискивали лихие пожилые вьюноши, готовящие себе «ученый отстойник». Лильке нравилась их пусть и небольшая, а зависимость от нее. Отсюда и быстрая квартира, и престижная клиника. От вполне хорошей жизни она тогда пополнила. В поликлинике обратили



на это внимание, обмен веществ и всякое другое, она махала рукой, но анализы возила. Причем гордо. Процесс, прямо скажем, деликатный. Но в случае Четвертого управления — это уже нечто большее, чем просто скляночка-баночка понятно с чем. Ее хотелось нести на вытянутых руках, как редиску, клубнику, облепиху, виноград... такова была Всевышняя Насмешка над вконец впавшим в анабиоз человеческим фактором.

7

Сестры старели. У Астры обнаружилась стенокардия, осложненная непредсказуемыми аллергическими реакциями то на одно, то на другое. У Лилии Ивановны стали болеть придатки и прочая женская мелочовка. Сказалось ношение капрона в ветреные зимы, потому что Лилия Ивановна всю жизнь следила за красотой нижнего белья как решающего момента в делах и начинаниях.

С сестрами случилась еще одна не замеченная предвидением вещь. Выросли дети. Еще вчера — Жорик, Маечка, деточки, сынуля и доча, а они уже вон какие. У Жорика — баба с семилетним дитем, он к ней бегают каждую ночь. У Майки — парень кудрявый, статный и бравый из команды КВН. Такой веселый и находчивый, что Маечка подзалетела с ним, как и ее маменька. Девочка вторжения острослова-кавээнщика, считай, и не заметила. Конечно, хотелось ее убить, а как же

иначе? Но Лилька помнила себя, свой детский случай. Помнила и то, что, когда случилось с Маечкой, она уезжала в закрытый пансионат на неделю, потому что очень ей хотелось «насадить на шампур» одного типа. Так что сама, мамочка, такая, не тебе учить!

Тут вступает другая музыка, куда что делось — раньшее... Еще позавчера — казалось бы! — зое-рождественское «догони, догони, только сердце ревниво замрет», вчера длинноногая Эдита бьет по сердцу тайностью своего акцента, как бы намекая, что не весь мир припадает на широкое «а...а...а...», а какая-то его часть позволяет себе и некоторую чуждую артикуляцию и, не дай бог, картавость, приводя к странному трепетанию души, а сегодня...

Боже! Боже! Рыжая, лохматая, горластая дива смеется над бессилием королей. И сам черт ей не брат. Ошалелое от долгой спячки русское человечество пробует на вкус новое имя. Для этого надо всего ничего — постучать языком по верхним зубам.

Колокол всея Руси зовется Аллой.

Но не об Алле речь. Просто жизнь застремилась, заструилась... То ехала по ровному, а то раз — и с горки, ускоряясь до спирания в дышалке.

Маечка родила Димочку. Однокомнатная квартира, в которой все элегантно стояло по стеночке, где два дивана вытягивались на ночь вперед ножками, а днем их подбирали, растянулась, как старая вязаная кофта на локтях и запахе. Та же,

считай, кофта, но уже, получается, на выброс. Где там стеночки, где подобранные ножки диванов-кроватей. Кавээнщик, радый месту, спал на одном. Майка на другом. Промеж ними детская кроватка. От стены к стене натянули лесочки для пеленок. Время той новой музыки — по нынешним временам просто пещерное. Оно не знало однократных радостей памперсов, оно ставило ведерную кастрюлю на газ, круглые сутки в ней кипели какашкинские подгузники. И дышала всем этим Лилька, которая жила теперь на кухне.

Естественность переселения привела ее в шок уже потом, через некоторое время, когда она, лежа на раскладушке, вдруг обнаружила над собой смятый сыростью потолок. Он странновато рябил по ночам, освещенный уличным фонарем.казалось, на нем проступали некие письма, которые не давались пониманию.

Надо было срочно что-то делать. Но даже заочно не возникала мысль, что должен что-то предпринять статный и бравый кавээнщик. Он улыбочиво переступал раскладушку, на которой лежала Лилия Ивановна, не сердясь на нее за то, что та расползлась на дороге к чайнику и к форточке, в которую он курит. Он, можно сказать, благородно принимал чинимые тещей неудобства его жизни. Он был широк и не обужен, он был вполне коммунальное дитя, но Лилька-то — нет! Даже общежитие в ее жизни имело два окна, просвет для трюмо и желтенький (как трогает сердце!) крапик, и все это было на двоих! Потом с жильем

у нее все было лучше и лучше, потом стало совсем хорошо, когда прописали маму... Царство ей небесное, она их не ущемила. Ушла себе спокойно-ненько... Так было вычерчено в памяти дочери: мать ушла на тот свет без болезней, можно сказать, на ходу. Всем бы такую смерть... Праведница...

Лилька стала отхлопатывать большую квартиру, вписала зятя, написала слезницу в профком... Не первая и не последняя на этом пути. Майка сказала:

— Лучше выйди замуж. Ну, дадут нам две комнаты... Три-то все равно не дадут.

## 8

Лилька вздрогнула, но раз. Один. Потому как поняла: дочь насчет квартиры права. Грандиозная цель требовала таких же усилий. А главное, она требовала внимательного взгляда окрест на разнообразно лежащих в природе мужчин.

Плохо лежал их замредактора, некто Свинцов, необаятельный внешне господин, но отмеченный некоторыми добродетелями. Как то: по бабам не бегал. В случае Лилии Ивановны это было минусом: на хорошо известной кобыле к нему было не подъехать. Надо было искать другой «транспорт».

Сын Свинцова (все-таки остается непонятным происхождение фамилии — то ли от свинца, то ли от свиньи) жил уже отдельной семьей. Ли-

лия Ивановна выяснила, что тот удачно женился в просторную квартиру. Жена Свинцова — ученая дама-микробиолог — имела стариков-родителей знатного научного происхождения, те имели барскую квартиру в центре, уже похварывали, и дочь частенько у них ночевала. Это было самое слабое место жизни Свинцова и давало Лилии Ивановне стратегический шанс. Ведь брошенный ночами муж — достаточный аргумент для начала разведывательно-наступательных работ. Пару раз она исхитрилась поехать с начальником на популярные в те годы семинары в загородных дачах. Именно на них тогдашняя идеология оттягивалась в размышлениях о пользе хозрасчета под бдительным оком партии, о безграничии метода соцреализма, который, куда ни кинь, дает и дает плоды в виде полотен там и балетов. Семинары трогали и таинственно светящиеся пальцы ученых Кирлианов, что было уж совсем не для всех, а исключительно для избранных, ибо свечение это некоторым образом грозило материализму как основе всего и вся, одновременно возбуждая неведанным удовольствием подрывной деятельности внутри самих основ.

На этих посиделках Лилия Ивановна старалась быть ближе к Свинцову, разрешила ему это заметить, тот пару раз молодежато развернул в ее сторону плечи, но не более того. Не будь сырого потолка в кухне над раскладушкой и не перешагивай через нее зять-кавээнщик, Лилька бы действовала неторопливо и тонко. Но ее поджи-

мало со всех сторон, она видела глаза Майки, в которых стыло отчуждение и осуждение, мол, что ты, мать, как маленькая, не понимаешь? Нам же те-е-е-сно! Лилия Ивановна стала подгонять ситуацию, сама начала распускать слух, что у нее... как бы... со Свинцовым... никому ни слова... чтоб не дошло до жены...

Дошло тут же. Ученая-микробиолог была оскорблена до глубины души самим фактом существования возможных слухов. Не из той она была среды! Свинцов тоже оскорбился — уже из-за реакции жены, не считая нужным оправдываться в том, в чем виноват не был. Одним словом, бульон, хоть и ни на чем, уже закипал. Лилька тоже изо всей силы изобразила оскорбление и громко зарыдала в кабинете Свинцова, тот растерялся и взял ее за плечи, на этот момент была подучена войти секретарша (у Лильки смолоду с секретаршами всех мастей заговоры), та вошла...

Съехала микробиолог к родителям, ибо она была из тех людей, которые слышали от других, ранних людей, что семья — это как бы что-то святое и нельзя топтать ее основы. Тем более в коллективе. Или что-то похожее... Или совсем непохожее... Но не на улицу ушла бедная жена, а в высоченную квартиру с лепниной, мебелью красного дерева и фарфором еще тем, старинным, севрским, а не из-под Кисловодска. Тут прытью пробежала мысль, что человеческое достоинство, что бы там ни говорили гуманисты, очень и очень зависит от материального благополучия. Блюсти себя в чести легче при хорошем хлебе в красивой

хлебнице. Ну не будь у микробиолога комнаты в доме родителей, куда бы она делась? А она делась... Сын оскорбился за мать, а Свинцов поседел так, будто прошел казематы и пытки. Тонкий оказался человек.

Тут Лилия Ивановна пригодилась вовсю. Она выхаживала брошенца со всем накопленным за жизнь умением.

Дочь попросила ее не выписываться. Кавээнщик со своей стороны где-то «долбил стену», и наличие тещи в ордере придавало его усилиям большую крепость: дети «шли на трехкомнатную». А что матери — жалко? Она живет в таких условиях, в каких не жила никогда. Даже после вынесения микробиологом из квартиры раритетов дом был таким, что Лилия Ивановна, если б умела, то молилась бы Богу. За то, что сподобил так жить. Но она не умела. Она честно хотела приспособиться к Свинцову, стать его половиной или хотя бы четвертью. Она перешла на работу в другое издательство, тихое такое и никому не нужное, это была ее большая плата за квартирную удачу. Новое издательство — мышиная нора, слышно, как летают мухи и как ширкают в рукописях тараканы. Довлатов не прав, подчеркивая их нечеловеческую незлобивость. Положите на таракана сочинение и посмотрите, что будет.

Со Свинцовым жизнь не получалась. То есть все было как бы в порядке, но чего-то важного не было. Лилька не могла понять: чего? Тут для понимания не мешало бы перейти на сторону Свинцо-

ва. Тогда кое-что станет понятным. Дело было в философии. Так-то... Свинцов не мог смириться с разрушением в нем этической конструкции, которая вполне вкладывается в сегодняшний рекламный слоган: «Река — Волга. Поэт — Пушкин. Журнал — «Огонек». Жена — одна».

Нельзя переоценивать наши внутренние стропила. Они могут рухнуть. Свинцов жил под обломками собственных строений, и не было авторитета, который бы посоветовал ему хотя бы выйти из руин. Нет! Он в них остался, и ему даже стала нравиться боль, доставляемая гвоздями выломанных досок. Но что там гвозди? Женщина в доме доставляла ему боль всем: расческой с волосом, шагами в коридоре, запахом земляничного мыла, который достигал его всюду, утренним откашливанием. Тут вполне к месту возникает важный, не нами поднятый вопрос: почему люди не летают? Ведь имей они крылья, сколь многого неизбежно не произошло бы. Люди бы пролетали над патогенными пространствами, куда ни в коем случае не следовало бы приземляться. Но люди идут ногами, жмут половую паркетину, гнут скрипучие крылечки, давят тропинки и забубенный асфальт. И ход их слышен и неотвратим...

Время шло. Даже самое неприятное, дробясь на пакостные подробности, кажется, застывшие навеки, исчезает с абсолютно неизменной скоростью от вчера до послезавтра.

В нашем случае прошли годы.

Кавээнщик все-таки получил трехкомнатную



квартиру у черта на рогах, в новых домах-столбиках.

Умерли родители бывшей жены-микробиолога. Свинцов ходил на похороны, сначала тестя, потом тещи, и возвращался со странным позавчерашним лицом. Смерти помирили его с сыном. Лилии Ивановне пришлось устраивать большой обед и приглашать его семью. Нет, нет, она делала это вполне со всей душой. И то, что был напряг, не ее вина. Невестка Ира... «Она как будто слушает в себе одно и то же, одно и то же», — думала Лилия Ивановна.

Ира обошла квартиру и даже заглянула туда, куда не надо, — в стенной шкаф.

— Ну и? — добродушно спросила Лилия Ивановна, ставя себе высший балл за добродушие. А ведь удавить хотелось!

— Убирать такую квартиру руки не немеют? — такими словами Ира ей ответила.

— Не немеют. У меня они сильные, — Лилия Ивановна взяла Ирину руку и сжала, так, чуть-чуть...

— Убедительно, — ответила Ира, встряхивая вялую смятую ладонь. Гнездо в колечке, из которого давно выпал крохотный сапфирчик, царапнуло ей кожу до крови. Что стало знаком для Иры не связываться с новой лжесвекрвью. Кровь — хорошее топливо для ненависти (и для любви, кстати, тоже). Она поняла, что будет всегда ненавидеть «эту хабалку», но исключительно на расстоя-

нии. Лилия Ивановна не знала, что выиграла вчистую у очень сильного противника, и поддайся она чуть-чуть, неизвестно, чем бы все кончилось.

А так — ничем. Свинцов слушал передвижение жены по коридору, перезванивался с микробиологом, о чем Лилия Ивановна — ни сном ни духом. Майка рыдала в своем ненавистном далеке и намекала матери на родственный обмен: «Вы уже не молодые, вам тут самое то... Знаешь, какой у нас воздух? Как мед». «Она что, не помнит, что я у них прописана?» — думала Лилия Ивановна.

Потрясением того времени были «Унесенные ветром». Лилька благодаря издательской деятельности сумела прочитать книгу даже раньше других. И была сражена простотой мудрости: о плохом, трудном не надо думать сразу. Отложить на потом, плохое может и отсохнуть! Может! Она же знает про это. Как и Скарлетт. И она не стала думать, где прописана, не стала брать в голову родственный — якобы! — обмен.

Получалось, что она берегла силы для наиглавнейшего потрясения той ее жизни, которое, как всякое истинное потрясение, не оказывает себя раньше времени. Не высылает оно вперед гонцов предупреждения, не машет издалика платочком — вот оно, мол, я, вот! Как всякое уважающее себя потрясение оно нисходит сразу на голову, на плечи, оно только ему известным ударом — снизу и вверх — пронзает сердце, и кричи потом открытым ртом, кричи!

В Москву со всеми бебехами, с женой, пасынком, собственным сыном на руках и собакой Фросей, явился не запыхавшись, без звонка, между прочим, любимый племянник Жорик. Легко запомнить, когда это было. Чернобыль. Тогда люди чертили карты рек, по водам которых мирный атом имел цель добраться до любого грешного и праведного, потому как кому-кому, а ему это было без разницы. Радиация заявила о себе как девушка аполитичная, неверующая, в сущности, беспринципная, готовая дать себя попробовать всем.

Некоторых беспокоило смутное знание о том, что по водам надлежало бы пускать что-то совсем иное, чем яд, но кто теперь знает доподлинно, что именно? Самые храбрые искали ответа в Библии, она ведь такая толстая! Самые мудрые планировали себе Южное полушарие, где реки текли в другую сторону. И оставался шанс.

У Жорика был вызов на историческую родину, которая, конечно, в верхнем полушарии, но тем не менее... Он смотрел на тетку с хитрым еврейским прищуром. «Шо за удивление лица, Лилечка? — говорил он, противно изображая акцент. — Я же имею в кармане маму-еврейку... Или?»

Ах, эта бесконечная сладость еврейской темы! Этот детский грех откусывания до крови ногтей! Это блудливое всматривание в волосяные покровы и булькатые глаза! «Вы не знаете, он не... ?»

И восторг ответа, мол, да, да, как это я не заметил сразу? Конечно! Еще бы! Иначе откуда все?

Лилия Ивановна презирала антисемитов. «Я сойду!» — кричала она, когда сущностный русский разговор набухал на ее глазах. «Она сама... Да?» — спрашивали тогда даже близкие ей люди и рылись в Лилькиной физике лица и позвоночника, ища неизбежно проявляющееся и тайное, которое, как его не скрывай... Те, кому было очень надо, докопались: она — нет. Сестра — да. И изучали возникающую время от времени в Москве Астру. Дебелую портниху со смиренным лицом. Они так отличались, сестры. Они даже дышали не в пандан. На один вдох-выдох Астры приходилось по меньшей мере три быстрых и нервных глотка воздуха старшей сестры. Тахикардия и брадикардия.

Так вот, Жорик засобирился в Израиль. И это нам неинтересно, потому что это был забубённый отъезд, неотличимый от тысяч подобных. Но в жизни Лилии Ивановны этот отъезд сыграл вулканическую роль. Пока она туда-сюда распределяла места в квартире для репатриантов — так выросло на московской почве новое слово-дерево, — пока приспособливалась к большой кастрюле, чтоб всем хватило первого, пока брезгливо убирала за сбитой с толку в новых условиях Фросей, муж Свинцов во второй раз в жизни уронил свои стропила. Помните его слоган? Поэт — Пушкин... Жена — одна, и так далее. У слогана

была еще одна ключевая фраза. Фраза — матка для всего остального. Родина — Россия.

В сущности, Свинцов категорически и безусловно отказывал всем, кто смел заикнуться, что родиной могла быть, извините, конечно, какая-нибудь Швейцария. Нет, существование Швейцарии не подвергалось сомнению. Швейцарии разрешалось быть на карте, но — быть родиной?! Нечто неформулируемое, горячее и сильное подымалось в груди и начинало выходить клокотаньем патриотического счастья. Ну что тут поделаешь? Какой-нибудь перуанец или бельгиец разве способен любить родину до такой силы чувства? Он же не понимает значения этого слова — «родина», тогда как русский хороший человек Свинцов идет от него просто сыпью... Нет, Свинцов не отказывал другим народам в умении любить. Он отказывал им в объекте. Пусть Люксембург живет и здравствует. Пусть! Но родина на земле есть одна. Она — Россия. И все тут. Как говорит один чумовой ведущий в телевизоре: и зашибись!

Вот с этой не по росту высокой ноты пойдем дальше, но уже по-простому. Жорик с бебехами и Фросей был в глазах Свинцова некоей малочеловеческой субстанцией, потому что, имея счастье иметь... (см. выше), он раскатал губки на какую-то другую, вымороченную, придуманную, краем бока зацепившуюся за кусочек моря... И эту кажимость признать и ради нее покинуть то, что не имеют даже американцы! Вывешивание выше-

упомянутыми по всякому случаю своего флага Свинцов не считал адекватным клюпанью в груди. «Пацаны, — думал он о бравых чужих парнях-пехотинцах с большими ногами и крепкой шеей. — Вам не дано...» И было в этом даже сочувствие сильного к младшему дуралею.

Очень возможно, что невыразимые чувства Свинцова и есть таинственная русская душа, постичь которую уже зареклись другие страны и государства.

Но климат в доме Лилии Ивановны образовался еще тот. Она не понимала глубинных чувств мужа, она как глупая баба подозревала его в примитивном — в антисемитизме — и готова была прибить чем-нибудь под руку попавшимся. Это надлежало скрывать от гостей — и свой гнев, и стыд за Свинцова. Хорошо, что забот полон рот, не до тонкостей чувств — успевай корми, успевай мой посуду.

Всякая бюрократия и ожидание чартерного рейса заняли почти месяц. Когда стал известен точный срок вылета, пришла Астра. Увидев сестру, Лилька чуть не упала в обморок, так та «сдулась». Это детское Майкино выражение о родивших женщинах. «Мама! Мама! Тетя Валя уже сдулась!»

В новой Астре проявилась, видимо, скрывавшаяся полнотой нервность, она ее молодила и даже делала соблазнительной, что, конечно же, корбило и ее невестку, и Майку, потому что подлый женский ум наворачивал на это совсем уж

лишнее. Лилька, глядя на новую сестру, просто вынуждена была устроить досмотр собственных доспехов, влезла на весы, их зашкалило, посмотрела на лицо в увеличивающее зеркало — на нее просто выпрыгнули поры, эдакие кратеры мертвечины, если помнить снимок обратной стороны Луны. Но было не до себя. Последние дни перед отъездом оказались совсем оглашенными. Фрося истерически заходила лаем на ровном месте, по собачьему разумению не понимая смысла сдерживать собственные чувства. Совсем как та зощенковская обезьяна, что шла по головам за продуктом, ибо не видела смысла оставаться без удовольствия. Животным в жизни живется проще. Они не отягощены разумом.

Отъезд свершился. В ночном аэропорту Астра билась о грудь Жорика, а когда они остались вдвоем с сестрой, Лилия Ивановна увидела старую женщину, у которой не то что все в прошлом, а даже и будущего нет никакого — одна незримая черта, на которой она недоуменно застыла. И не будь Лильки, волею судеб стоящей рядом, очень может быть, что Астра аннигилировала бы. Лилька будто почувствовала, схватила, обняла и мгновенно, как о давно известном, подумала, что вся физика — брехня, а вместе с ней химия, и никакой науке нельзя верить, разве что математике, которая имеет дело с дистиллированной цифрой, ею играет, ею удовлетворяется и ею утешается. Одним словом, подвергнув сомнению все, что

трогается и щупается, сестру свою она схватила двумя руками и перетащила через невидимый барьер, за который та уже готова была уйти.

— Не смерть! — сказала ей Лилька громко и грубо. — Не смерть! Он поехал за лучшим... Скоро он позовет нас в гости.

Оказалось, произнесено было самое правильное слово. Гости. Рожденное среди баулов и чемоданов, можно сказать, явленное из самой своей сути, слово оторвалось и воспарило. Оно осиялось верхним светом и запахло праздником приезда, запахом родственности и любви. Конечно, не смерть! Конечно, поедem в гости! Астра шла и бормотала эти спасительные слова, да разве она одна делала это в ночном аэропорту?

Вернулись домой, а Свинцов вымыл квартиру. Лилия Ивановна просто остолбенела. Во-первых, плохая примета, во-вторых, он никогда, сроду этого не делал.

— Запах Фроси, — сказал он ошеломленному лицу Лильки.

— Да! Да! — затараторила Астра. — Мы вам тут устроили! Фросю вполне можно было бы оставить. Вполне.

В голове Свинцова сразу нарисовалась картина оставленных его родине собак. И это взамен бесплатного образования и медицинского обслуживания, дешевых квартирлат и городского транспорта? Он как-то странно всхлипнул и ушел от женщин, в которых в этот момент сосредото-



лось для него все зло мира. Он был потрясен превратностями своей жизни, которая расположилась так близко к эпицентру зла.

Возможно, оставшись один, он плакал. Но, потрясенная свернутыми дорожками в прихожей, Лилька все равно не прониклась бы всхлипами мужа, а Астра, обнаружив на стене часы, стала ту-по считать время. Жорик обещал позвонить по приезду. У него было право на один звонок.

— Еврейские самолеты не падают, — сказала Лилька.

— Право одного звонка, — бормотала Астра. — Это звучит как-то угрожающе...

## 10

Уже не Пугачева, но еще и не Распутина, уже не хор Минина, но еще и не «Виртуозы Москвы», уже не Паулс, но еще и не Ростропович. Планетарная картина: Иван и Марья, не помнящие родства, выплескивают из ушата помои и детей. Ну да, конечно... Все до основания. Все! К берегам на легком ветре идет белый корабль под странным именем «Приватизация». Люди лезут в словари, находят там «приват-доцентов», спускаются строчкой вниз. Ах, это что-то буржуазное! Машут кораблю платочками по причине глубинной российской неверности. Потом они будут плевать в этот корабль и писать на нем родные слова.

Но как бездарно говорить об этом, и как невозможно из этого выйти.

Свинцов очень сдал в те дни. Лилия Ивановна, увлеченная событиями перемен, смотрела на мужа с чувством глубокого превосходства, ибо считала: она живет во времени, он же, мужчина, из него выпал, а значит, и пропал.

Оказалось, все не так. Пока жадная до жизни Лилия Ивановна вникала в тело перемен, Свинцов тихо и сосредоточенно приватизировал квартиру и написал завещание в пользу сына. Одновременно с этим, пользуясь наличием в ордере свекрови и каким-то веселым взлетом по службе, кавээнщик исхитрился получить большую квартиру уже не на куличках, а в самом центре. Пировали до сердечного приступа хозяина дома и чуть было не потеряли кормильца, но веселый и находчивый выкарабкался с помощью Божьей и медсестринской. Барышня Даша была столь длиннонога, что ей переступить через простодыряую Майку ничего не стоило. Ну ладно, Майка всегда была не оборотистой в жизни, но Лилия Ивановна ведь выносила из-под зятя горшки, и длинноногую видела, как стояла та, держа на отлете шприц, и ждала, пока пожилая теща туда-сюда развернется с перестилкой постели. Потом девица боком обходила нестерильную Лилию Ивановну, чтоб выполнить свою медицинскую миссию, сдерживала с больного живописные трусики и с интересом изучала его мощную анатомию.

— Ну, ну, — говорила она, похлопывая по заднице кавээнщика и наблюдая за возрождением еще вчера полуживой мужской природы.

Майка проглядела момент заболевания, проглядела и момент выздоровления мужа. Захваченная обилием пространства в новой квартире, она двигала туда-сюда кресла и кушетки, перепоручив выхаживание мужа матери. А та и рада. За такого зятя стоит побороться с дядькой Инфарктом. Однажды притаранила кусок горячего, прямо из духовки, капустного пирога, который пах самой сутью жизни, ее вкусом, а за белой выгородкой — такая у зятя была привилегия — Даша умело выласкивала оживающего зятя. Быть бы еще одному инфаркту, но Лилия Ивановна сдюжила. Более того, она нашла объяснение, ибо всегда знала, что мужчина слабже женщины и духом, и телом. Его легко поднять, а опустить еще легче. Она взяла Дашу за шиворот и вытолкнула из палаты. Когда прикрыла зятев стыд, напоролась на такую лютую ненависть в зрачках, что аж качнулась, но опять же... Устояла. Пирог обнаружили на следующий день. Он уже не пах жизнью, он отдавал той тяжестью капустного духа, по которой как по нотам читается неблагополучие и даже начало больших несчастий. Чертова капуста! Нет более горящего российского продукта. «Воняет капустой» — это не запах, это диагноз.

Из больницы зять вернулся с Дашей. И тут обнаружилось еще одно бессмертное свойство жизни: самая-разсамая (вспомните особняки с лепниной) становится коммуналкой на раз-два. Что было бы с Майкой и Дашкой, возьми они в руки скорородки и дуршлаги фирмы «Тефаль», еще не

описано литературой этого периода. Какова «тефаль» в рукопашной схватке супротив, к примеру, чугуна?

Но была еще сильна Лилия Ивановна. И она была прописана в квартире, по которой в детском раже гоняла пуфики ее дистиллированно-дефективная для нашей жизни дочь. Именно Лилия Ивановна села за стол переговоров с зятем. Она помнила ненависть его зрачков, но помнила и говно, которое выносила своими руками. С говна она и начала. Конечно, будь советская власть в силе, не помирай она в жалких конвульсиях бездарности и глупости, кавээнщика могли бы взять за то самое место, к которому нашла путь Даша. Но сломались кости старой власти, поэтому Лилия Ивановна сказала просто: «Я сюда въеду, и будете иметь дело со мной. Я тебя, сукиного сына, из инфаркта вынула, я тебя туда же и засуну. Ты еще не знаешь, что такое черная кровь».

Он ей поверил. И они разменяли новую квартиру на две. И Майка получила лучшую. Пока шел процесс, Дашка жила где-то в другом месте, и у этой идиотки Майки стали возрождаться дурьи мысли, что, может, все и зарастет? Пришлось Лилии Ивановне рассказать дочери историю в больнице, когда, мол, все началось, едва «эта сволочь» из реанимации вышел. Дочь залилась рыданиями, что было уже хорошо. Раз есть слезы, значит, жить будет.

Вот почему мимо глаз Лилии Ивановны прошел момент завещания Свинцова. Она тоже не

очень с ним делилась семейной драмой, в которой так сущностно была задействована. Свинцов знал вершки. Дочь разводится и разменивается. С кем не бывает. Говоря эти слова, Лилия Ивановна меньше всего имела в виду себя, что, казалось бы, естественно. Она как раз намекала Свинцову на него самого, который тоже ушел от жены. Странная логика женщины заключалась в том, что, клеймя зятя как последнего, случай со Свинцовым она рассматривала с некоей другой стороны, где тот был прав, прав и прав. А зять — гад, гад и гад. Плюрализм мнений в одной башке — это не шизофрения или меньше всего она, это кухня жизни, в которой чужие мысли не потому потемки, что ты их не знаешь, а потому, что и собственные мысли можно не узнать в лицо.

Ах вы сени, мои сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые... Если сени — приходящая, на кой ляд ей решетчатость? Если же они крыльцо — то другая песня. Так и всегда: слово одно, а смыслов в нем тьма. Поди узнай, конец какого смысла у тебя в руках.

11

...Выплывают расписные Стеньки Разина челны. Скажем так. Сбрасывание за борт — это наша национальная игра. Это наша радость и гордость. И, может, единственное, что у нас получается наверняка.

Когда Лилия Ивановна схоронила Свинцова... А его усущение носило не только политический подтекст (сгубили страну-отечество, была великая, а стала никакая, распахабель развели, дерьмократы и прочее, прочее), усущение Свинцова имело конкретную раковую причину. Тут, конечно, есть момент способствования, благоприятного сочетания плохих мыслей и плохих клеток, но, скорей всего, Свинцов умер бы и при советской власти, а не потому, что его отлучили от престижной клиники. Тем более что Лилия Ивановна так кинулась на его спасение, что Чазову и Блохину не снилось. Она поняла, как упустила его, как он чах в одинокой гордости... Но это она так думала. На самом деле у Свинцова наладились словесно-телефонные отношения с бывшей женой, и та передавала ему через сына импортные таблетки. Это и спасало его от той боли, какую невозможно терпеть, а малую боль он в отличие от других мужчин терпеть мог и считал нужным терпеть. Лилия Ивановна ни сном ни духом не знала, что Свинцов завел со своей болезнью очень доверительные отношения. Он даже уважал ее за силу, за настойчивость, за упрямство, за то, что она шла к цели, не сбиваясь с пути, чтоб он, Свинцов, тоже мог собраться с духом для дальнейшей дороги.

Для себя он понял важное. Болезнь его — кара за предательство жены, той, первой, микробиолога. Во весь рост стояла перед ним «нелепица его жизни» — вторая жена, возникшая как бы из ничего, но зато сразу в большом количестве. Свин-

цову не удавалось вычленил момент, когда раз — и сломалась его вполне хорошая и даже, можно сказать, нежная семья. Свинцов читал книги, в некоторых была описана страсть. Так ведь ничего же похожего! Ему и в постели было удобней с первой женой. Его всегда смущала некоторая агрессивность Лилии Ивановны, ее напор в деле молчаливом и потаенном. Для него были чересчур сильные движения и сбитое дыхание. Зачем это? Ему важно было облегчение, и только оно, важен результат, процесс был стыден. А Лилия Ивановна могла додуматься притащить в спальню бутылку вина, чтоб предложить запить это дело, тогда как ему хотелось повернуться спиной, чтоб не видеть и не слышать. Но он шел на поводу и обязательно прокапывал вино на подушку и потом спал на пятнах, испытывая мучительное отвращение. Лилия же Ивановна никогда ничего не прокапывала, успевала словить каплю с краешка губы, если, не дай бог, случался пролив.

И так ведь прошло больше десяти лет. Без утешения привыканием. Он был счастлив, когда болезнь отстояла его право на отдельную постель. Уже в бессознании он видел вокруг себя первую жену и сына, а Лилию Ивановну не видел никогда, но, видимо, чувствовал, потому что отталкивал ее (сильно, конечно, сказано, движение было бессильным), но, как ни странно, Лилия Ивановна понимала шевеление его пальцев как отталкивание, а не иначе, и обижалась почти до слез. Второй раз за небольшой срок она, борясь со смертью,

получала в ответ эти наполненные нелюбовью (тут как раз сказано мягко, бывший зять просто пронзал ее ненавистью) глаза. Ей становилось тошно, пару раз ее и вытошнило. Она объяснила это концентрацией запаха, которым вся пропиталась, а ей следовало померить давление.

После похорон Лилия Ивановна спала почти двое суток. Конечно, очень многое на себя взял сын Свинцова, и она подумала, что не успела полюбить пасынка раньше, а получилось, что сейчас как бы и не время. Но лучше поздно, чем никогда. Она ведь помнила, что жила всю жизнь не прописанной, но кто ж не знает, что она — законная жена уже десять лет как... Она быстро пропишется, потому что паспортистка живет в соседнем доме, сами собой у них случились отношения в отделе продуктовых заказов, когда кило гречки стоило особых связей. Проспав после поминок почти сорок часов, Лилия Ивановна стала собирать документы и наткнулась на папку, в которой была и приватизация, и завещание, и письмо ей. И не то, что это все было спрятано, нет. Все лежало в нижнем ящике письменного стола, где хранились разные отработанные бумажки, счета на квартплату, квиточки о междугородных переговорах, гарантийные талоны на то и се. Папочка лежала во всем этом. Откроешь ее — и сразу грамота ЦК КПСС, тут же и закроешь, но под ней-то все и было. Убийственное. Конечно, можно от этого умереть. И Лилия Ивановна даже уже не хотела читать письмо, которое, по всей вероятности, долж-



но было ей что-то объяснить. Хотя разве это можно объяснить? Но тем не менее, сделав вдох и выдох, она вынула страничку, написанную уже тяжело больным почерком, с прерыванием букв, их недорисовыванием. Как будто письмо не писалось, а выклевывалось клювом.

«Лилия Ивановна!

Я знаю вашу оборотливость, поэтому принял меры. Вам надо покинуть квартиру, в которую вы вошли как татаро-монгол. Мне удалось найти ваших мужей и взять с них показания на вас. Это на случай вашей недобровольности. Исчезните! Я проклинаю тот день, когда вы встретились мне на пути».

— Это посильнее, чем «Фауст» Гете, — сказала она вслух, следя за тем, как где-то в глубине ее начинается великое оледенение, и вопрос недлинного времени — сковать ее в айсберг, торос или какую другую глыбу. Потом она поняла, что не это самое страшное. Самое страшное — это с грохотом обвалившееся прошлое, как если бы ты шел, шел, а за спиной вдруг взрыв и пламя, оборачиваешься — а там ничего нет. Пустота и дым, а ты на кромочке, все разверзлось у самых пяток, но каков гуманизм! Пятки остались на тверди. И тут же выясняется, что без того, что было позади, нет и того, что впереди, и идти некуда. Это уже не великое оледенение, это не просто ты — ледяная дура внутри себя, это что-то другое.

Когда Лилия Ивановна посмотрела на часы, то выяснилось, что с момента открытия папки про-

шло пять часов. Странное исчезнувшее время на кромке провала. Ни мыслей, ни чувств и застывающая от холода кровь.

Потом произошло включение. Она снова взяла письмо в руки. Оно так и лежало открытым. Она его свернула и обнаружила на обороте выклеванные буквы. Уже не письменные, плакатные. Буквы сложили слово: «ЛИМИТЧИЦА». Лилия Ивановна представила, как Свинцов волочил ноги к столу, возможно, когда она ездила в онкологический диспансер за рецептами. Возможно, она в тот момент моталась в конец города, где ей по заказу делали специальные подгузники. Свинцов признавал только русский самоострок. Однажды он высказал ей мысль, что, не завали нас Америка «ножками Буша», он вполне мог остаться здоровым. Он объяснил ей строительство их холодильников по принципу газовых камер, где нейтральные к политике куриные ноги подвергались особому опылению, которое тут убивает и калечит русских.

— Мели, Емеля! — смеялась Лилия Ивановна. Но не сердилась. Больной человек вправе молоть чепуху, она его отвлекает. И чем дурее чепуха, тем дальше она уводит от главного, болезни.

У Лилии Ивановны было свое отношение к дурри как таковой. Она наша национальная черта, думала она. Она часть замеса русского характера, притом немалая. Она наше горе и наше спасение. Дурь нам ниспослана. Она помогает не понять степень собственной катастрофы. Поэтому пусть!

Пусть Свинцов сводит счеты с Бушем. Самое для него время.

Так вот, получалось — она ушла по его делам, а он встал. Держась за стенку и шаркая тапочками, добрел до стола. Как он сумел открыть ящик? Ведь надо было нагнуться, а ящик набитый, тяжелый. Значит, сумел. Преодолевая практически непреодолимую немощь. И все для того, чтобы тупым карандашом процарапать ей еще и это. Сам-то! Сам! Из деревни Пердюки, в Москву приехал мальчишкой в тридцать третьем. Говорил, не знал, что такое сахар. Самое смешное — того босого мальчика она даже любила. И если муж всегда оставался Свинцовым и только, даже в мыслях — человек-фамилия, то мальчик был Петя. Фотографий никаких, естественно, не было, но однажды, после аппендицита, она его зачем-то нарисовала. Была у нее неосуществленная страсть — рисование. Пара-тройка березово-осиновых пейзажей висели у внука, он сам, фломастерный, сидел на горшке с выпученными от старания глазами. И некто Петя. Лучшее ее баловство.

Очень спокойно, почти облегченно подумалось, что ей ничего не стоит разломать эту конструкцию, которая называется «приватизация» и «завещание». Сладко подумалось, как она сметет это все с лица земли. Без напряжения вошли в верхний слой памяти телефоны, фамилии, должности. Как все будет просто!

Она набрала номер сына Свинцова.

— Слушай, Филипп, — сказала она, — я раз-

бирала бумаги и нашла распоряжения отца. Я думаю, ты в курсе. Я съеду на следующей неделе, после девяти дней. Пока! — и положила трубку.

Телефон тут же стал звонить, она не сомневалась, что это сын, что, может, он приготовил какие-то жалкие слова, может, просит ее не прикасаться больше к вещам, может, еще что, но Лилия Ивановна трубку не брала. Она знала, что совершила глупость, что эта глупость на конкурсе красоты глупостей заняла бы первое место, но знала она и другое: рухнуло что-то большее, чем квартира, и обнаружилось что-то большее, чем, может быть, сама жизнь. Хотя что есть большее? Бог? Но нет! Бога оставим в покое. Воистину это тот самый случай, когда не Его это дело, не Его... Она еще не способна до конца сформулировать. Ее еще обдувает сзади бездна, а впереди у нее сумрак ничего. Красивая, сволочь, жуть.

Надо было сжечь письмо.

Получилось все весьма ритуально. Она сжигала его на индийском подносе, который подарила ей Астри на пятидесятилетие. Поднос изображал из себя серебро, был по этому поводу чванен, но Лилия Ивановна его любила именно за эту его попытку выбиться в люди по фальшивым документам. В сущности, все такие. У каждого что-то скраденное: у кого — национальность, у кого — образование, а у некоторых — сама жизнь. Любимый писатель молодости говаривал — жизнь взаимы. Но Боже, какое изысканное было это взаимы у них! Бумага горела плохо и пахла болезнью. За-

пах провоцировал и гневил. «Я что? Совсем полная идиотка? Или только частями? С какой стати я должна отсюда уходить?» Но в дым улетали все эти мысли, ибо были они не те... Потом она растирала по подносу пепел, разукрасилось фальшивое серебро черной грязью, когда вымыла, обнаружила: поднос засверкал, засветился. «Какая же ты гадина! — думала о подносе Лилия Ивановна. — Я на тебе жизнь сожгла, а тебе хаханьки!»

Между прочим, все время звонил телефон, но она не подходила. Ей казалось, что это Филипп, но ведь ей больше нечего было ему сказать.

На девять дней пришли только Филипп и Майка. Это было неожиданно. Готовилась ведь как на маланьину свадьбу.

Никто не пил. Лизнули рюмки, как говорила покойная мама, ради блезира. Именно этим словом мама ворвалась и села рядом, мест-то за столом навалом. Присутствие мертвой в отсутствие живых не казалось странным, не виделось мистическим, а выглядело вполне естественно и даже правильно. Лилия Ивановна нервничала на похоронах, ожидая, что может прийти первая жена. В конце концов, это было бы по-человечески, со Свинцовым она прожила большую часть жизни. Но той не было. Лилия Ивановна оскорбилась ее отсутствием, но ей объяснили: микробиолог на каком-то симпозиуме в Австралии, и Филипп решил не срывать матери мероприятие. Тем более такое расстояние. Лилия Ивановна стала думать:

бывшая придет на девять дней. Первая жена и сейчас не пришла. Филипп уже ничего не объяснял, а вот покойная мама пришла и села.

— У меня такое ощущение, — сказала Лилия Ивановна дочери, — что здесь сейчас бабушка. Ты хорошо ее помнишь?

— Хорошо, — с удивлением ответила Майка. — Нормальная была бабуля, только очень храпела.

Разговор потек в этом направлении — о старческом храпе, потом о детском, который тоже есть, но он не злит, а умиляет. Застопорились на этом. Одни и те же проявления — забывчивость, неопрятность, неуклюжесть — у детей милы, а стариков убить хочется.

Майка говорила об этом громко, даже с каким-то вызовом, Филипп молчал, но криво улыбался, и мама криво улыбалась, получалось, что речь идет как бы о Лилии Ивановне, она тут одна бабушка-старушка, и вот, не называя ее, ей показывают, как она никого не умиляет.

— Я не храплю, — сказала она.

— Воистину ты — ты! — воскликнула Майка. — Ты не допускаешь, что речь может идти не о тебе, если речь вообще о ком-то идет.

«Получай, фашист, гранату», — подумала Лилия Ивановна, а мама подмигнула ей: знаю, мол, знаю.

— Так когда? — спросил Филипп.

Они уже попили пустого чаю, хотя и конфеты, и печенье, и разное печево стояли на столе. Толь-

ко мама пальцами прошлась по конфетным одежкам и сказала вызывающе: «Конфеты!» Так она говорила всегда, когда все уже перестали вставлять эту лишнюю и претенциозную букву, намекающую на некий другой язык жизни, где жили люди с более искусными словами, поскольку они сами, люди, были поискусней. Не то что...

— Так когда? — повторил Филипп.

— Днями, — ответила Лилия Ивановна. — Дай мне собраться.

Когда закрылась за ним дверь, возьми и скажи скорей себе, чем Майке: «Он что, ждал, что я прямо сейчас съеду?»

— Ты про что? — спросила дочь.

«Ну да, — подумала Лилия Ивановна, — ей еще предстоит узнать».

— Тебе предстоит узнать, — сказала со всем возможным к случаю спокойствием.

Его было бы больше, не торчи в прихожей мама, которая шла как бы на выход, но замерла с руками калачиком. Так уже никто не держит руки под грудью, они всегда заняты, руки, они все время в движении, суете. Какой из них калачик?

— Дочь! — сказала Лилия Ивановна. — Я тут не прописана, как ты знаешь... И потому съезжаю туда, где прописана. Не поссоримся?

Конечно, слово произносимое надо выверять лучше. Прежде чем что-то ляпнуть, хорошо бы слово посмотреть на свет, попробовать на зуб. Неплохо бросить слово в кипяток и посмотреть, каково оно в кипении, не распадается ли на бук-

вы, а потом быстро достать шумовкой и кинуть в морозильник, наблюдая за шипением, возникновением паров и силой запаха. Но где же взять на все это время, когда двое дышат друг другу в лицо, а третья — мама — притулилась сбоку, и теперь у нее уже кисти замочком, а большие пальцы быстро-быстро — так просто не бывает в живой жизни — крутятся друг вокруг друга.

Не выверенным в эксперименте оказалось слово «поссоримся». Оно-то и пошло в рост. И еще как! Крик стоял такой, что Лилии Ивановне тут же заложило уши, и она, Господне благословение, перестала слышать. Вообще. Но видеть стала как раз лучше. В открытом криком рту дочери свинцово посверкивали пломбы, оказывается, их там много, а она уже и не знала. Непристойно мокрый язык опенился слюной, и Лилия Ивановна подумала: «Надо было умереть пять минут тому назад».

— У тебя и молочные зубы были плохие, — сказала она невпопад, потому что была в пограничном состоянии, уже и не жизни, но еще и не смерти.

В таком состоянии людей берут голыми руками и делают с ними что хотят.

## 12

Время сдвинулось, и в игру во всю молодую мощь вошла Майка. Распаленная, она взяла квартирное дело в свои руки. Она просто отодвинула



мать в сторону растворяющейся бабушки, которая то ли от крика, то ли от слюнных брызг истончилась, извьяла, а потом и исчезла где-то в складках висящих в прихожей пальто.

Майка вызвонила Филиппа, едва тот вернулся домой, и назначила ему встречу. Начался великий торг.

Тут надо сказать, что, опытная интриганка шестидесятых-семидесятых, Лилия Ивановна к ходу его допущена не была. Отдав дочери документы в той самой папочке, которую она обнаружила так недавно, она снова оказалась во власти больных букв сожженного письма, выведших это проклятое слово «лимитчица». Она снова сполна глотнула ненависть и презрение этого понятия и снова всей душой, страстно захотела покинуть квартиру, надышенную Свинцовым. Ей было физически плохо, немочно в ней. Выяснилось: она на самом деле боялась и стеснялась неких «показаний» со стороны ее бывших мужей и с ужасом ждала слов Майки: «Так, значит, ты...» Ей хотелось бечь незнамо куда как от прошлого, так и от будущего. Но она — и это важно — была заперта. Так решила Майка.

— Ты сейчас социально опасна, потому что глупа. Отлежись. Я буду приносить тебе вкусненькое. Даже не мысли собирать чемоданы.

И дочь заперла Лилию Ивановну. Теперь за ней по квартире бродила мама. За мамой следом, шаг в шаг, мысль о самоубийстве. Мама легонько прихихатывала, а мысль о самоубийстве имела

облик давней однокурсницы, которая мазохистски, чайными ложками, пила уксус, чтобы «знать ощущение предсмертья». Еще она цепляла на себя петлю и опускала ноги из окна шестого этажа, пока однажды ее не увезли в психушку. Где и потерялся ее след. Так вот... Мысль о самоубийстве имела высокий рост и маленькую головку несчастной Зои Майоровой, а Лилия Ивановна и не подозревала, что помнит ее, долговязую, сутулую, в коричневом платье старенькой школьной формы с белесыми разводами многожды высохшего под мышкой пота.

Майка приходила, мерила матери давление, оставляла кассеты с новыми фильмами, разговор вела посторонний. Однажды шагами просчитала квартиру от входной двери до противоположной стены. Лилия Ивановна просто вживе увидела, как дочь проходит сквозь стены. Ей позвонили из издательства, в котором она числилась и даже получала какие-то копейки, поинтересовались, не выбросила ли она сто лет висящую на редакции рукопись о бурятских шаманах.

— Нет, — сказала она, — лежит на антресолях.

Ее попросили прочесть ее живым, свежим глазом. «Вам сейчас это нужно», — сочувственно сказали ей. Как же, как же! Очень ей это нужно! Шаманы плюс мама и эта Зоя Майорова. Самое то!

Но полезла на антресоли, достала рукопись. Майка поддержала намерение заняться делом и

стала вымерять квартиру уже от одной несущей стены до противоположной.

«Она меня недооценивает, — думала Лилия Ивановна. — Я все равно здесь жить не буду».

Майка не приносила ей в клюве разоблачительное «я теперь про тебя все знаю». Да и было ли что? Реже стала появляться искательница смерти Зойка, а однажды и совсем исчезла. Ушла и мама. Как-то Лилия Ивановна проснулась от зуда во всем теле, пришлось снять рубашку перед зеркалом, чтобы рассмотреть, нет ли сыпи. На нее смотрела вполне складно сложенная дама, без оглушительных разрушений временем. Сыпи не было. И она поняла, что зудит у нее изнутри, что так прорастает в ней то ли трава жизни, то ли так постреливает энергетика, которая совсем было покинула ее, но вот вернулась и теперь разминает ее нервы, тоненькие и полуживые. Лилия Ивановна голяком прошлась по квартире, отражаясь в зеркалах, стеклах дверей, полированных плоскостях. Изысканно изогнутой она была в белом металле смесителя в ванной.

— Ух! — сказала она себе зеркальной и вымастерилась так, как и не знала, что умеет.

Потом позвонила дочери и велела вернуть ей ключи.

— Конечно! — прочирикала та. — Только не сегодня и не завтра. Хорошо? У тебя ведь есть еда?

Через три дня Лилия Ивановна ломиком вскрыла дверь.

Майка появилась с большущей сумкой и буке-

том цветов, когда в дверь уже врезался новый замок, мать стояла на стреме, а ломик лежал на подзеркальнике.

— Вот и хорошо, — сказала Майка. — Я это тоже имела в виду. — Она бросила две связки одинаковых ключей. — Это Филипповы, — пояснила она. — Мы обо всем договорились.

Когда ушел слесарь и Лилия Ивановна подмела стружку, Майка ждала ее с обедом — пельменным супом с укропчиком и двумя коробочками тертой магазинной морковки. «Руки бы у нее отвалились потереть самой», — подумала Лилия Ивановна, душа которой не принимала пластиковой еды. «Разве знаешь, какими руками это все хватают? — сердилась она. — Мы народ, который еще не научился подтирать задницу». — «Фу, мама! — говорила Майка. — Я знаю, где покупаю».

— Мамуля! — сказала дочь. — Слушай внимательно. Филипп берет мою квартиру. Ему она удобней географически. Мы с ним как бы совершаем обмен. Ты остаешься на месте, мы с Димкой въезжаем сюда, Филипп в мою. Сечешь? То есть в мою въезжает его сын, у них получается одна линия метро.

— Как тебе удалось? — спросила Лилия Ивановна.

— Припутнула! — засмеялась Майка.

Было видно, ей хочется рассказать подробности, потрясти мать оборотистостью, ловкостью. Чтоб та поняла, что обставлена и отставлена. Вечно она трандела, что Майка — полная балда по

жизни. Что, конечно, так и было. Тот ее развод и обмен она целиком прорыдала в подушку, зато сейчас... Слушай, мамуля, слушай!

Оказывается, в дело был включен кавээнщик, который, как говорили раньше, «шился в сферах». Теперь говорят иначе: «У него все схвачено». Филиппу пообещали и моральный, и материальный урон, если он начнет тяжбу с женой отца, а Майка...

— Я ему прямо сказала, — тараторила дочь, — подвзорву в прямом смысле. Он сначала взвизгнул, а потом уже испугался. Ответил, что и сам это может. Ну, в общем, я ему объяснила, что, конечно, может, но стоит ли дело крови? Он мне про волю отца, тут я посмеялась. Все ведь знают, сколько дерьма ты из-под его отца вынесла за время болезни. Я тебе скажу, мамуля, его можно было добавить еще и на сумму прописью. Ведь моя квартира оказалась на пять метров больше. Но я не мелочная. Хрен с ним. Так что давай думать, как мы тут расселимся. Выбирай себе комнату.

— Я не буду тут жить, — сказала Лилия Ивановна. — Мне тут не климат.

В голове у нее все спуталось. Так бывает с волосами, если долго носишь тесную шапку. Волосы в темноте и панике свиваются в узлы и колтуны, которые проще бывает отрезать, чем расчесать. Приблизительно так или близко к тому было и с мыслями. Колтуны, но только в нежном теле мозга. «Зачем ей это? Зачем? А... Ну да... Она испугалась, что я к ней вернусь? Но мы и так остаемся

вместе... Как она сама сказала — там даже на пять метров больше... Отдельные комнаты... Ну да, ну да... Но в ее квартире можно было сделать легкую стенку... Есть же пять метров!.. Но я занимаю неизмеримо больше места. Ко мне приходит мама, Зоя Майорова, шаманы скоро придут... Я уже слышу бубен...»

Это Майка стучала ложечкой по чашке.

— Кому я все говорю? — кричала она.

— Я не буду здесь жить, — сказала Лилия Ивановна.

— Об этом будем думать, когда оформим все бумаги, — вдруг миролюбиво сказала Майка.

«У нее своя стратегия, — подумала Лилия Ивановна. — Свой расчет». Она хотела резко сказать, что все раскусила и все понимает, но позвонили в дверь. Принесли телеграмму. Приезжала Астра с мужем.

— Вот видишь, — сказала Майка. — Наглядный пример. Три отдельные комнаты всегда лучше двух смежных.

Сестра не знала, что умер Свинцов. Лилии Ивановне помнился отъезд Жорика и то, как набряк по этому поводу покойник. Астра, какой бы ни была наивной, провинциальной и потрясенной, не могла этого не заметить.

— Он тяжелый человек? — спросила она тогда уже перед самым отходом поезда.

— Кто? — сделав вид, что не понимает, ответила Лилия Ивановна.

Но тут возник угол чемодана, какая-то сумка с банками. Вокзал — идеальное место уходить от вопросов, в его движении перемалываются и ответы, и вопросы. Это место компромисса и замирения, потому что ссориться в дорогу бездарно. Мало ли как под колесо ляжет слово.

Потому Астра только и знала, что Свинцов болен, а кто в наше время здоров? Когда он умер, Лилия Ивановна решила, что напишет обо всем обстоятельно, но случилось другое письмо в папке и все такое. А вот теперь Астра приезжает с мужем, и ее не остановить, потому что она уже в дороге. Телеграмма дана со станции, когда был куплен билет.

Оказалось, все не просто так. Астра замыслила отъезд в Израиль и приехала в Москву на разведку. Деловитая и конкретная, этим она была нова и неожиданна. «Квашня подобралась», — определила развитие Астры Лилия Ивановна. Все еще существующая в пространстве слова «лимитчица», выведенного ненавидящими пальцами, придавленная квартирным пасьянсом, она сейчас, сегодня была полной противоположностью сестре: она была квашней, растекшейся по столу.

Лилия Ивановна заперлась в ванной и пустила в полный напор воду. Благословенный широкогорлый смеситель страстно ударял воду о голубое дно, бурунчики, брызги, завихрения, потение зеркала были замечательной средой обитания слез и тихого горлового вопля женщины. С ним выходила из Лилии Ивановны жизнь, но не в том смысле, что она умирала, нет, из нее выходила предыду-

щая жизнь, зато другая, наступающая, капельным методом входила, что доподлинно доказывало наличие в нас определенного количества сущностей, которые в нужное время заменяют друг друга, как заменяет в несении гроба одно плечо другое, уже затекшее от тяжести. И тогда откуда ни возмись тихо так — присутствие смерти дисциплинирует — возникает плечо-дублер, и шествие гроба продолжается, лишь секундно вздрогнув на моменте передачи веса.

Лилия Ивановна вышла из ванной с высоко подколотыми волосами. Так всегда. В ней сам собой возникает придурочный Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота. И тогда резкий, можно сказать, авангардистский пучок вверх странным образом придает ей силы жить. Разве это самый нелепый способ спасения себя? Бывшая жена бывшего Свинцова (так он рассказывал Лилии Ивановне в ту пору, когда говорение о первой жене помогало моменту перехода от одной женщины к другой), когда у нее возникли неприятности по партийной линии в связи с невежеством секретаря парткома, ни бельмеса не понимающего в тонком, но крепком теле микробиологии, так вот, жена пыталась при помощи двух зеркал и крепкого раствора марганцовки извести крохотную бородавочку, никому сроду не видную. Когда случался в жизни караул, уничтожению подвергалась именно эта невинная выпуклость, мирно живущая где-то в районе подмышки. А вот подруга самой Лилии Ивановны в отчаянии всегда ела в огромном количестве свиные хрящи,



ее спасали собачье чавканье и громкое пережевывание.

Так что волосы столбом вверх — просто пустяк и ерунда в деле самосохранения. Во всяком случае, выйдя из ванны и увидев профиль Николая Сергеевича на белом шелке оконных штор, Лилия Ивановна подумала: «Как она с ним живет? Я бы его убила!»

13

— Я восстанавливаю свое еврейство в полной мере, — сказала Астри.

— У тебя русская мать, — ответила Лилия Ивановна, — в полной мере. Для них это не прохонже.

— Надо поискать пути, — мягко сказала Астри. — Я собираюсь съездить в Пуще-Водицу. Ведь мы оттуда... Я не хочу, чтобы у Жорика были проблемы.

— Боже! Какая глупость! — воскликнула Лилия Ивановна. — Это называется поди туда — не знаю куда... Придумала какую-то Пуще-Водицу...

Но с сестрой все было непонятно. Та улыбалась загадочно и по-новому, хотя волосы за уши заправила абсолютно старым детским жестом.

Николай Сергеевич все время молчал. Как немой. Куда-то ходил, когда сестра шла в посольство. Возвращались они поврозь, и он профильно застывал на фоне шторы, а Астри же была таинственно возбуждена и подвижна.

На пятый день Майка спросила мать:

— Они надолго? Мне надо знать, когда пере-  
езжать. Но в коммуналку я не хочу.

Обретающей еврейство сестре все не расска-  
жешь... Да что там все! Ничего не расскажешь...  
Ни про завещание, отбросившее Лилию Иванов-  
ну в незнамо куда, ни про хитроумную интригу  
дочери и пасынка, ни про бывшего зятя-кавээн-  
щика, привлеченного в качестве пугала-устраши-  
теля. Ни про письмо ненависти, которое она со-  
жгла, а пепел перетерла пальцами. У нее до сих пор  
скрипят подушечки от того перетирания. И сад-  
нит, и саднит фантомная боль, хотя все цело, все  
на месте.

Не пришлось задавать бестактный вопрос об  
отъезде. Астра сама показала ей билет в Киев для  
себя, а для Николая Сергеевича — обратный до-  
мой.

Накануне переезда Майки с сыном Лилия Ива-  
новна произвела досмотр всех своих доспехов,  
отобрала те, что годились для прохождения служ-  
бы, аккуратно, как всегда умела, сложила вещич-  
ки в хороший легкий чемодан и скрипнула «мол-  
ниями». Дочь на порог, а мать с порога.

— Ты куда это? — заполошенно спросила Май-  
ка. — Сейчас же привезут вещи!

— Живи, детка, — напевно ответствовала  
мать. — Живи! Ты же меня не спросила... А мне  
тут жить запахло...

— А где же ты будешь жить? — ничего не по-

нимала Майка. Какая она у нее простодырая — дочь!

— Подробности письмом! — почти смеялась в ответ Лилия Ивановна.

Была некоторая потасовка, когда Майка вырывала из рук матери чемодан, был тычок матери в дочерино тело («Боже! Что делаю? Что делаю?»), но втащила в лифт, нажала кнопку.

— Ну и черт с тобой! Черт с тобой! — кричала и плакала в лифтовую шахту Майка.

«Очень правильные слова. Самое то!» — думала летящая вниз Лилия Ивановна. Кто бы ей сказал, что на старости лет она будет способна на такой выбрык! Суть же заключалась в том, что у новорожденной Лилии Ивановны, так хорошо и грамотно планировавшей всю свою прежнюю жизнь, на этот раз не было никакого плана. Ей уже в эту, ближайшую ко дню ночь ночевать было негде. И уход ее был дурью, другого слова не найти, но что тут сделаешь, если пришло время дури? Явление дури столь же закономерно и целесообразно, как пришествие наития гению. И еще неизвестно, что более матери-истории ценно.

Ужас охватил Лилию Ивановну на улице, сразу за дверью. Но не возвращаться же назад? По закону дури она шла вперед.

В это же самое время сестра ее, Астра, сидела в тесной киевской квартирке и пила чай со своей троюродной, а может, и четвероюродной сестрой-учительницей, которую сроду не знала, но

вот нашла по цепочке. Новая родственница, конечно, удивилась, но чай заварила свежий и теперь смотрела на Астру круглыми, через край проливающимися любопытством глазами.

«Они у нее, как у мамы и Лильки, — думала Астра. — Зрачок дрожит одинаково». Сама Астра носила глаза темно-карие, но с зеленовато-морским отливом. Зрачок в них стоял, как влитой, как шляпка гвоздя, вбитого не дрожащей рукой мастера.

Учительницу звали Вера Алексеевна, она была старой девой из тех генетически обреченных женщин, которые принимают судьбу с покорным достоинством. Отсутствие мужчины в ее жизни было абсолютным и, как всякое законченное явление, имело свою идеологию. Когда-то в дурном детстве ее изо всей силы прижимал к забору соседский мальчик. В момент возни он вдруг стал вялым, заклокотал горлом и резко ушел, шмыгая носом. Ей хватило на всю жизнь такого опыта. С тех пор прошла одинокая однополая жизнь. Трудна была молодость тела, подающего стыдные сигналы. И будь другое время, Вера Алексеевна вполне могла бы стать религиозной фанатичкой, с восторгом влезавшей во власяницу. Но никакое время не лучше другого. То, которое обломилось ей, было временем, скажем, материалистического идеализма. Абсолют был выведен корявыми словами: «У вас у всех грязно, а у меня всегда чисто». Она терла, терла себя грубым, плохо пахнущим хозяйственным мылом, потому как

мыло хорошее не могло обеспечить дезинфекцию.

Учительская среда была вполне комфортна для такого рода истязаний, школа изначально ненавидела радость. Радость — обманку счастья — разоблачали в глазах детей, потому как жизнь — «ведь это труд, и труд, и труд, труд и там, и здесь, и тут...» И все. И приехали. И не воображай себе.

Такова была новая родственница.

Вера Алексеевна с интересом узнавала о неведомых побегах фамилии, особенно ее заинтриговала живущая в Москве Лилия Ивановна. Надо же! Всегда такая проблема остановиться в Москве, а тут на тебе! Есть сестра! Да к тому же теперь вдовая, значит, меньше неловкости от возможной встречи с мужчиной. Пожилые и старые мужчины вызывали у Веры Алексеевны особенно брезгливую жалость. Если они такие отвратные бывали в юности, то какие же они становились потом? Она жалела всех женщин, имеющих несчастье жить со стариками. Никто, никто не знал, что Вера Алексеевна с глубоким удовлетворением узнавала о смерти любого из несовершенной половины, удивлялась удивлению тех, кто восклицал: мужчины живут много меньше! А как могло быть иначе? Как?

Еще она с удовольствием узнала, что новые родственницы по несколько раз ходили замуж. Разве она изначально, априори, не знала, сколь бессмысленно глупо это путешествие? Вера Алексеевна все сильнее и сильнее чувствовала муд-

рость собственной жизни, а ведь никогда мы не бываем так добры, как в сознании собственного превосходства.

Никогда бы сроду она не стала распахивать перед чужим человеком ворота рода, но тут...

Она высыпала на пол фотографии из большого полиэтиленового мешка, они доставались ей по смерти старых, никому не нужных родственников. Именно к ней стекались ветхие открытки с пасхальными яйцами и кучерявыми младенцами, талоны на галоши за тридцать четвертый год, корешки от хлебных карточек, розовые раковины с надписью «Привет из Сочи!», грамоты обкомов, райкомов и прочих комов, вот уж их была полным-полна коробушка... И, конечно, фотки. Практически вечные дореволюционные и нэпманские, и разламывающиеся от прикосновения выцветшие последующие. В мешочном хозяйстве Веры Алексеевны это сразу бросалось в глаза.

— Как же отличается качество! — сказала Астра, разглядывая фотографии. — Вот это кто?

Она не говорила о цели своих поисков. Она с детства знала: не зная броду, нельзя касаться еврейской темы. Всегда можно напороться на тех, кто «их ненавидит». Легкими касаниями проверяла она обстановку, дабы потом ступить дальше.

Вот и здесь. На фотографии горбоносая с еврейской поволокой женщина. Астра ведь просто так спрашивает. Без смысла. «Это кто?»

— Жена моего двоюродного дедушки. Полячка. Видите, какой глаз глазливый? Наводила пор-

чу. Сейчас это понимают, а тогда не признавали. От нее умирал животный мир.

Астре неинтересна гибель животного мира. Она ищет свое. Вместе рассматривают фотографию широкобородого старца. Их общий корень. Растил своих детей и племянников, оставшихся без родителей.

— Белогвардейцы были, — тихо бросает Вера Алексеевна. Но Астре неинтересны и белогвардейцы. Вера Алексеевна — веточка от племянников, а она, Астра, — видимо, от самого широкобородого.

— Крепкий мужчина, — говорит Астра, чтоб что-то сказать.

— Его мать — такая семейная сплетня — гуляла с местным шинкарем. Из евреев. Вроде бы он от него.

Конечно, Астра уловила нотку удовлетворения, что в самой Вере Алексеевне нет следов блуда с чужой кровью. Ничего не было сказано, но Астра прочтала все по движению воздуха, по легкому дуновению ветерка неприязни к доисторической грешнице.

Астра ликовала. Она уверовала сразу и до конца, что ее мать — след того старого греха, и это то, что ей надо. Неважно, что никто никогда этого не докажет. Ей важно знать самой. Она прошибет, если надо, своим нутряным знанием любую стену. Конечно, Вера Алексеевна понятия не имела, какая фамилия или хотя бы кличка была у шинкаря. С какой стати ей, непорочной, знать? А стари-

ка с бородой звали Руденич Тарас Иванович. Потом редкие бровишки на лбу Веры Алексеевны сползлись вместе, и даже как бы слегка затрепетала их коротенькая неказистая порось.

— Уже плохо помню, — сказала она. — Но, кажется, она куда-то исчезла, его мать. Говорили, что ушла из дома и не вернулась. А может, не мать — бабушка? Но история с исчезновением была.

— А какие еще были истории? — ласково спросила Астра. — Живем же и ничего не знаем, а за нами тысяча и одна ночь.

Но Веру Алексеевну повело в сторону, она стала лопотать про своего брата, который уехал строить БАМ и женился на бурятке. Приезжали в гости. Ужас, а не женщина! Глазки — щелочки и какой-то острый запах. Вера Алексеевна, говоря о невестке, почему-то прослезилась, обнаружив слабую душевную струну. Возник удобный момент перевести разговор на другое, на то, что пора и честь знать, хороши гости, если в меру. Пока Вера Алексеевна отсмаркивалась, Астра уже влезла в туфли, уже платочек натянула, сказала, что позвонит, и прочее, прочее... Чмокнула обретенную родственницу и исчезла.

Итак, была обретенна уверенность в праве на отъезд. Факты — ерунда. Их отсутствие — чепуха. Семя шинкаря играло в ней с такой силой (конечно, семя! А что же еще?), что ее распирало от желания скорей, скорей рассказать все Лильке. «Ну, — скажет она ей. — Что я тебе говорила?»

И пусть эта дура найдет, что ответить.



Из-за этой дури — «рассказать!» — она поперлась домой через Москву, где и обнаружила полное отсутствие старшей сестры. Майка хлюпала в не очень свежий носовой платок, вспоминая, как хватала маму за чемодан, а та с «перекошенным лицом села в лифт и уехала».

— Я из окна ей кричала! — плакала Майка. И еще она сказала: мать звонила на работу, сообщила, что уезжает в деревню готовить рукопись про шаманов.

— Какая деревня? — плакала Майка. — У нас сроду никого в деревне не было.

Астра была потрясена до глубины души. Поезда столкнулись и пошли под откос. Ведь она только вчера узнала, что когда-то, давным-давно, некая пра... ушла и канула. Она гуляла с шинкарем-евреем, эта пра...

Именно этим была похожа на нее сестра. Не в смысле шинка и еврея, а этой способностью гулять. Ах, какая сильная кровь! В организме Астры происходили взаимноисключающиеся физические процессы — леденели жилы, и плавилось сердце.

Химия организма может ставить безответные задачки. Оставим их. Нам важно другое — момент убегания. В нем находилась сейчас старшая сестра Астры. Кто бы мог подумать о ней такое, глядя на нее же из ее прошлого. Но получалось так: анализ из вчера, из вчерашней Лилии Ива-

новны, просто не годился для понимания сегодняшней, убегающей. И так, она услышала, вернее, почувствовала крик дочери в шахтную пропасть. То самое «черт с тобой!» оказалось самой что ни на есть компанией. Паника, отчаяние, гнев, ненависть... Что там еще по разряду не божественного? Все в Лилии Ивановне спеклось в ком, он рвал ее на части, уже и не осталось ничего, один всамделишный вопрос: «Куда мне идти? Что я себе надумала?» Барахло вещей тяжелило руку, но надо было с ним двигаться.

Она шла навстречу трамваю, лоб в лоб, какая дура! В последнюю минуту отпрыгнула и отметила не без удовлетворения: «У меня хватило сил отпрыгнуть». Она полюбила трамвай.

В конце концов, на следующем она поехала к трем вокзалам, а потом в Мамонтовку. Когда-то она жила во грехе с инструктором ЦК. Тот страшно боялся неприятностей с женой и партией, и ей самой пришлось искать пристанище у этой — как ее? — Таси, нет, Тоси, что торговала творогом на Бутырском рынке. Лилия Ивановна была у нее постоянным клиентом и имела скидку. Потом было какое-то пальто деми из ГДР, оно не подошло Лилии, а тетке с рынка — в самый раз, даже так: та просто обалдела от капюшона, который красиво так прикрывал мохеровую шапку с чулком внутри. Зелено-бутылочный капюшон и красный мохер — этот «вырвиглаз» оказался воплощенным прекрасным, и творог для Лилии Ивановны упал совсем до смешной цены. На фундаменте

красоты и рибофлавина стали не то что подругами, а гораздо больше. Стали подельницами в борьбе за счастье. Такой случился замес из творога, мохера и гэдээровской швейной промышленности. Смешно сказать для тех, кто потом положил в основание счастья пейджеры и «Тойоты», но ведь, как говорится, времена не выбирают, в них живут... А что окажется у времени в заглавнике для завтрашней радости, не знает ни один мудрец. Было счастье иметь козу (война), счастье обуви «прощай, молодость» (эпоха физик-лириков), синтетически сосулистых шуб (расцвет загнивания), время «Спидол», быстрых пирогов из блинной муки историка Похлебкина, водки из «Рояля»... Да мало ли...

Много лет Лилия Ивановна не виделась с торговкой Тосей с Бутырского рынка. Но почему-то была уверена: та жива и обретается в том же кирпичном доме со свирепой собакой, посаженной на такую толстую цепуру, что еще неизвестно, от чего холодела кровь — от лая, идущего из мокрой, хищной пасти, или от грохота цепи, намекающего на некую гораздо более страшную кару, чем быть покусанным.

Дом был жив. Собака, видимо, тоже, потому как висела та, раньшая, пластинка с предупреждением о ее злости, но во дворе было тихо. Лилия Ивановна стала стучать калиткой, как делала когда-то. Раньше (вот странность!) это был довольно сильный звук, а теперь он таким не был. Постукивание и поскрипывание не означали сигнала о

приходе, они вообще не означали ничего. Так бес- сильно кричит о себе щепка, которую несет вода, Она не топит ее, нет, она просто не берет ее в рас- чет.

Лилия Ивановна во двор войти не решалась (память о собаке). Кричать: «Тося! Тося!» — тоже могло оказаться глупым. В конце концов, той мог- ло и не быть. Дома ли, на белом свете. Бездарно являться через ...надцать лет и ожидать, что не во- рохнулась ткань вещей. Лилия Ивановна нашла на дороге железку от металлической решетки и стала стучать ею по металлическому почтовому ящику. Еще тот видок у леди в отороченном ме- хом полупальто и модных сапогах с металличе- скими носиками. В округе откликнулись чужие собаки, но двор Тоси молчал.

Странное сочетание облегчения и паники (см. леденение и плавление в этот момент у Аст- ры). Ужас, если никто не откликнется — дело к ночи, но одновременно и холодок освобождения из побега тоже. Она из счастливой безвыходно- сти вернется домой (к себе домой!), она поставит все на место! Черт возьми тебя, дочь! Будет так, как решит она, потому что нельзя с ней посту- пать, будто она уже сосет рукав. Не сосет! И тем не менее она барабанит и барабанит по ящику, стучит и стучит ногой по столбу забора и уже кричит во всю силу легких: «Тося! Тося!»

Воистину не ведаем, что творим...

Крохотное облако, практически без величи- ны, так, одна кажимость, набрякло именно в этот

момент и пролилось густым и омерзительно холодным мелким дождем. Это выглядело, как проделка пакостника, брызгающего клизмой из окна на идущих внизу.

Когда дождь прошел, Лилия Ивановна обратила внимание на закрученные проволокой изнутри ворота и калитку, она увидела не топтанное ногами крылечко, а потом и то, что должна была увидеть сразу, — внутренние ставни.

Ощущение себя нигде. Чемодан тяжел, сапоги неудобны. И ни один человек из другого двора не вышел сказать ей, дуре: «Кого ты зовешь, женщина?»

На станции она села в первую попавшуюся электричку.

С этой минуты Лилия Ивановна исчезла из поля зрения дочери, сестры, издательства по шаманизму и разных прочих шведов.

## 15

История могла легко свернуться в комок и закончиться. Но ничто на земле не проходит бесследно.

Возьмем ту же Астру. Она уехала из Киева, приехала в Москву, не нашла сестру, а нашла племянницу, узнала, как ускользнула от той в пропасти лифта Лилия Ивановна, как дочь обиделась на мать, и наоборот... Можно не останавливаться и писать, и писать долго и печально о несовпадении и непонимании, но нет...

Вернемся обратно в Киев.

Вера Алексеевна, чисто вымытая хозяйственным мылом учительница-дева, была переполнена явлением новой родни, ей хотелось поделиться новостями с кем-то, рассказать про Астру («молодежная стрижка, как-то даже неловко, когда открытая шея при наличии дряблости»), про некую Лилию Ивановну («молодая вдова, осталась в большой квартире, потолки три пятьдесят»).

Вера Алексеевна металась в поисках собеседника из родни, потому что просто так, чужому, это неинтересно. Но наступило время, когда все рассыпались горохом и живут без общения. Где-то умирают дальние старики, соседи уносят с собой их подушки и заварные чайники, а ей достаются фотографии, глянцевые грамоты и неотоженные талоны.

Вера Алексеевна испытала обиду одиночества, стала чистить пемоксолью раковину, зачихала, пошла искать супрастин («это у меня аллергический компонент на химию»), а к ней возьми и приди двоюродная сестра. Очень нелюбимая, очень неприятная, одним словом, еще один аллергический компонент. Вера Алексеевна выразительно, с некоторым даже вызовом выпила при ней лекарство, говоря прямо в глаза: «Между прочим, это супрастин». Имея в виду момент раздражения, который вызвал у нее приход Марии.

А та, как оказалось, много чего помнила и знала. Во-первых, она знала девчонок — Лильку и Астру. Во-вторых, она знала их маму, в-третьих,

после самой войны она у них жила, потому как...  
Боже, какое было время!

Вера Алексеевна, занятая усвоением супрастина, оставила без внимания то смятение лица, которое случилось у ее гостыи. Вера Алексеевна не полагала правильным считаться с чужими эмоциями, когда имела свои. А то, что Мария стоит к ней спиной и смотрит в окно, так это ее свойство — бестактность поведения. Пусть стоит. Если бы Вера Алексеевна подошла ближе к Марии, то она увидела бы такое лицо у нелюбимой сестры, о котором не подозревала. Тем более она бы в голову не взяла абсолютно неправдоподобную вещь, что сама Мария тоже не подозревала, что прошлое может так проявиться и так тебя достать.

Мама, мамочка, мамуся...

...Во время оккупации у ее мамы, самой красивой женщины на свете — так думает она и сейчас, — был дядечка, немецкий офицер, тоже писанный красавец. Они шли по улице — и люди замирали от такого количества красоты. Кареюкая, с косою вокруг головы, мама носила такие ямочки на щеках, что казалось, никакая война — не горе. Дядя Францик, высокий и сильный, выставлял один палец, и она, дите, висла на нем и раскачивалась, и было ей так легко и спокойно, как никогда не было потом. Но потом наступило сразу. Было прекрасно — и сразу без перехода стало «потом».

Мамочку побрили наголо до маленькой синей головки и увели навсегда. Марусечка кричала:

«Дядя Францик! Дядя Францик! Спасите!» И ее сильно, наотмашь, ударила женщина в форме. Она потеряла сознание, и на нее лили холодную воду, и она как-то сразу, без перехода стала взрослой, мокрой и несчастливой на всю оставшуюся жизнь.

Ее взяла к себе, «пока не вернется папа», сестра отца. Там были две худые, поцарапанные девчонки с бритыми, но не голубыми, а вычерневшими, будто подкопченными головами. Они от души выпрямляли, вытягивая изо всей силы, ее кудри. «Кругом война, а ты кудрявая», — строго говорила старшая, Лилька. Мария была согласна, она тогда уже стала большой и мудрой и даже попросила, чтоб ей сделали так, как у них. Наголо.

— Так у них же были воши! — смеялась тетка Дуся. — А ты вся вон какая сытенькая.

Пришлось жить кудрявой и терпеть насмешки бритоголового населения войны. Ее тошнило от козьего молока, а эти две девчонки не могли им напиться. И вечно ходили с белыми окружками вокруг рта.

Приехал с войны папа. У него дергалось веко и время от времени спазм перекашивал лицо. И тогда все ждали конца его муки, а потом продолжали разговор как ни в чем не бывало.

Она не могла полюбить этого человека. Не могла! И уже понимала, что он знает про это. Поэтому и кривило его чаще всего, когда она была рядом. Она приносила ему боль. Когда ей было шестнадцать, папа умер. Это был какой-то специфич-



ческий год. Его называли годом разоблачения культа. Она этого не понимала, ей было все равно, культ-некульт. Отец в гробу лежал красивый и длинный. Впервые она подумала, что они с мамой тоже были неплохой парой, хотя разве можно сравнить? Немца — так получалось! — она считала более красивым.

Всю жизнь она перебивалась из нищеты в нищету. Связь с теткой после их отъезда была потеряна сразу. Отец ей не писал, а Мария еще была безграмотной. Забылись бритые девчонки, а собственные кудри как-то сами собой почти выпрямились. Лет в семнадцать у нее поседела прядь волос. Красиво так поседела, с вызовом. Через многие годы дамы начнут платить деньги за создание такого волосяного изыска. Она же стеснялась пряди. Она вообще жила невпопад и понимала: да, именно так живет. Невпопад.

Долго не выходила замуж, потому что боялась несчастья возможных детей. Зоркий глаз отмечал неуменьшаемость детской бритоголовости на единицу площади и времени. Она долго думала над этим свойством — страны? земли? народа? — которые просто переиначивают время от времени название, оставляя суть. Вшивость теперь называлась исключительно педикулезом. Недоедание — авитаминозом. Война — миром. Работа в лаборатории больницы (после медицинского техникума) очень способствовала размышлениям. Тихо вокруг, только не спит барсук, стеклышки бряк-бряк, специфический запах человек изнутри. Она

искала зависимость внешнего от внутреннего и, увы, не находила. Разные люди имели одинаковую кровь, не говоря уже о прочих, более грубых материалах.

Она жалела, что не смогла получить хорошего образования, спокойного и постепенного. Завлабша говорила ей: «Какие проблемы! Учись! Ты молодая и одинокая». Действительно, какие? Но она робела, боялась перемен, людей, конкурса, к тому же ей хотелось в университет, не в медицинский... Одним словом, духу не хватило, а там припел и замуж, от которого она так долго оборонялась.

Он был прибалт, высокий и рыжий. Его звали Франц. Она никогда не скажет ему, что пошла на звук имени, как крыса за дудочкой. Она просила его вытягивать пальцы и пыталась повиснуть на них, дура такая. Хороший оказался парень. Она понравилась его родне, хотя он сказал, что мама пару раз вызывала неотложку, когда он написал ей про русскую невесту.

Боже, как она учила чужой язык! Когда переступила порог чистенького маленького дома недалеко от моря и пролепетала первые слова на их языке, мама Францика заплакала и заговорила с ней по-русски, и все пошло у них хорошо.

Потом она стала «собирателем их фамилии». Это когда ринулась в свой отпуск в Кемерово, где жила сосланный и считавшаяся потерянной родня мужа. И привезла на родину бабушку восьмидесяти лет, которая уже сходила с ума от сознания близкой смерти на чужбине. Она везла ее через

всю страну, едва не потеряв старушку на Рижском вокзале в Москве, когда та сомлела, услышав свой язык по вокзальному радио. Кто-то потерялся, и его искали.

Она так и жила между Киевом и Ригой. В Киеве она копила силы, в Риге она их тратила. Дочка Лайма была счастьем в полном смысле слова. Она была похожа на ту бритоголубоголовую маму, которая, уходя от нее навсегда, старалась улыбаться. Так и эта, маленькая дурочка, вечно растягивает губы, чтоб виделись глубокие ямочки на щеках.

Сейчас она уже взрослая барышня, Францика уже нет. Он умер легко, на ходу, ни разу до этого не хворал. Лайма окончила университет и жила с бабушкой в Риге, а она сама по-прежнему со стеклышками бряк-бряк.

К Вере Алексеевне ее привело простое дело: она хотела узнать точно, из первых рук, сколько зарабатывает учительница в школе и легко ли найти сейчас работу в школе. Лайма ни о чем мать не просила, более того, говорила, что никогда-никогда-никогда в Киев не вернется, тем не менее... Если тут может быть лучше, «никогда» можно смять до последнего слога. Потому Мария пришла на разведку, хотя Лайма на это определенно скажет: «Мать! Это мои проблемы». Она ее называет — мать. Каждый раз Мария чуть-чуть пригибается под словом, как под непомерной тяжестью, но потом выпрямляется. Слово-то хорошее. Оно

суть жизни, ее первоначальная клетка. Какого лучшего слова она ждет? Мать — это хорошо. Со всем не грубо. Не надо пригибаться.

Сейчас ей надо повернуться к Вере Алексеевне с лицом сегодняшнего дня и задать все необходимые вопросы. Но она спрашивает:

— Какая она, Астра?

— Стрижка короткая, а шея дряблая, — торопливо повторяет та уже давно сформулированную характеристику. — Интересовалась родней. Мы смотрели фотографии. — И вскриком: — Но я же понятия не имела, что ты ее знаешь!.. Откуда?

— Я жила у них после войны, ожидая папу, когда мама умерла. Ее мама — сестра папы.

Вере Алексеевне это неинтересно. Они познакомились, будучи вполне взрослыми дамами. На чьих-то похоронах.

— Жаль, что я не знала, — раздражается Вера Алексеевна. — Встретились бы... Но имей в виду, она оставила и свой адрес, и сестры.

— Хорошо, — отвечает Мария. Она еще не знает, что адресом воспользуется. Не знает, что войдет в их посмертную жизнь, что это уведет ее далеко, далеко от квартиры Веры Алексеевны. Она пока ничего не знает. Ничего...

Голубая головка мамы мелькнула и исчезла. Исчезновение паче смерти. Еще она не знает, что коснулась самого средостения боли. Боли ее рода. Фу, как высокопарно! И потому неловко. Просто она вспомнила, как уводили маму. И сердце ее сжалось до размера высушенной сливки.

Лилию Ивановну так и не нашли. Наступило время потерянных людей, хотя, как явствует дальше из этого скромного сочинения, такое время просто никогда не кончалось. Майка, плача о матери и одновременно ругаясь с ней, ища ее в моргах и больницах и испытывая облегчение («не она! не она! не она!»), все-таки и слегка ликовала, потому как процесс обмена был завершен и ей обломилась удача, что там ни говори. И центр, и отдельная комната для Димочки, и потолки, как у бывших людей, а самое главное... самое... Этот политический проходимец из кавээнщиков, то бишь бывший муж, уже цокнул зубом, переступив порог ее квартиры, и сказал: «Красиво живешь, Параскева!» Тут было два момента: момент его зависти — самоочевидный — и момент нежности — потайной. Параскева — домашнее, постельное имя, имя только для них двоих, сим-сим или сезам их сокровенно-откровенных отношений. Майка от его слов вздрогнула от копыток до маковки, но стреножила чувства. А измену, оскорбление подняла до самого горла и ими выплюнула:

— Да пошел ты!

И тем не менее ликование от слова в ней поселилось.

Астра звонила, спрашивала о сестре и успокаивала племянницу: никуда, мол, не могла деться Лилия Ивановна, взрослый, разумный человек, еще, слава богу, не в маразме. Просто она делает

им всем назло. Астра говорила эти слова с чувством, как бы видя всю тенденцию жизни Лилии Ивановны: делать другим назло, а себе исключительно удобно.

Из прошлого выплывали расписные Стеньки Разина челны, и на них громоздилась история с их мамой. Как та вызывалась сестрой, когда была нужна, а потом выпихивалась в грудь, когда была без надобности.

О себе Астра в этот момент думала в превосходной степени. Она копила в себе хорошее, собираясь к Жорику.

— Я поеду на разведку, — объясняла она мужу Николаю Сергеевичу. — Хотя заранее знаю: там хорошо. Столько умных людей не могут уехать туда, где плохо.

Николай же Сергеевич от слов этих становился вялым и неконтактным. Он не загорался внутренней идеей отъезда, и Астра думала: вот она, разница крови. Вообще с той минуты, как где-то на облаке желания поселился шинкарь, Астра думала о собственной крови с нежностью, смешной для пожилой леди. Николай Сергеевич новаций в природе супруги не заметил и был, грубо говоря, не в курсе. Астра даже присмотрела себе новое имя, более подходящее ее новому составу. Например, как она узнала, еврейским было имя Анна. Кто бы мог подумать, но нате вам: Анна Каренина носила еврейское имя. На него Астра и наметила сменить свое. Пока она туда-сюда хлопотала над ономастическими задачками, Николай Сергеевич

ушел в себя так далеко, что окликающая его жена не получила ответа, обиделась, но и этим его не проняла, а когда он сподобился вернуться из собственного забредания, то очень удивился, обнаружив в доме малознакомую женщину с оскорбленно поджатым ртом. Николай Сергеевич печально задумался над всем этим, но задумался тайно. Он как-то враз решил, что его последующая жизнь не будет и не должна проистекать из предыдущей, и, опять же в тайне, высадил план новой жизни в виде письма в город Таганрог, где должна была быть его родственница, потомственная хранительница чеховских мест, покинуть которые она могла, только если бы случился разлив Азовского моря с последующим затоплением Таганрога. Но и тогда... Впрочем, это уже страшное. Николай Сергеевич чувствовал желание прибиться к другому берегу. Но Астра была как бы без понимания. Она дотошно выясняла, сколько ей может стоить перемена паспорта, в котором она уже Анна и еврейка, с другой стороны, она не хотела, чтоб это стало достоянием всей улицы. Процесс шел тайный.

Как естественно и легко раздваиваются тропы. Это хорошо видно, если зависнуть на старенькой самолетной стрекозе, зависнуть и восхититься мудростью раздвоенных, расчетверенных дорог. Если же нет У-2 — а его нет, и неоткуда взять простому человеку, — то можно зависнуть и над муравьиной кучей. Тоже красиво и наглядно. Как в

анекдоте про пограничника, который сравнивал на вкус до боли родное слово «ж...» с чужим и неизвестным — «дупа». «Тоже красиво!» — восхищался он, удивляясь нудности языка, который для замечательного места в любом народе находит замечательное слово. Так и мы...

Не мы — Астра и Николай Сергеевич. Они еще живут вместе, но тропы уже торят разные.

Когда Астра снова приехала в Москву с уже новеньким паспортом (два миллиона и золотые серьги — еще то золото — с камушком никаким, но как бы бриллиантовым), она застала там странную женщину в балахонистом платье, которое могло скрывать все, что угодно, — и шестьдесят кгзэ, и восемьдесят пять. «У вас платье на вырост», — сразу, с порога съязвила Астра, ибо была уже Анной, была другой и могла легко, с места в карьер сказать человеку возникшую мысль-гадость.

— Я люблю такие, — сказала женщина. — Я не люблю давление вещей.

Анна хотела ответить, что еще не пришло время носить на себе мешки, парашюты и плащ-палатки, время сейчас другое, время Дживанши и Версаче, ей ли, портнихе, это не знать, но не сказала. Смолчала. Зачем накалять атмосферу не по делу, надо еще разобраться, кто она, эта дура.

Через пять минут балахонистая уже плакала на груди у Астры-Анны. Та сразу вспомнила де-



вочку с неукротимыми кудрями, которые они с Лилькой выпрямляли при помощи прищепок.

— Боже!

— Боже!

Вошла Майка, хмыкнула. Несколько дней тому назад она категорически воспротивилась этой тетке из Киева. (Знаем мы вас, знаем! Я ваша тетька, приехала из Киева. Я буду у вас жить!) Но в конце концов на порог пустила, долго рассматривала паспорт, в котором ничего, ну ничего не указывало на родственные связи. Майка считала, что упомянула бы, если б слышала раньше, имя — Мария Григорьевна, с перебором рычащих звуков. Она еще не забыла собственное выкарабкивание из детской картавости. В конце концов, родственница оказалась вполне нормальной. Выяснилось и приятное: где-то есть и сестренка из Риги. Возникло странное ощущение: пустоту, оставленную матерью, стала бурно наполнять неведомая родня. Майка выросла в суровом климате родственных отношений: ни на чью грудь припадать было не принято. Даже матери. Ошибочка вышла с разводом. Но тут Лилия Ивановна сама вмешалась. Возникшая из ничего родня смущала Майку. Когда тетя из Киева шла ночью в туалет и Майка слышала щелчок выключателя, она сонно думала: «Сиротой быть лучше».

Потом число щелчков увеличилось — приехала еще и тетя Астра. Сыночек Дима заперся в комнате, какое счастье, что есть такая возможность, и выходил только, когда «старух не было», те же

царапались к нему в дверь, каждая со своим киндер-сюрпризом, но упрямый мальчик дверь не отворял и молчал как убитый.

— У него нет момента аутизма? — спросила близкая к медицине тетя из Киева.

Майка шваркнула сковородкой по плите, а могла бы и поосторожней, как-никак металлокерамика.

— Он просто засранец! — сказала она. — Имеет всех нас в виду.

Астра нежно вспомнила Жорика. Всегда выходил к людям и здоровался, неважно даже как. Но выходил. И факт — здоровался.

Мария тоже вспомнила Лайму, воспитанную девочку. Но, может, у нее это балтийское?

Скажи она это вслух, они бы с Астрой сцепились: та вся сейчас состояла из крови шинкаря и отца-еврея, и ей даже казалось, что ее ишемическая болезнь стала вести себя несколько иначе, поддавшись грамотному определению. В конце концов, внутренняя жизнь организма человека — это такая тайна, что ни в сказке сказать, а пером написать вообще глупо.

Приложив ладони к тому месту, где под покровом тканей полагается быть сердцу, Астраанна думала об удивительном полете, который ей предстоит. Она видела под собой лужу записанного человеками Черного моря, плавно парила над неизвестным Средиземным, она оставляла за собой горы и поля и шептала ишемическому сердцу слово, которое слышала в ателье, когда по требова-

нию молоденькой и прыщеватой заказчицы все завыхала и завыхала той подол. Уже хорошо и четко ей, снизу, виднелись беленькие трусики и бедра хорошей лепки, от колена до паха — просто загляденье. Так вот на какой-то ей одной известной высоте юбки прыщавенькая разрешила остановиться и сказала это слово: «Кайф!»

Теперь вот, мысленно пролетая над бросаемым Отечеством, Астра произнесла именно это слово, и сердце отдалось высокой и пронзительной экстрасистолой.

О чудность человеческих природ! Русской и еврейской. О великий антагонизм кровей, одинаково закодированных Создателем! О великое учение, придуманное евреями и агрессивно захваченное русскими как свое, собственно рожденное.

Такая грязь у помоек, какая существует в еврейских религиозных дворах в славный праздник Песах (Пасхи), существует всегда в русских дворах, за исключением одного дня — праздника Пасхи.

Таинственные, перепутанные кровями и идеями чудики земли.

И смеющийся сверху Бег, который смеется над этими двумя, даря им все и все отнимая.

Астра смотала удочки. Не насовсем. На пока. Чтоб потом вернуться и забрать Николая Сергеевича. Ей и в голову не приходило, что переписка

мужа с Таганрогом шла вовсю и ему уже было найдено место в семье хорошей вдовой женщины, тоже хранительницы какого-то музея. Эта женщина уже радостно ждала мужчину для оставшейся жизни и даже сходила к гинекологу на предмет что и как. У вдовицы все было в порядке. И тропа не заросла.

На что Николаю Сергеевичу было намекнуто в письме чеховской хранительницы. Он взволновался и выпил настойку пустырника. Астра как раз ходила ставить набойки на удобные немецкие туфли. Все-таки дорога, хотя и полет. Она хихикнула над этим, чувствуя в себе молодую траву радости.

Так и улетела в чиненой обуви с ощущением парадоксальности понятия «удобная обувь для полета в небесах».

Уехала и Мария. Она и провожала Астру, и все домогалась, когда та вернется, чтоб ей приехать и встретить. Но Астра виляла, от ответа уходила, а новая родственница нервничала: вот-вот обрела сестер — и сразу потеряла. Одну так в прямом смысле, а другая просто вся дрожит от самолетного нетерпения.

В этот момент у Марии началось то, что когда-то уже было, — страсть собрать семью. Она еще не оформила это в конкретное желание, но снова прицепилась к Астре, как репей: когда, мол, и когда? В смысле — вернешься...

Ей и в голову не могло вспрыгнуть, что клокочущее Астрино нутро просто сдерживало страст-

ное «никогда! никогда!», хотя в голове этого еще не было. (Тут разница в ощущениях нутра и головы.) Сдерживалась же Астри по простой причине: в дорогу слова отрицания (в данном случае — «никогда») не говорятся. Нельзя на дорогу прощаться навсегда. Такая есть примета, а может, и не примета, а что-то большее и значительное, например, знание силы слова говоримого. Сказал — считай, что сделал, и это не шуточки, потому как по невидимым проволочкам побежал звук, завертелся спиралью — и пошло-поехало.

На Майку наступило одиночество, ощутимо так, будто босой ногой. То было столько пожилых теток, которые задевали мятыми турецкими юбками и пахли дешевым мылом. На всю жизнь оторопелые их глаза тайно высматривали в ней нечто им нужное почти до задыхания. Они ее тяготили, раздражали манерой часто пить соду, а еду заглатывать торопливо, не жуя, будто это последняя их пища. Исчезнувшая мама была такой же, вдруг подумалось Майке, просто она делала другой вид. Мол, я не такая.

Теперь вокруг нее никого. Только сын за постоянно запертой дверью, в которую ей нет ходу. «Не мешай, мама!» Майка куталась в пуховый платок, подаренный Астрой, никакой балконный ветер не мог выдуть из него запах нафталина, жареных семечек и каких-то примитивно стойких духов. Но уже через время она вдруг почувствовала: чужеродный, даже как бы неприятный дух вошел

в нее и стал своим. С этого момента где-то в самом сущностном месте ее природы стала стремительно выпрямляться линия судьбы, о которой ни одна клеточка мозга не знала. Мозг не знал судьбы. Он был самодостаточен и в линии не верил.

## 17

Астру поселили в салоне, комнате главной, всеобщей и ничейной одновременно. С шести утра мимо нее начиналась странноватая мелодия другой жизни. Внуки влезали в футболки, снятые прямо с просушки. Жорик застил свет волосатыми ногами и плоскими жесткими коленями. На взгляд Астры, шорты начинались очень высоко, если смотреть на сына так, как смотрела она, с лежащего положения. Невестка носила тигриные лосины, и Астрада стыдилась ее не смыкающихся ног. Самое невероятное — ноги были предметом гордости невестки, именно такие — растущие как бы сбоку. Такие ноги имели одну задачу — они носили тело невестки, и Астрада с силой вдавливала именно эту педаль: носите ее, ноженьки, носите! Дай ей Бог здоровья!

Внуки ее не замечали, они включали телевизор в полседьмого, когда она деликатно притворялась спящей. Они садились на пол и пугали в ее сторону. «Это замечательно! — думала Астрада. — Они здоровенькие и веселые». Педаль любви, которую она держала на пределе, уже слегка проваливалась, но ведь она приехала любить! Она при-

ехала любить навсегда. В ней бурлила кровь отца и змеился ручеек таинственного шинкаря. Она имела правильные документы. Она носила еврейское имя Анна. Она ждала, когда Жорик скажет:

«Правда, у нас хорошо?»

«Да! Да! Да!» — закричит она.

«Ну так в чем же дело?» — скажет он так трогательно и по-детски потянет носом, а она ему строго попеняет: «Жорик! Сынок! Ты большой мальчик, а так и не научился пользоваться платком». — «Да ну тебя, мама! Свои же сопли в себя же и тяну».

Они сядут рядком и будут кумекать, как все оформить, чтоб и Николай Сергеевич потом приехал. Они не с пустыми руками явятся — они продадут все!

Так она мечтала. Не зная — слава богу, и не узнав, — что Николай Сергеевич уже сидел под вишней у смотрительницы музея, не той, что сторожила Чехова, а у другой — намеченной ему на жизнь. Николаю Сергеевичу нравились и женщина, и вишня. Нравилась укорененность и той, и другой именно в эту землю, без всяких выбрыков сняться с места и податься черт-те куда. Когда Николай Сергеевич думал об Астре применительно к ее фантазии эмигрировать, он начинал испытывать что-то нехорошее, недоброе, он становился обиженным и оскорбленным сразу.

Конечно, можно сказать, что у сестер была закодирована ущербность выбора, если в конце концов они западали на идеологических патриотов, у

которых родина — вишня. Но это не так. Сочиняющий слоганы Свинцов был совсем не Николаем Сергеевичем и наоборот. Николай Сергеевич был слеплен из другого теста, чем Свинцов. Если Свинцов натужно гордился пространством, то Николай Сергеевич просто боялся изменений собственной географии. Ему покойно было жить далеко от границы, в самой что ни на есть середине. Потом он гордо скажет: «Я центрист». Но это потом, когда он окончательно укоренится рядом с вишней. И придет время этому слову. Пока же Астра нахально лезла на ребро, а он с этим согласен не был.

— Она еще пожалеет, — сказал он новой своей подруге, но той не хотелось думать так. «Пусть не пожалеет, — считала она. — Тогда этот культурный мужчина останется со мной».

— Мы не будем ей желать зла, так ведь? — деликатно сказала она Николаю Сергеевичу.

— И думать нечего! — ответил тот.

Как же можно желать зла человеку на ребре? Это какую же надо иметь совесть!

Они хорошо сходились, эти оба два.

А там, где была Астра, где она ожидала от сына важных, сущностных слов, происходило совсем другое. Истекал срок пребывания матери у сына, а никаких намечтанных слов ею услышано не было. Астра не сомневалась: слова эти существовали в голове у Жорика, просто он не замечает, как быстро летит время, а им ведь многое предстоит обсудить до того, как она поедет в последнюю по-



ездку на свою первую (эта, конечно, вторая, хотя и первая по глубинной сути) родину.

Как-то на большой лоджии, где только у ее детей ничего не росло и не завязывалось, она сказала невестке, цепляющей мокрые детские футболки:

— Я потом здесь все посажу. Я завью вам зеленую солнечный бок, где палит. И столик белый купим, со стульями. Как у тех... — И Астра ткнула пальцем в соседнюю лоджию, где под ярким зонтом стоял балконный гарнитурчик.

Невестка замерла с вытянутыми вверх руками, по ним вниз, под мышку, стали наперегонки скатываться капли с плохо отжатых футболок.

И еще у невестки слегка открылся рот, и в нем — было видно — дрожал почему-то желтый язык. Видимо, от экзотических фруктов, которые та ела корзинками.

Нет, невестка ничего не сказала. Шумно выдохнув, она закрыла рот и в один миг прищепила белье.

Вечером Жорик спросил мать, что она хочет, чтоб они ей купили в память о поездке. Именно так, четко, было проартикулировано. Память о поездке. Рапан там с надписью «Привет из Хайфы!». Сувенирные стеклышки с волнистыми линиями, изображающими море, и белыми пятнами облаков, на которых млеют какие-то неведомые слова.

Значит, и ей, Астре, полагался израильский рапан — и никаких слов? И больше никаких слов?!

— В следующий раз приедем уже мы, — зата- раторила невестка, — еще не на следующий год, но потом...

— У отца какой размер? — перехватил мело- дию разговора Жорик.

Это она, Астра, настояла, чтоб сын называл Николая Сергеевича отцом. Но сейчас ее это по- чему-то царапнуло. Может, каким-то неведомым путем пришло к ней знание о соприкосновении двух рук на клеенке под вишней — руки храни- тельницы музея и руки ошущенного, как быв- ший, мужа? А может, было другое? Просто Астра засобиралась в неведомую дорогу, еще не осозна- вая, что это за дорога и куда она ведет.

Она вскочила, что-то залопотала про то, что хочет пройтись. Она стала фальшива и неестест- венна, но ни Жорик, ни невестка этого не заме- тили. Суетится перед отъездом старуха — подума- ешь! К тому же сама она ощущала в себе странную горе-радость побега. Оказывается, горе-радость гнездилась где-то глубоко и, видимо, гнездилась всегда, а вот сейчас взяла и расщеперила смятые, волглые крылышки и норовит взлететь, норовит взмыть эта ее птица побега.

Таким вот образом и оказалась Астраанна на тахане-мерказит, по-простому — на автобусной станции, где можно было сесть на длинную лавку, а спиной прижаться к бетонному столбу. Очень хотелось вытянуть ноги, и она подняла их на сво- бодное место. Подняла и удивилась, как далеки от нее оказались детские носочки на ее ногах, в ка-

кой-то такой необозримой дали, что ей теперь до них как бы уже и не добраться никаким живым путем.

Уже потом, потом была суета поисков, больница, бородатый доктор Хаим, думающий свою странную думу о еврействе вообще и о себе в частности... Были телеграммы Николаю Сергеевичу и полная тишина в ответ, пока Жорик не вызволил какого-то приятеля, который и сообщил ему: а Николай-то Сергеевич канул! Был, был и канул. Ни куда, ни зачем — народ не в курсе. Были новые, уже израильские, приятели Жорика, хорошие ребята, которые сказали: хорони здесь. Как мать и как одинокую там, в России. Тут-то и пригодились выправленные под знаменем шинкаря бумажки, и легла Астраанна в землю обетованную, как того и хотела. В конце концов, все было правильно. Это она, а не кто другой, запевала в хоре песню: «Все мечты сбываются, товарищ, если только сильно пожелаешь, если только захотеть, если только не робеть...» — и так далее в том же напористом темпе, с большим количеством вложения души в горло.

## 18

Майка мерзла в пуховом платке. Она не знала, что носит подарок уже покойницы, она как раз обижалась, что тетка не написала ни словечка, откуда было ей знать, что Жорик звонил, но по ее старому телефону — попробуй уследи за нашими переменами, — и его послали куда надо, послали

даже с некоторым перебором чувств, мол, пошел ты, жидовская твоя морда, нету тебе тут знакомых. Это был сын Филиппа, пасынка исчезнувшей Лилии Ивановны. Парень просто был пьян и зол. А тут по телефону голос издалека, со специфической синкопической мелодией. Да кто ты такой? А? Чтоб меня тревожить?

Жена Жорика криком закричала, что в «эту страшную страну» она не пустит мужа, даже если маме (именно так было сказано об Астре единственный раз в жизни) придется лежать в холодильнике всю оставшуюся жизнь. Или смерть? Или жизнь после смерти? Или смерть после жизни? Но последнее — глупая глупость, потому как и есть истина. Хотя разве истина может быть глупостью? Именно она и может!

Сама же мысль душу саднит. Что есть пребывание человека в холодильнике? Он уже там или еще тут? Трудно же как-то вообразить душу, на которую мы так стали рассчитывать, что она, как беспутная дочь, отлетит от еще вчера согревавшего ее дома с нахальным вскриком: «Да разбирайтесь сами с вашим грубым материализмом! Меня заждались в четвертом измерении».

Нет, мысль о лежащих в холодильниках людях (?), и, как известно, в большом количестве, саднит.

Невестка сомкнула несмыкаемые колени и закричала:

— Хороним здесь!

И это было хорошо и окончательно.

Майка же мерзла. Мерзла и мерзла. И только когда прошли все сроки возвращения тетки, сама вызвонила Жорика по справочному. И тот ей оскорбленно (за телефонное хамство Филиппова сына) сказал, что маму похоронили по всем правилам. Случился инсульт, можно сказать, в последний день, как раз собирались идти покупать сувениры.

Майка плакала в пуховый платок, ощущая себя, как на юру. Дуло, сквозило со всех сторон, а пуще всего со стороны запертой двери, где сидел у ухмыляющегося компьютера сынок Димочка. Дорогая машина смеялась над женщиной, потому как была бессмертна и не отягощена мелкостью человеческих чувств. Тоже мне — смерть. «Все сдохнут», — глядя в лицо Димочке, сказала машина, но он, юный, не понял ее, потно держась за «мышку». Повелитель мышей, он верил в машину больше, чем в маму, одиноко стоящую за дверью.

Только психическим нездоровьем можно было объяснить, что Майка позвонила бывшему мужу-кавээнщику.

Тот был рад. Ему нравилось собственное участие в судьбе бывшей жены. Ему нравилось и то, что она теперь жила квартирно совсем хорошо, и иногда — иногда! — он видел себя в тех стенах, и вариантность жизни, возможность выбора делала судьбу терпкой и даже пьяноватой. Только случай — какая-то вонючая презентация — помешал ему приехать к бывшей жене сейчас и сразу. А у

Майки таким образом оказалось время, чтобы написать письмо Марии. В конце концов, при более внимательном рассмотрении обнаруживалось: смерть тети Астры могла заинтересовать Марию больше, чем ее бывшего мужа. И та примчалась из Киева.

На это расчета не было. Нет, не в том смысле, что Майка была ей не рада, но, скажем, и не настолько рада. Мария — родственница приبلудная, иначе не скажешь. Тетка она ничего себе, но чтоб вот так явиться не запылиться... Мария начала с дурного: покойницу надо перевезти на родину, туда, где лежат бабушки и дедушки, что только так, по-людски, а не иначе.

— А где они, могилы? — спросила Майка. Вопрос на засыпку. Мария не знала, где лежит ее матушка, до сих пор ничего не знала об исчезнувшей матери и Майка. Она кричала всем: «Она уехала от меня на лифте!» Некоторые спрашивали: «Вверх или вниз?» — «Вниз!» — отвечала Майка, и люди как-то загадочно переглядывались, как бы намекая на бесконечность движения лифта вниз вплоть до...

Майка отвергла глупость перезахоронения. «Тоже мне Шаляпин», — сказала она, имея в виду незначительность Астриного праха. Мария как-то сразу согласилась, проявив бессмысленность напора своих предыдущих слов. «Да, да, она же осталась с сыном», — согласилась Мария.

Майка уже жалела, что Мария приехала; она

не облегчает внутреннюю смуту, а надсаживает душу еще сильнее и больнее.

Утром Мария вышла из комнаты с новой идеей. Они все — она, ее дочь Лайма, Майя, сын Димочка — должны съездить на могилу Астры. Это их долг.

«Боже! Какая она идиотка! — подумала с тоской Майка. — Какая законченная и клиническая идиотка».

Она так и сказала: «Это чушь, тетя Маша, чушь! У нас просто нет денег».

«Тогда я поеду одна», — ответила Мария.

«Воля ваша», — буркнула Майка.

Они раздраженно пили чай. Нет, не так. Раздраженно пила Майка, а Мария сидела замолкшая, отстраненная. В этот момент она мысленно предлагала поездку дочери Лайме, и та ей отвечала так, как она отвечала всегда: «Мать, надо думать, прежде чем...»

Ну да, ну да... Русско-балтийские скорости у них не совпадали. И чем дальше, тем больше Лайма становилась дочерью своего отца Франца и внучкой потомственной рижанки. Отделение от матери было мягким и холодным. Мария слабела от несправедливого хода вещей, а слабость делала ее покорной. Разве она имеет что-то против своей свекрови? Боже сохрани! Одна любовь и благодарность, но получалось — именно на этих замечательных чувствах уплывала вдаль единственная доченька. «Надо думать, прежде чем...»

Стремление на могилу Астры стало ее манией.

Поездка на ту могилу закрывала для Марии какие-то внутренние пустоты. С точки зрения ходового здравого смысла это, конечно, дурь. Но при чем тут смысл? Более того, отодвигание здравого смысла в сторону — посторонись, дескать, — и было главным в поездке. Поди ж ты, какая чушь! Но с некоторых пор все больше краешком ума касаешься этой весьма небогоугодной идеи — не эта ли последняя, что на букву Ч, и движет Солнце и светила? Крутись они от другой буквы, стало бы с людьми то, что стало?

Мария написала письмо Жорику. Представилась. Двумя фразами очертила общее детство с его матерью. Попросилась приехать. Она не знала, что в доме Жорика возник скандал из-за тетки, про которую никто не слышал.

Жорик позвонил Майке. Та сказала: «Не бойся. Она хорошая, только забубённая. А кто сейчас без прибабаха? Или ты хочешь, чтобы я ее отговорила? Сказала, что у вас там бомбят или тропическая болезнь?»

Но Жорик оскорбился: он вынесет на своих широких плечах неизвестную родственницу, если не больше недели. «Вот об этом предупреди ее обязательно, скажи, что у нас человеческий перегруз».

И Мария получила приглашение.

На нее обиделась прибалтийская родня. Не было сказано никаких таких слов, но мимика и



жесты были. Мария приехала в Ригу приодеться на далекую дорогу, чтоб Лайма научила ее, как ей лучше выглядеть. «Если бы я их не знала, — думала Мария, бродя по кромке воды Юрмалы, — я бы решила, что они антисемиты. Но это не так! Они спасали в войну еврейскую семью. Это все знают».

Могло ли ей в голову прийти, что тут другое? Что само желание Марии слепить прошлое их раздражает как действие бессмысленное, никчемное и даже в чем-то богопротивное. «Нельзя вернуть ушедшую воду», — сказала ей свекровь.

Мария чуть было не лягнула, как она возвращала ушедшую воду, ездя в Кемерово и обратно, как держала на руках сомлевшую на Рижском вокзале их бабушку, но смолчала. Куда бы привело выпячивание этой истории? Ведь для нее это было счастье, которое уже само по себе награда. Она смолчала, потому что совсем недавно как-то сами собой сложились слова: «Не надо спорить. В споре не рождается истина. В споре рождается склока».

Конечно, ушедшую воду не вернуть, но поставить свечу на могилу Астры от них от всех — она поставит. Это бесспорно.

При первой ветрече с Жориком Марии бросилась в глаза прерывистость его бровей. Размашисто и лихо начинаясь у переносицы, бровь как бы уставала и теряла силу роста в середине, создавая лысую прогалину, но потом, опоминаясь и собираясь с духом, бровь мощно и красиво закан-

чивала свой бег на финише виска. Лайма каждое утро зарисовывает такой же изъян карандашом, а Жорику не надо, он мужчина, ему замечать такие прорехи природы ни к чему. Мария прижала к себе Жорика. Могучий ген родства, так мгновенно обнаруженный под крышей Бен-Гуриона, придал ей какую-то неведомую силу, но одновременно и слабость, ибо показал бессмысленность человеческих ухищрений, когда речь идет о самом родовом знаке! Конечно, для Лаймы он ничего не значит, и она будет чернить прогалинку, и Жорику на это плевать. К их жизни это не имеет никакого отношения. Жизнь будет идти своим чередом, но в какой-то неведомый момент именно прогалинка подскажет им шаг или слово, которые будут едины в своей сути.

Мария оробела от собственных мыслей. Они были больше ее самой, и она стеснялась быть внутри их, как стеснялась своих рижских одежек, очень пестрых и излишне изысканно вывязанных.

Все было мило и по-родственному. Она спала на месте Астры, но не знала об этом. Ее умиляла утренняя круговерть чужой жизни и следующая за ней какая-то особенная тишина. В ней, тишине, Марии слышалось легкое спорадическое потрескивание, так звучит старое полотенце, разрываемое на кухонные тряпки. Она хотела понять, откуда идет этот звук, — и не понимала. Треск не пугал ее, скорее, занимал, она даже выходила на лоджию и смотрела на синее, синее не-

бо, ища на нем следы самолетов, преодолевающих звуковой барьер. Но ведь она знала, что это не самолеты.

Поездка на кладбище была просто поездкой на кладбище, и ничем больше. Единственное потрясение — она не могла толком вспомнить лица Астры, оно рассыпалось на фрагменты, которые упорно не соединялись вместе. А что удивительного? Она видела ее в жизни один раз, если не считать наголо стриженного детства.

Вечером Жорик купил бутылку вина, и они помянули Аструанну. Еще Мария съездила на тахану-мерказит и постояла там. Лавочек было полно, глазом не окинуть, и где присела идущая по последнему следу покойница, не узнать.

За три дня до отъезда Жорик отправил Марию на экскурсию в Иерусалим. Мария обрадовалась, но сильнее взволновалась.

С ощущением робости вступила она на землю Древнего города. И первое, что почувствовала, — жар. Город входил в ее ступни внутренним огнем. Такое уже было в ее детстве. Было! Когда она оказалась судьбой и войной в семье двух девчонок. Она застыла тогда на морозе, отец уже оттирал ей руки, пока они ехали на подводе со станции. Как-то женщина по приезде усадила ее к печке, ногами к духовке. Стало так хорошо и счастливо от печной теплоты, от этой женщины с легкими руками, не беспокояще раздевающими ее.

Так же теплом и покоем входил в нее Иеруса-

лим. Дальше начиналось странное, чудное, хотя странным и чудным это все-таки не было. Все было естественным, как согревание после мороза.

Она узнавала Иерусалим нутром. И еще она его угадывала. Так она признала сразу храм Святой Анны, бабушки Христа.

Хотя смешно сказать — признала. Что, она подозревала о его существовании? Что, она хоть раз подумала о том, что у Божьей матери, к которой она всегда тайно обращалась — а к кому же еще? — была своя мама? И существовала какая-то их человеческая жизнь, и была она, видимо, бедная, видимо, с болезнями — а какая же еще?

Оказалось, есть храм Бабушки. Мария еще не была бабушкой, хотя все ее сверстницы уже имели совсем взрослых внуков. Ее это не беспокоило. Значит, не время, думала она. Но, переступая порог храма, знала, о чем будет просить, — о внуках.

Случилось же странное. Их попросили тихонечко попеть, в четверть голоса, чтобы убедиться в огромной силе резонанса этого храма. Тихая песня, сказала гид, будет слышна всюду, такова особенность сводов. Экскурсия засмущалась: как это, взять и запеть? Но одна дама из Нижнего Тагила, которая все время задавала гораздо больше вопросов, чем существовало ответов, вызвалась спеть. Потому что, сказала она, всегда все надо проверять самой. Пизанская башня — объясняла она свое желание пенья — никогда не упадет, это только реклама. Она там была и колупала пальцем стену — такая кладка! А самого наклона — чуть!

Подняв храбрый, экспериментаторски настроенный подбородок, дама запела во всю силу открытого рта, видимо, считая именно такое пение более годным для проверки.

Пусть бегут неуклюже  
Пешеходы по лужам,  
А вода по асфальту рекой, —

взревел храм. Пешеходы просто рухнули им на головы. Вместе с лужами и асфальтом. Ах, это пение утробой из всех физических сил! Что бы подумать и привлечь голову как резонатор, или сообразить о возможностях свода неба и тайности носовых пазух? Может, тогда и не надо бы так надирать глотку? Но мы именно так распрягаем коней.

Потом от смущения и неловкости много смеялись. Но никто их не одернул — нельзя, мол, смеяться в храме, низ-з-зя. И тогда к ним стал возвращаться их собственный смех. Но возвращался он другим. Он был отмытым и легким, как детские слезы.

Расправив ладошки к солнцу, по-восточному сидели вокруг храма японки-христианки и что-то шептали бабушке Христа. Это было так ей знакомо, будто она сто раз уже была японкой или кем там еще, и будто это ее узенькие руки были повернуты сейчас к солнцу. Она посмотрела на свои — широкие и, что там говорить, достаточно мощные, с шершавыми от медицинской химии пальцами. В них тут же упало солнце. Хотелось так и

идти вперед с распахнутыми руками и солнцем в них.

Город поглощал ее узкими улицами, кладкой камней, наклонами переулков. В конце концов, она сказала городу: «Да хватит тебе! Я не жадная, смотри — сколько меня, и я вполне могу поделиться с тобой своей кровью».

Тут-то она и напоролась на разбитую керамическую чашку, задетую немецким фотолюбителем, замороженным лавкой с разнообразными глиняными причиндалами. Большой палец на ноге, торчащий из босоножки, изо всей силы, вкусно наступил на острячок от чашки. Она не понимала суеты вокруг себя, всеобщей виноватости, как будто это не обыкновенный ножной палец, а некая вселенская поруха, которую надлежит исправлять всем миром.

А тут еще этот немец-фотолюбитель, совсем старый, растерянный и неуклюжий. Из его выцветших глаз вдоль коллоидного шва через щеку текли слезы. Мария знала, они старческие, непроизвольные, и на них не нужно обращать внимания. Ей не хотелось тратить на утешение старика время, и она твердила ему: «Гут! Гут!» — в смысле все хорошо, а он ей на невероятном русском вышамкивал что-то типа: «Зер извиня... Их стар дурэнь...» Если бы не немка, то ли просто посторонняя немка, то ли родственница, которая увела его, Марии было бы не спастись... Старик напоследок сунул ей визитку — зачем? Она положила ее в карман ветровки, которую взяла на вся-

кий случай. Она не могла, не умела объяснить ни этому немецкому деду, ни толпящимся вокруг нее людям, что капля ее крови — это ее договор с Городом, скрепленный маленькой кровью на его земле.

Но кровь, конечно, тут же вытерли, а палец обиходили, как куколку, и надали чего только не...

Мария кланялась и благодарила, благодарила и кланялась. Кланяться было неудобно, ее как бы тяжелил город, живший в ней.

Уже вечером Жорик сказал: «Извините, вы дура. Вы могли с них столько взять, потому что у вас страховка. Вам же надали кучу говна!»

— Жорка! Дети! — закричала его жена.

— Брось! — сказал он. — Мы теперь вполне можем общаться матом, они в него не въедут.

Разговор был Марии неприятен, он мешал ее состоянию... То, что было в ней, было сильным, горячим, а разговор о страховке был холодным и липким. Под каким-то удобным предлогом Мария вышла на лоджию. На сиреневом закатном небе слева от нее чернел холм. Он был графичен, как пирамида. Сумрак скрывал на нем зелень деревьев и кустов, которые виделись днем. Сейчас же, без всяких лишних одежек, он был тем, чем был. Холмом в чистом виде.

— Какой красивый! — сказала она, как казалось ей, тихо.

— Это холм царя Соломона, — ответила ей с соседней лоджии женщина, которую она считала африканкой.

Африканка ответила ей по-русски?

— Да? — растерянно переспросила ее Мария.

— Да! — ответила шоколадная женщина и ушла в квартиру.

— А соседка, оказывается, говорит по-русски! — закричала она, возвращаясь к Жорику и его семье. — Она мне сейчас...

Семья вытаращила на нее глаза, а Жорик, с трудом скрывая раздражение, объяснил, что соседка — эфиопка, она не может говорить по-русски по очень простой причине: она не знает русского языка.

— Но она мне сказала, что тот холм — холм царя Соломона, — растерялась Мария.

— Тетя Маша! — закричал Жорик. — Вы тут у нас перегрелись! Сообразите своим умом, неужели бы мы, евреи, не знали об этом и не сделали из этого холма игрушечку? Мы бы имели с этого дела бизнес, если бы эта куча чего-то стоила. Но это просто куча земли! Просто! Даже если она встала торчком по воле Божьей. Соломона тут и близко не стояло. Я вам тоже говорю по-русски.

— Я хочу на него подняться, — пробормотала Мария. — Просто пойду завтра и подымусь. А что такого?

— Идите! — сказал Жорик. — Идите и идите! Увидите своими глазами, что это именно то, что я вам сказал.

Ночью она почему-то взволновалась. Сама себе она объяснила свое состояние так: приехала за тридевять земель, а не сумела связать концы, не подружилась с этой частью семьи, а ей послезав-



тра уже уезжать. Поверхностностью своих мыслей Мария скрывала главное, откуда и шло беспокойство. Говорила ли с ней эфиопка на русском языке или у нее на самом деле от жары отшибло памороки? Как странно вспомнилось! Именно так говорила своим девочкам Лилии и Астре их мать, когда они что-то забывали или поступали по-дурному. «Отшибло вам памороки!», — кричала мать и подымала руки вверх, какие-то излишне длинные руки, которые могли достать отовсюду, а она, Мария, была тогда такая забитая после того, как увели ее голубоголовую мамочку! Она боялась длинных поднятых рук. Завтра она обязательно поймает эфиопку и спросит ее как бы ненароком о чем-нибудь по-русски.

Но утром случилось другое. Возник гость. Давний знакомый Жорика с бывшей родины, человек с весело-бессмысленным лицом, какое случается за границей, когда не обязан рисовать на лице мысль, потому как для этого существует специально отведенное время и место жизни.

А за граница — отнюдь не то место.

У жены Жорика в глазах взметнулось смятение — еще один на голову и как бы готовый остаться на день-два. Мария отозвала ее в сторону и рассудительно сказала, что, если так все складывается, она запросто уедет в аэропорт вечером и переночует там в кресле, это для нее ничего не стоит.

— Правда? — радостно спросила жена.

— Чистая! — ответила Мария, уже понимая, что в любом случае, независимо от гостя, ей лучше сегодня уехать. У нее остался только холм, который она сама себе придумала.

— Мы все пойдем на холм! — вдруг закричала жена Жорика.

Благодарная Марии за такой замечательный выход из положения и будучи правильно воспитанной семьей и школой, жена Жорика считала нужным отвечать добром на добро. Поход на холм с этой ненормальной теткой, которая тем не менее разумно решила уехать сегодня, был адекватным ответом «от нашего стола — вашему столу». Опять же! Этот новый гость тоже должен был быть подвергнут культурной программе. Семейная вылазка вполне годилась для этого. Теперь, чтобы оторвать детей от компьютера, надо притащить из чулана велосипед и коляску, а также запастись водой и чипсами.

Жорик был потрясен дурью жены, но она увела его в спальню, и оттуда он вернулся спокойным и удовлетворенным. Гость отметил это и гикнул, на что Жорик сказал:

— Ты пошляк и только про это и думаешь. А у нас целая стратегия.

Гость гикнул снова, удивляясь качеству стратегии, при которой принесенная бутылка остается на столе, а люди прутся на какую-то забубённую горку, на которой — невооруженным глазом видно — нет ничего. Одно утешение — близко. Бутылка не заждется.

Так и вышли. Жорик, жена, двое детей, гость, Мария, велосипед и коляска. Уже на улице старшенький сел на велосипед, младшенький в коляску, в коляску же были поставлены вода и полиэтиленовая пища.

Через пять минут уже стояли у подножья.

Заросший мелкой порослью пригорок был по-русски неухожен, повсюду валялись сплюснутые банки, а травинку клонили к земле высосанные жвачки. Вершина холма была слегка надкусана и затрапезна, низводя на нет само сочетание «Холм царя Соломона». «Глупо как тут», — подумала Мария. На экскурсии в Иерусалиме ей объяснили, что царь Соломон знаменит строительством храмов и водопровода. И еще он был философом и писателем. Но обо всех древних здесь говорили в превосходной степени. Евреи откровенно чванились своим давним прошлым. Мария пыталась вообразить себе Соломона, каким он мог быть тысячу, две — или три? — лет назад, но на ум шла стоматолог Раиса Соломоновна из их клиники. Однажды Мария по линии профкома посещала ее во время болезни — калькулезный холецистит — и видела ее отца, старичка в шапочке и пуховом платке на плечах. Он был Соломон. Мария же подумала о нем тогда: «Плюшкин». Таким ей виделся гоголевский герой, и она чуть было не ляпнула это на работе, но вовремя прикусила язык, потому что это было бы с ее стороны не-

этично: прийти в гости с добрыми намерениями, а потом обзывать.

Вот такой Соломон и возник сейчас в голове у Марии, и данный, неухоженный холм вполне соответствовал старику — не то мужику, не то бабе. Кажется, так.

Но раз пришла, значит, надо взойти. И Мария взрастила в себе чувство благодарности за водопровод. Хороший водопровод, их водили, им показывали. А она смолodu считает правильным помнить добро, сделанное даже не лично ей — людям. Она всегда поминает Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь за основание города Киева. Надо помнить добро, надо. И Мария сделала шаг.

Вверх вела кривая тропа. Мария взялась вести велосипед, мальчишка радостно бежал впереди. Младший тоже захотел пешком, пришлось его из коляски вытащить. Мария взяла его за ручку, но ребенок вырвался, полез наверх сам, упал, заорал. Жорик взял его на руки, тот заорал пуще, дитя взяла мать и быстро пошла вверх догонять старшенького. А мужчины, как этого ждали, приостановились. По их лукавым мордам Мария поняла, что для них восхождение кончилось на этом месте, на нижней трети горки. Они даже присели на какие-то камни, ведя разговор о чем-то своем и простом. Все это время Мария продолжала идти вверх, толкая правой рукой велосипед, а левой таща коляску. Ушедшие вперед свернули куда-то в сторону, где виднелись соблазнительные детям руины, Мария слышала их крики и осторожение

матери. Она думала: сейчас на каком-то более-менее ровном месте я оставлю велосипед и коляску, а дальше пойду сама, осталось ведь всего ничего, два десятка метров. В конце концов она все-таки положила велосипед на землю, а коляску при-ткнула к нему, чтоб та не съехала ненароком, и пошла вверх налегке. Неказистая с виду горка обладала каким-то чудным свойством: город внизу казался очень далеким. Конечно, это от ее плохого зрения, материалистически объяснила себе странный эффект Мария. Не на Эвересте же я. Хотя откуда она знает, как на Эвересте? В ее жизни не было гор. Однажды в Пятигорске, куда она ездила по курсовке, собиралась экскурсия на Машук, на место гибели Лермонтова, но она спросила себя: зачем мне это? Зачем смотреть на площадку смерти? Это нехорошо. Сейчас же, тяжело дыша на последней дорожке к корявой и слегка откусанной вершинке, она подумала: а есть ли на земле хоть кусочек пространства, который не был бы местом чьей-то смерти?

Когда она взобралась на вершину, город исчез. И солнца не стало тоже. И звуков жизни. Остался пятачок холма и она стоймя на нем.

Она думала, что надо испугаться и закричать. Но, во-первых, не было страха. А неловкость крика как раз была. Поэтому она бестолково топталась на сухой, в мелких, как у человека, морщинах, земле. Мария даже пригнулась и тронула землю рукой. Она была теплой. «Надо подождать, — по-

думала она. — Может, это туман». — «А то я не знаю тумана», — ответила она сама себе.

В конце концов, за ней, если что, придут. Там внизу куча народа. Она прислушалась, но было оглушительно тихо. И тогда она села на морщины земли и заплакала от удивления перед непонятным. Сидючи, она увидела горизонт. Значит, сказала себе, проясняется. И она стала смотреть на горизонт не моргая, боясь его исчезновения. И тут вспомнила.

...Такое пребывание наедине с горизонтом в ее жизни уже случилось. Как она могла забыть ту часть своего детства, что была между мамочкой и жизнью у тетки? Ведь был еще и детдом. Она убежала из него каждый день, иногда по два раза на дню. Ее возвращали и наказывали, а однажды сильно побили и исщипали, а потом заперли в кладовке с вениками и ведрами. В кладовке было темно и пахло жизнью мышей. Выяснилось, что она их не боится. Более того. Ей не только не было страшно, наоборот, с ними ей стало покойнее. Измученная детским горем сиротства, она забылась и тут-то и увидела горизонт. Она не знала, что он так называется. Но соединение, слияние земли и неба видела много раз, еще с мамочкой, и ей оно всегда нравилось. Так вот, сколько сидела она с мышами и вениками, столько и «смотрела» горизонт из черной каморки-чемодана.

Вспомнилось и чудное: она тогда, в заточении, пробегала ножками землю до горизонта, перепрыгивала на низкое «там» небо и возвращалась уже

по небу как птица. Когда ее выпустили, она была разумна, а от нее ждали полоумия.

Она не помнила об этом сто лет. А вот сейчас у нее было то же самое. И даже вернулось детское желание пробежаться туда и пролететь обратно. И даже мышами пахло тоненько так, на раз...

Тогда она — опираясь на глупость собственных мыслей — и поняла, что умерла. Раз нет живой разумной ясности, значит, она там, где она не знает ничего. На этих мыслях и явилась дорога, бегущая от горизонта прямо к ее ногам. Вполне широкая, туда-сюда могли проехать две машины и еще оставалось место по бокам, чтобы идти пешим ходом. Но машин не было, а вот люди как раз были. Только они не шли, а сидели, как сейчас она, прямо на земле. Женщины, которых она не знала. Они все были похожи чуть навывкате, круглыми карими глазами. У нее самой серые. А вот у Лаймочки точно такие же. («Вы проверяли дочери щитовидку?») Кареглазость Лаймы выделяла ее в прибалтийском клане, носившем фамильные водянисто-голубые глаза. Кареглазость могла порушить их стойкую породу, пойдя от Лаймы цвет другой силы. Марии однажды, когда они со свекровью в четыре руки чистили картошку для большого пюре, пришлось как бы в шутку оправдываться за цвет дочерних глаз: они, мол, у нее от отца. У покойника были подслеповатые карие. Потом Мария думала: почему я сказала подслеповатые? И засмеялась: хотела этим снизить возможную силу кареглазости.

...Мария не знала возникших женщин, но и они, видимо, тоже не знали ее. Смотрели и все. Она пыталась найти слова, какие пристало бы произнести. К примеру: «Я Мария из России. Придумала вот подняться на холм — и на тебе»... Но стоило ей открыть рот, как женщины стали исчезать прямо на глазах, как фокус-покус какой-нибудь. Они стали переливаться разноцветьем, как бракованное стекло, они делались выпукло-вогнутыми, как гусь-хрустальные козлики на тонких ножках. Они на глазах меняли цвет, как природа на закате солнца. Они сливались и в конце концов слились вместе и прямой радугой резко ушли в небо. В последнюю минуту от них отделилась одна и тронула Марию рукой. Именно она попыталась объяснить что-то Марии, но не успела. Уже на исчезающем звуке Мария сообразила, что это та самая прибалтийская бабушка из Кемерово, которую она везла через всю страну.

«Я про это читала, — подумала Мария, — они меня встречают, мертвую».

Такое с ней тоже было: она никогда не знала правил поведения в конкретных житейских случаях. Когда-то в молодости, начиная свою работу в лаборатории, она перепутала мазки, испугалась до смерти и хотела доложить заведующей. «Не смей, — сказала ей напарница. — Все путают, но никто не кричит об этом. Ошибки надо скрывать. Ничего не случится. Мы не хирургия». Все действительно обошлось. После этого Мария стала ак-



куратней, но знала: анализы перепутываются сплошь и рядом.

Вот и сейчас она не знает: как быть? Нужно ли ей все-таки было им представиться? Сказать какие-то приличествующие слова типа: «К вам пополнение!» Или это выглядело бы неприлично и глупо? Такое неудачное слово — пополнение. Но все равно надо было что-то делать, а оказалось — уже и не надо. Никого не было. Они исчезли, не дождавшись ее слов. Ах, какая она бестолковая, что не сумела ни сказать, ни спросить. «Они же такие одинокие», — жалело ее сердце, хотя с чего это она взяла? «Пришли же компанией... Одинокие, как я...» — закончила свою мысль Мария и заплакала. Она подумала, что никогда сроду не могла пользоваться никаким моментом. Не хватало ума — ни вовремя спросить, ни к месту сказать. До нее все доходит поздно, когда уже и ни к чему. К ней пришли. Ей смотрели в глаза. Она же не сказала им даже «здрaсте».

Мария плакала, размазывая слезы, а те не кончались и не кончались. И это совсем сбивало с толку — существование ее абсолютно живых и мокрых ладоней. Разве там плачут?

— Бог отрет, — услышала она голос и совсем заполошилась оттого, что ее застали врасплох.

Она увидела большие босые ноги во вьетнамках. Боже, как она их ненавидит, эти вьетнамки. Ее ступни всегда сползали в них во все стороны, а пальцы жалко цеплялись за перемычку. Поносив их один день, она сказала: «Никогда! Никогда в

жизни!» Ноге же, возникшей перед ней, было в них хорошо. Длинные пальцы без следов мозолей и потертостей красиво и спокойно стояли на оранжевой резине. Ногти без заусениц чуть поблескивали.

Она подняла голову и увидела балахон, достаточно мятый и явно плохо отстиранный — это когда у стирающей женщины не хватает ума и понятия потереть материю между фалангами пальцев до скрипа чистоты. Стирка же абы как уже на другой день не имеет вида.

— Соломон, что ли? — тихо, скорее себя, чем незнакомца, спросила Мария, нащуривая глаз на мужчину. Он вполне был ее возраста. Тридцать седьмой — тридцать восьмой год рождения. Красивый старик с чувственными губами.

Сейчас она думала об одном: повести себя правильно. Она упустила женщин, она не упустит Соломона.

— Я пришла специально, — быстро сказала Мария.

— Зачем? — спросил он.

Она не знала, что сказать. И снова заплакала. Но ей не хотелось, чтобы он видел ее слезы, поэтому она быстро — раз-раз — промокнула их пальцами. Но пальцы были сухими.

Мария совсем растерялась, потому что стыдилась выглядеть притворщицей. Она столько нагяделась на как бы плачущих хитрованок, всегда чего-то выгадывающих при помощи слез. Не дай бог, он подумает о ней так же. Пришла, мол, и

подвывает в сухие руки, как профессиональная побирушка: «Поможите, люди добрые! Мы тут не местные»...

На этом ее смятении, страхе выглядеть не такой, какая она есть, Соломон засмеялся, чем совсем ее ушиб. Значит, так и есть! Значит, так он ее и понял! Вернее, не понял совсем!

Не будь она окончательно растерянной, она, может быть, и встала, и сказала, что думает о его смехе над умершим человеком. Может быть, она сказала бы ему, что всю жизнь, всю прошедшую жизнь, она бежала от насмешников и острословов, так как не видела в них смысла. Когда постоянно живет внутри боль и страх, смех, что ни говори, выглядит неприлично. Она даже на смешных комедиях стеснялась смеяться. Она думала: а вдруг рядом у кого-то горе, а я захохочу?

Правда, она не знала, что отсутствие у нее чувства юмора бесило Лайму. Откуда было Лайме знать, что мать подавляла в себе смешливость как грех, как изъян. Она смотрела на портреты великих — никто не смеется. Все мрачные. Господи, прости! Но ведь и иконы твои тоже мрачные... Посмеешься — и легче? Глупости... Ни одного микроба смех все-таки не убил. Это она знает, как лаборант. Мария была царевной-несмеяной, но не от царской блажи, а, так сказать, из идеологических убеждений. Это был ее внутренний камень с надписью: жизнь вам — не смешочки. Она и в любви всегда стыдилась наслаждения, как слишком щедрого подарка от жизни, которого

она не заслужила. Плотская любовь была сродни смеху на шкале грехов. Поэтому она так давно верная вдова. Поэтому так сурово была наказана за любовь мамочка. Какие же могут быть после этого смехи? Какие?!

Собственное смятение было больше существующих обстоятельств. Она даже прикрыла глаза, чтобы не видеть явления Соломона. Что-то надо было делать с невыразимой мукой мысли. «Но если я умерла, то тогда это не имеет значения? Значит, мысли кончились... так ведь? Но они не кончились и болят, как болели всегда». Она думает, зачем пришел этот, во вьетнамках? Ну да, это его гора. Сколько лет она его гора? Что говорили на экскурсии? Две тысячи — или больше? Мария пыталась это представить — время, что внизу, что до нее. В Иерусалиме их водили в глубины смотреть на камни. Тут, на теплой земле неказистого холма, она вдруг поняла: она не верит тем кладкам камней. Не по ним считается время. По ним было бы очень просто. Но тогда по чему?

— Никто не приходит, — снова услышала она тенористый баритон Соломона. — Прибежал тут мальчишка. Пописал и убежал.

— Ну и что? — отвечает она ему, как в трамвае. — Ребенок имеет право пописать там, где ему приспичит.

— *Sinite parvulos*<sup>1</sup>, — брезгливо бормочет Соломон.

---

<sup>1</sup> Позвольте детям (*лат.*) — Евангелие от Марка, 10, 14.

Вот этим ее не удивишь. Единственное, что она знает, кроме русского, это латынь. В медучилище латыни коснулись боком, она же учебник для университетов заучила до дыр. Она учила торжественные слова, не годящиеся ни к одному случаю ее жизни. Потом забыла их все. А теперь вот вспомнила и поняла, и уловила чванливое презрение к выражению: детям, мол, стали позволять то, что не позволено взрослым.

— Так относиться к детям! — воскликнула Мария. У нее есть сосед, доктор наук, между прочим. Он не входит в лифт, если там ребенок. Мария отворачивается, когда при встрече он поднимает руку к цигейковому пирожку, демонстрируя желание как бы приподнять его перед дамой. «Пошел ты!» — говорит она ему мысленно. За детей! Она не знает, как это по-латыни. Сейчас Марии кажется, что они похожи — Соломон и доктор каких-то там наук.

— Ты откуда? — спрашивает Соломон. Вежливый голос, уже без капризного бормотания. Это хамство с ее стороны — прийти в гости и думать о хозяине плохо. Это, можно сказать, свинство.

Мария выдыхает из себя желчь. Сейчас она скажет: «Я Мария из России». Но тут же думает: «Вообще-то я из Киева». Надо ли уточнять? Или сказать: «Я русская». Но моя мамочка украинка, а Киев уже не Россия.

— Я православная Мария, — говорит она неожиданно для самой себя. Но тут же смущается, потому что и этот факт ее жизни смутен: она не

помнит собственного крещения. Тетка, мать Астры и Лилии, в те, еще военные годы сказала, что ее дочки — не крещеные, а вот ее якобы тайком крестили. Но якобы. И все-таки добавляет: — Из России.

— Большая холодная страна, — сказал Соломон. — Такая еще молодая и такая уже измученная.

— Войны, — отвечает Мария.

— Не по уму ноша, — говорит Соломон, а Мария вдруг ошеломляется мыслью, что войны не могут быть оправданием, ибо зло не оправдывает зло. И сейчас ей стыдно, что сказала «войны» — значит, приняла их существование как уважительную причину несчастий своей родины. Ведь, Господи, сами же начинали, и сколько раз. Сейчас она поправится и все пояснит. Но тут Мария вспоминает, что мертвая, а значит, весь разговор бессмыслен, ибо он вне. Вне сущего.

Ее охватывает живой, какой-то очень конкретный страх: она доставит кучу неудобств Жорику и его семье. Ее ведь не только с этого чертового холма придется нести на руках, ее и отправлять в Москву придется, а это какие деньги и хлопоты!

Вот это беда так беда. Напросилась, приехала, и на тебе... А она последнее время думала: хорошо бы умереть — как исчезнуть. Не в том смысле, что пропасть без вести — это еще хуже. Но чтоб не отяготить. Выйти из дому и умереть на ходу. На ходу... Вот оно главное слово. Самой, силой своей перенести душу туда, где ей надлежит ос-

таться, а потом в облегчении и вытянуть ноги. С ногами у нее все в порядке — они вытянуто лежат. Но все остальное ведь не то! Не там они лежат!

— Я неправильно умерла, — торопливо говорит Мария, — будут большие хлопоты. Второй у Жорика получается случай... Это ж какие надо иметь деньги и блат, чтоб меня отправлять.

И уже кричит криком.

— Перенеси меня как-нибудь на родину, — просит она, — на любое ее место, хоть в чистое поле. Хочу в свою землю. Она меня примет и глупую.

— Сама уйдешь, — сказал он и протянул ей руку, сухую и сильную.

Всталось легко. Даже коленки не скрипнули. Она стояла на дороге. Она ощущала свое тело. Мягкое и теплое. И хотя она уже стояла и — наверное — могла идти, она не понимала слов «уйдешь сама». Какой-никакой, она медик, она много смотрела в микроскоп и знает, как все устроено изнутри. Сейчас перед ней в не очень свежей, скажем, рубаше Соломон. Он носит эти придурочные вьетнамки и из-за них выглядит слегка глуповато. Но это он! Истинно. Разве так может быть? Если она жива и та, которая знает мир в микроскоп, значит, нет и не было женщин, что изменились радугой. Нет Соломона, который сказал: «Уйдешь сама» — и подал ей руку.

— Объясни! — просит она его. — Объясни мне это. Я мертвая. У меня есть время слушать.

— Все объяснено, — грустно ответил он. —

Все! — И пошевелил пальцами ног, а потом зацепил ими перемычку.

— Гадостная обувь, эти вьетнамки, — сказала Мария. — Я свои выбросила. Насмешка над ногой... Вообще-то, — добавила она, — я, конечно, пришла сюда сдуру, придумала поблагодарить за водопровод.

Видимо, некоторая общность ощущений — пальцы ног в общении с перемычкой — успокоила Марию. Ей вдруг не захотелось больше виноватиться, дышалось легко и спокойно, а недавнее прошение помочь в хлопотах о ее смерти выглядело нелепым и смешным.

— С водопроводом, — ответил Соломон, — все вышло много хуже. Мне хотелось иначе.

— Обычное дело, — сказала Мария. — Колготиться, колготиться, а получается не то... Но водопровод, даже если он и не очень, — все-таки водопровод. Я как подумаю... Те, ваши, времена... Ни машин, ни буровых. И такие работы! В голове не укладывается...

Он засмеялся. Мария подумала обидеться, но засмеялась тоже. Да, она смеется над собой, потому что разве забыла, что все лучшее на земле было создано без машин и буровых? Софийский собор, новгородские фортификации... А пирамиды? А мексиканские каменные боги? Она же талдычит про буровые. Что за идиотка!

«Конечно, я не соответствую его уму. Он мудрец, а я, что называется, мимо шла. Я вообще должна молчать, как проклятая... А я возникаю...»



На этом слове Мария спотыкается. Кто из них возникает? Она с коляской и велосипедом, или все-таки он взял и пришел, или не уходил, или он тут всегда, мальчика видел, который прибежал и окропил его гору. Кто к кому пришел?

— Ты, — говорит ей Соломон. — Ты забралась на мой холм — поблагодарить меня за водопровод. Спасибо! — Он ей кланяется в пояс, как Дед Мороз на елке.

Странноватый, прямо скажем, вид: голые от колен ноги в этой обуви — вырви глаз.

Мария смеется, но тут же смущается.

— Поклонился, как Дед Мороз. У нас ведь зима, зима... Не знаю, почему подумала, — теряет она от собственного несоответствия.

— Дед? — спрашивает Соломон. — Это который бил, бил, не разбил?

— Нет! Нет! — опять смеется Мария. — Это другая сказка. Там били яичко.

— А, это когда два старых дурака колотили золотое яйцо?.. Ваши сказки забавны и двусмысленны. Меня всегда восхищало, что вы храбро читаете их детям. Не ведая того, даете им алгоритм. Но все втуне.

Мария не знает этих слов.

Ей стыдно, и ее берет зло. Видимо, Соломон понимает это, потому что говорит:

— Тебе пора идти. Иди с миром и ешь с веселием хлеб свой, но вот насчет вишневого компота... Остерегись косточек. У тебя в следующем году будет гнойный аппендицит. — Соломон улыба-

ется, кончиком языка трогая зубы. — Хотя не дело — остерегаться...

— Почему же? — не соглашается Мария. — Если можно предупредить...

— Давно предупреждено, — говорит Соломон.

Мария снова заплакала. Кончиком языка она отлавливала слезы, умиляясь их теплой солоноватостью, мгновенно растворяющейся во влаге рта. Слезы были легкие и бессильные, рот же был жадным и горячим. Она жива. Она счастлива помучаться аппендицитом.

— Иди, — говорит Соломон. — Иди...

Мария вздохнула, думая уже о том, что спускаться всегда хуже, чем подниматься.

— Так как, ты говоришь, они называются? — спросил Соломон, слегка приподняв ногу.

— Вьетнамки, — засмеялась Мария. — Выкинь к чертовой матери.

— А мне нравятся, — смущенно ответил Соломон.

— В твоём возрасте они просто неприличны, — сказала Мария, но сказала уже холму, городу, небу, потому как все было на месте. А за поворотом тропы слышались детские крики и плач.

— Где вы там? — звала жена Жорика. — Мы спускаемся!

Мария видела, как дети бежали по тропе к мужчинам, за ними торопилась их мать, коляска и велосипед так и лежали на боку холма. Мария засмеялась.

«Так тебе и надо, — сказала она себе, — это твоя затея. Вот и тащи их вниз».

Но когда она подходила к велосипеду и коляске, вверх ей на помощь уже взбегал Жорик.

— Не суетись, — услышала она голос. Но это был не Жорик.

Перед ней кувыркалась птичка. Она то камнем падала вниз, то взметалась у самой травы, которая нервничала своим травяным существом от такой птичьей наглости. Птичка облетала голову Марии, как спутник Землю, и Мария слышала живой и теплый запах взлохмаченных и восторженно растопыренных перьев. Птичка сопровождала ее до самой компании, а потом взяла и улетела. Было в птичке и что-то слегка мышинное. Было.

— У вас сердце получше моего, — сказала Марии жена Жорика. — Я едва дышу, а вам хоть бы что...

— Ты же бегала за детьми, — ласково сказала Мария, — а я отдыхала.

— Ну, тетя, и что это за гора? — смеялся Жорик, подмигивая своему приятелю.

— Теплая, — сказала Мария, — и вся в морщинках.

— Ей же сколько лет! — гордо сказал Жорик, будто его рук дело — вечный надкусанный холм. Он даже плечи развернул, Давид-строитель. — Нигде ничего не было, а тут — все!

— Земля всюду была землей. И тут, и там, и незнамо где. Тоже мне новость! — вот кем не бы-

ла жена Жорика, так это пафосной женщиной. Наоборот, чужой пафос заводил ее на плохое, на свару. Мария учуяла это и увела тему.

— Я там какого-то старика видела... Издали...

— А! — ответил Жорик. — Городской сумасшедший. Но он безобидный. Является то там, то тут. Не пристаёт...

— Глухонемой он, — сказала его жена.

— Слышит! Слышит! — поправил Жорик. — Языка нет. Забыл, почему...

Мария вспомнила, как кончиком того, чего нет, Соломон проводил по чувственному рту, а она тогда подумала: «Не выработался мужик...»

— Зимой и летом ходит во вьетнамках, — на этот раз Жорик сказал правду.

Странным было ее пребывание в ночном аэропорту. Жорик и жена отговаривали ее уезжать в ночь, они вообще были с ней милы после холма, и дети жались к ноге совсем по-родственному.

— Вы, тетя, как будто бежите, — сказал Жорик. — Но вас же никто не гонит, и диван нам не продадите.

Она их успокоила. Не бежит и не продавит. Хотя в какую-то минуту Мария чуть было не согласилась остаться, чтобы освободить Жорика от вины, той, раньшей, когда он легко отпустил мать и та перегрелась на тахане-мерказит. Но вовремя остановилась. Ветерок дунул с балкона и наваял совсем другое: пусть Жорик останется со своей виной. Пусть! Она бы очень удивилась, если бы

узнала, что никакой вины тот не чувствовал и, более того, даже не мыслил, а покойную мать считал «дамой с кониками», то бишь фокусами. «Это у них в роду принято — сняться и бежать черт-те куда, такая у женщин нетерпеливая злость», — объяснил он все себе.

Поэтому мысль Марии о вине племянника как вошла в окно, так туда же и вышла. Ей не за что было зацепиться. Сколько их, таких невостребованных мыслей, витают в воздухе, и оставшихся от веку, и родившихся в одночасье... Мы — мимо них. Они — мимо нас, живущих — как это сказал Жорик? — в нетерпеливой злости.

Мария сидела в удобном кресле, вокруг нее суетились приземлившиеся люди. Они отличались от тех, кто только еще собирался лететь. Радостью обретенной под ногами тверди. Она, твердь, в аэропорту была главной. Только одни радовались, что на ней. Другие паниковали, что ее покидают. Мария же в связи с отдаленностью времени вылета была как бы экстерриториальна. Ей было жалко и тех и других. И прилетевших, и улетающих, жалко человека в смятении, ибо не спасает нас прилет, равно как не спасает и отлет. Твердь и высь — они или есть, или их нет. В тебе самом. Сверхзвук только и может, что нарисовать на небе пушистый след.

В самолете подавали вишневый компот. Мария старательно собрала косточки и положила их в карман. Соседка справа сказала, что первый раз

столкнулась с таким меню. На ее взгляд — «Я так много и разносторонне летаю!» — вишневый компот не входит в разряд международного стандарта напитков. Именно из-за косточек. Мария усмехнулась. Ты, женщина, не туда летаешь, думала она. Не в те стороны... Косточки в кармане были ласковыми, они обегали ее пальцы, как живые.

Трогая их, Мария нащупала картонку. Это была визитка, которую ей сунул старик-немец в Иерусалиме, когда она там из-за него порезала палец. Мелкую вязь готического шрифта ей было не прочесть без очков, которые остались в пальто, повешенном в самолетный гардероб. Покрутив визитку, Мария положила ее в карман сиденья. Зачем она ей? Она тут же забыла немца, и, в сущности, это было правильно. Потому как надень она очки и высмотри буковки, она прочла бы «Франц Шеклер» — до такой степени немецкой грамотности она была обучена. И, конечно бы, вспомнила — или нет? — что так звали дядю Францика. И куда бы это ее завело? В какие дебри поступков? А так лежит себе визитка в ничейном кармане, где-то там живет старик с коллоидным швом. Помнит ли он красавицу-украинку с маленькой девочкой, которая висела у него на пальце и кричала: «Дурень! Дурень! Растопурень!», а мамочка сердилась: что за выражения? Берет ребенок слова прямо с улицы земли.

Но визитка сделала свое тайное дело. Мария вспоминала детство и войну.

...Что понимает в любви мужчины и женщины ребенок? Да ничего! Но было так замечательно внутри их счастья. Так больше не было никогда. Всю жизнь она искала, ждала именно то свое состояние — покоя, защищенности, радости, исходивших от грешной любви мамочки и дяди Францика. Ничего похожего. Прислониться бы, постоять рядом с тем, у кого это есть. У нее был хороший муж, царство ему небесное, она видела и другие вполне удачные семьи. И только у мамочки случилось яичко не простое, а золотое. И пробежала не мышка — война, будь она проклята во веки веков. Но ведь не будь трижды проклятой войны, не было бы их встречи. Нет, Соломон, не на все вопросы есть ответ. Есть вопросы, что хуже самых страшных ответов.

Работал самолетный телевизор. Певицы пели широко открытыми ртами, звук уходил в бесконечность и не возвращался.

Что хотел сказать народный хор, выпрастывая из горла звук такой мощи, что мог померкнуть свет? Куда рвется голос, пренебрегающий свойствами резонанса и всей физики?

Мария удивилась странности своих мыслей. И, можно сказать, она их застеснялась. Она забыла, что была в храме Святой Анны и ее рассуждения оттуда. Может, она вспомнит о нем потом, а может, и нет. И скорее, нет. Чудо оно и есть чудо. Вскрик вполношенной им экстрасистолы. Марию же сейчас занимает другое. Надо будет откладывать деньги на операцию, которая предстоит ей в

следующем году. Аппендицит, конечно, ерунда, но у нее-то гнойный... И она засмеялась, хотя, казалось бы, с чего?

— Что-то не так? — спросила соседка.

— Наоборот! Так! — смеялась Мария. «Ишь! — думала она. — Он нашел мне повод жить — гнойный аппендицит. Ох и штука этот Соломон, ох и штука! Но вполне сохранный мужчина. Ни одного мозоля... А в русских сказках цари всегда дураки... Это у меня вопрос или ответ?» Мария, чтоб не смущать разносторонне летающую соседку, смеется в ладошку. «Алгоритм какой-то придумал. Другой бы объяснил...»

Она закрывает глаза. В момент засыпания она делит чудное слово на два похожих — на алгебру и ритм. Ей приятно такое ковыряние в буквах. Хотела когда-то учиться на филологическом. Дальнейшие метаморфозы слова она проспит. Проспит, как алгебра обратится в арифметику, а потом и вообще в цифру. Ритм же стал сначала музыкой, а потом вообще нотой. Цифра и нота, освободившись и отряхнувшись от лишнего, нетерпеливо полетят на родину — в изначальность...

Хотя кто их знает? Может, и не улетят?

Ведь никто ничего не знает наверняка. Не знает спящая Мария, не знает соседка, что рядом.

Не знает и Соломон. Штучки с вишневыми косточками у нас проделает любой экстрасенс. За небольшие деньги.

За большие он покажет вам Соломона.



# Подробности мелких чувств

Я нахожусь в твоей постели  
Полудни вдали  
Чужестранца  
Мои уединенные мечты.

Угнетенная в тишине  
Моя душа в твоем сердце  
Знаю в сердце своем  
Моя душа в твоем сердце

Я нащупал твои щеки  
Обуасающей любви,  
И твои влажные поцелуи  
Меня уж бывшие не дали.

Угнетенная в тишине  
Моя душа в твоем сердце  
Знаю в сердце своем  
Моя душа в твоем сердце

В ноябре он получил шестьдесят три рубля сорок шесть копеек. В ноябре всегда бывало негусто. Графоман как бы опоминался после гением обозначенного творческого запоя в октябре. Опоминался и замолкал, стесняясь марать бумагу и слюнявить конверты. Это совсем не походило на летнее затишье, когда пыхтит варенье, набиваются набойки для школьной поры и стихотворцев приспособливают к делам простым. Все знают: потом они возьмут свое. В сентябре и ноябре. В ноябре же было именно опоминание: обкусывая до мякоти ногти, слабев от дистонии, поэты и прозаики ужасались приближению еще одной бесславной зимы их жизни.

Таковы вкратце законы периодизации творчества, и не вами они писаны.

И все-таки, все-таки... Меньше восьмидесяти у Коршунова не выходило ни разу. Даже в клубничный июль. Всегда сохранялось количество пишущих для дальнейшей жизни и деятельности Коршунова. Как в природе. Для кошек — птички. Для птичек — мошки. Для мошек — что-то там еще... Итак далее...

Для Коршунова — графоман как средство выживания.

Но как выживешь на шестьдесят три рубля и сорок шесть копеек? Ведь он даже копейки не оставял в кассе, как другие. Мелочь, мол, девушка, не надо! Коршунову было надо. Еще как...

Первая мысль — взять у кого-нибудь пятнадцать рублей, приплюсовать и принести домой. Хоть, мол, и бедно, но стабильно. В редакции, с которой он начинал, осталось человека четыре, да и то техсостав — машинистки да стенографистки. Остальные были новым народом. Этот народ пятнадцать рублей деньгами не считал, и именно поэтому — именно поэтому! — просить их было стыдно и противно. Наверняка дали бы, но как? В общем, не мог он обращаться к этим внукам революции. Нечего им знать, до какой степени он гол как сокол.

Он тут как-то булькнул одному «внуку». Так, между делом, расслабился дурак. Шестнадцать пьес, мол, лежат в фибровом чемодане, в котором покойница мама хранила реликвии своей жизни. Случилось невероятное — очки у «внука» потемнели, и Коршунов, хоть и знал хамелеоньи свойства стекла — в широкое окно редакции как раз влезло солнце, — но это было не считово. А считово было возникновение преграды. Там где-то в матовом сумраке, конечно, жил этот парень, но это было другое пространство. И Коршунову там не черта было делать. Рассказывая об этом Марусе — тоже идиотия, ей зачем? — он охарактери-

зовал свое состояние так: «Понимаешь, я обвис...» Такое нашел определение. А Маруся на это поджала губы, уронила крышку от кастрюли. В общем, Коршунов идею пятнадцати рублей займа у нового поколения отверг. Напрочь.

Получилось скверно. Он принес могучий заработок домой, выложил его на кухонный стол весь до копейки стопочкой и соорудил рожу Марусе: вот, мол, жена, плохая у мужика случилась охота.

Пятнадцать лет он жил с Марусей, думал: знаю вдоль и поперек, оказалось — не знал. Знал бы — не поперся бы в кухню, а ушел бы на балкон, забился бы в угол к ящикам и коробкам и ждал бы, когда жена сама за ним придет, закричит, что балкон висит на одном гвозде, а он его распатывает своими нервами. И тогда он выложил бы ей шестьдесят три рубля сорок шесть копеек, она вздохнула бы тоненько и сипло и сказала бы, что сил у нее больше нет, до каких же пор, и тэдэ и тэпэ, но все бы это прошло тускло и почти мирно, и они сели бы в конце концов ужинать, и он бы стал нажимать на хлеб, избегая колбасы, а она, естественно, расстроилась бы по этому поводу и закричала бы на него, что не хватало ей еще его дистрофической язвы, что пусть ест, пока что-то есть, и так далее, и так далее. А ночью она бы его обняла и, сопротивляясь себе самой, сказала, что да, да, любит его, дурака, потому что не любя разве можно с ним, с таким, жить? Именно любит! Именно дура!

Но, повторяю, так могло бы быть, если б Коршунов что-то понимал в своей жене. В тот день заходить к ней в кухню было нельзя категорически! И тем более бряцать этим своим заработком.

Маруся внимательно, брезгливым мизинчиком пересчитала брошенные веером (ишь, какой Рогожин Советского Союза, ишь, какой ухарь-купец!) десятки. Сначала справа налево, а потом слева направо. Сумма, как и следовало ожидать, от перемены направления не изменилась. Тогда она подняла на него свои глаза, и он почувствовал, как охватило его стыдное страдание. Взгляд Маруси был пустой, совсем пустой, как будто его, Коршунова, не было тут вовсе, и денег этих жалких тоже не было, и вообще не было ни-че-го. Ничего не было у этой увядающей от унылой жизни женщины, и она уже давно смотрела в пустоту как в единственную реальность. И может статься, когда-нибудь Маруся возьмет и уйдет в эту пустоту, чтоб не вернуться никогда, потому что она уже готова, совсем готова, она уже — пожалуйста, и, может, только Коршунов во вторую очередь, а в первую — Аська держит Марусю на земле, поэтому надо было как-то намекнуть застывшей и готовой для перехода Марусе, что он, Коршунов, еще здесь, так сказать, в наличии.

— В ноябре всегда так, — сказал он как можно беззаботней. — Поэты в ноябре замирают.

Вот это было напрасно. Вот это было самое что ни на есть — не то. *Так, такими словами* прикрыться. Пустой Марусин взгляд обрел какой-то

смысла, и Коршунов сдуру обрадовался, что, кажется, может быть... Одним словом, ну поорет Маруся, ну наплачется, но ничего другого страшного не случится. Не случится пустоты.

И он освобожденно развел плечи и даже слегка крикнул и зашевелился собственным телом в собственном доме, ощущая его надежность в момент ударившей рядом — рядом! — но все-таки пролетевшей мимо молнии. И пока он секундно радовался освобождению, он упустил момент, когда ловко и быстро Маруся сгребла в кулак деньги и рванула в уборную. Ну а дальше — совсем смешно. Она спустила воду.

— Катись к чертовой матери! — крикнула Маруся. — Тунеядец проклятый! Кормилец фиговый! Шекспир трахнутый! Чтоб мои глаза тебя больше не видели с твоим заработком. На паперти собирают больше! Графоман несчастный!

Про Шекспира уже было. И про паперть тоже. Про тунеядство звучало. А вот «графоман» — слово было запрещенное. Для Маруси. Сам Коршунов в отчаянные свои минуты задавал себе этот вопрос. Но даже он не пробовал это слово на язык, он воспринимал это слово начертанным на запотевшем окне, как дурное слово в своем детстве, когда он, простуженный и гундосый, стоял у окна и чертил на нем стыдно влекущие буквы заборов и уборных, а написав их, тут же испуганно стирал, потому что, изобразив их, всегда испытывал тошноту и противность. Вот и слово «графоман» виделось ему на одно только мгновение и сразу —

гадость во рту, тошнота, и нет слова, и никогда больше, и все, все, все... Теперь же это слово, сказанное Марусей, разбилось на мельчайшие осколки и кололо его во все места сразу, и это было ужасно. Кололо в ступне, в ухе, в горле, в паху, кололо в груди, в ладонях, пронзало в солнечном сплетении, хотелось скрючиться, окуклиться, застыть в глухоте и бесчувствии, поэтому никак, просто никак он не отреагировал уже на другой — диаметрально противоположный поступок Маруси.

Видимо... Видимо, деньги не смываются так просто... Во всяком случае Маруся, опомнившись, уже с другими словами-криками выживала из унитаза деньги и бережно раскладывала на полу для просушки десятки и тройки. И теперь она причитала над ними, мокрыми, а Коршунов, схватив с вешалки ветровку и сумку, старался сунуть ноги в кроссовки, не развязывая шнурков, потому что пальцы у него онемели.

— Зараза! — крикнула ему вслед Маруся. — Чтоб я тебя больше не видела.

Если бы у Коршунова не болело все тело и он был способен воспринимать что-то еще, кроме колющей, пронзающей боли, он бы уже услышал в голосе Маруси другие тоны и оттенки. И «говнюк» звучало почти как «любимый мой». Да, да, говнюк — конечно, кто же еще? — но ведь куда денешься? Однако ничего этого Коршунов не слышал и не понимал, он бежал из своего дома, как из пыточной камеры, и, верно, чем дальше он был от

дома, тем слабее было колотье, тем быстрее отпустило. В каком-то чужом дворе на лавочке боль ушла совсем. Коршунов только тогда понял, какой он мокрый, как он тифозно вспотел за это «уни-тазное время». В пору было принимать душ, но одна мысль о возвращении вызывала в нем озноб и ужас.

В принципе мысль о том, чтоб уйти от Маруси совсем, не была такой уж диковинной. С той поры как он из штата редакции сел на так называемые «вольные хлеба», оставив себе только литературные консультации для графоманов (тьфу, проклятое слово!), и стал приносить домой свои жалкие копейки, с Марусей все напряглось. Пока он ночами писал на кухне, а днем, опухший от недосыпа, ходил на работу, все было ничего. Нормально, можно сказать. Бывало, он будил ее утром и читал какой-нибудь особенно получившийся, на его взгляд, отрывок, и она никогда не обижалась, наоборот, радовалась и хвалила его, защищала умерщвленных им героев и требовала их воскрешения. Она, как ребенку, объясняла ему: ты не прав, не может женщина, хоть ты тресни, полюбить гениального человека, если у него пахнет изо рта. Лучше похорони его — вот! — она даже соглашалась на смерть в первом действии. А? Правда! Похорони! Даже не так! Открывается занавес, а герой уже в гробу. Или другое. Ни одна женщина — ни одна! — не наденет лифчик раньше трусов. «Почему? Почему? — смеялся он. — Что это за закон последовательности?» А вот и за-



кон. Вот и закон, говорила заспанная и розовая Маруся, и он любил ее в эти минуты и считал, что ему невероятно повезло. Она у него Маргарита. И вычеркивал запах, и трусы на героиню надевал раньше всего.

Потом... Потом, когда он перестал ходить на работу каждый день и завел правило ложиться и вставать рано, желание прочитать «хорошенький кусочек» как раз попадало на белый ясный день, когда Маруся горбилась в своей школе. Пару раз он сунулся с чтением к Аське, и та в первый раз, стоя, переминаясь с ноги на ногу, стерпела это, но уже во второй сказала как отрезала: «Папа, ну скучно мне, скучно! Что я тебе, Арина Родионовна?» Тогда он, испытывая неодолимую потребность в слушателе, стал читать Марусе вечерами, но та взвизывалась с пол-оборота. И устала она — не все ведь лафу имеют дома сидеть. И не воспринимает она сейчас на слух — у нее в ушах школа гудит. И вообще — какая это у него драма-пьеса по счету? Надцатая?! И что он от нее хочет, каких реакций? Вышли реакции, Коля, вышли и назад не вернулись.

Такой получался момент творчества — примитивный и гнусный. Подчиниться ему — значило конец, конец сознанию, что ты не тят-ляп, не пальцем сделанный мужик, не тряпка-поломойка, не, не, не... Он изо всех сил старался жить так, чтоб никто, ни одна сволочь не ткнула в него пальцем как в неудачника, а главное, наиглавнейшее, чтоб так не думала Маруся...

Он решил готовить обеды. Ведь верно же — дома сидит. Маруся на порог, а он в фартучке и самодельном поварском колпаке накрывает ей стол, вилочка — туда, ножичек — сюда. И сок давил специально к приходу, живой такой сок делал: Марусечка моя, Маргариточка. Бывало, она даже смеялась, бывало, даже ценила: «А хорошо, черт возьми, когда тебе супчик сварен». — «Не только, не только, — отвечал он. — У нас еще и оладушки».

А денежки — тю-тю... Кончались задолго до дня X. И ни фига в эти дни не писалось. В общем, недолго продержалось счастье на поварском колпаке. Он все делал по-прежнему, но уже без «вилочка сюда, ножичек туда». И Маруся не смеялась больше. Хлебала, не подымая головы, и тарелку отодвигала с выражением «а пошла ты...». Будто бы тарелке, а ведь на самом деле — ему.

Надо быть справедливым: Маруся держалась дольше всех. Потихоньку ушли из его жизни, как со скучного спектакля, все... Поэтому Коршунов, сидя на лавочке в чужом дворе, очень конкретно подумал, что если... Если шагнуть секунда в секунду, то все может получиться мгновенно и с двойной прочностью. Есть шанс попасть на контактный рельс, а если нет, сам поезд довершит тобой задуманное. И по времени это раз, два, три — не больше. Это не с крыши, когда пока летишь — умрешь от ужаса. В метро же надо только четко, секунда в секунду шагнуть, когда поезд совсем рядом.

Сделал же Коршунов другое. Поехал к тетке, объяснил, что ему надо уединиться для работы в ее завалюхе даче, и тетка, которая прежде, когда он клячил дачу для дочери, отвечала категорическим отказом, на сей раз обрадовалась столь удачно подвернувшемуся сторожу. Время пошло бандитское, живи в городе и переживай, не спялят ли домик в Коломне, не разнесут ли! Тетка, чуть не приплясывая, принесла ключи и затараторила про дымоход, про дверь, которая оседает при сильном распахе. Ты осторожней, Коля, осторожней. Входи, голубчик, бочком. И вообще, вся дача тебе, Коля, не нужна, она холодная, а уже — смотри — ноябрь. Живи в кухоньке, она у меня невеста-светелочка. Там и стол-столок, и диванчик-лежачок, и чашки-тарелки. А казанок, Коля, у меня в духовке.

На месте выяснилось, что двери в «горницу» предусмотрительно задвинуты буфетом, да и не стал бы он туда ломиться. Бог с ней, с горницей, если б не необходимость одеяла. Диванчик, диванчик, диванчик-лежачок, но укрыться мне чем-то надо? Под голову положить надо? Ведь не рассказал он тетке, что не просто уединяется, а уединяется от Маруси и, скорее всего, навсегда. Знай тетка, что он без своей постели туда едет, еще неизвестно, обломился ли бы ему ключик и замок?

Ворвавшись без благословения в запрещенную ему часть дачи, Коршунов нахватал всего: и подушек, и стеганое, пахнущее детством и травой

зеленое одеяло, и безразмерные, грубой вязки теткины кофты, и кой-какой стратегический продукт типа пшена и риса, и аптечку с йодом и аспирином. Короче, задвинув назад буфет и протопив печку, Коршунов почувствовал в себе силу перезимовать, а там будет видно. В конце концов, вариант «раз, два, три» всегда при нем. Еще какой-то из Плиниев сказал: у человека должно быть это право. Съездил в редакцию, разжился хорошей кипой казенной бумаги. У уборщицы, которая помнила тот день, когда он еще молодой пришел в редакцию и она тогда, конечно, не молодая, но и совсем не старая, сказала ему откровенно, что по утрам прибираться она приходит рано, в семь утра, и что женщина она чистоплотная. Спроси у кого хочешь. Так вот, сейчас, когда он попросил у нее двадцать пять рэ, она засмеялась и напомнила ему, что он сказал ей, молодой и принципиальный: «Из общего корыта не ем!» А она засмеялась и сказала: «Ишь!»

В общем, ее приглашением он не воспользовался, хотя потом узнал, что в редакции это было почти семейным делом. Он тогда очень этим возмущался, хотя и ловил себя на мысли, что смотрит на эту уже немолодую женщину слишком уж остро. А иногда, когда дежурства заходят за полночь, силой уводит себя, чтоб не остаться и не дожидаться тех самых семи. Однажды даже было. Было. Остался. Но в семь утра приперся фотокор и, увидев Коршунова, сказал в сердцах: «Здрасте вам!» — «Я с ночи!» — закричал оскорбленный

Коршунов, и только его и видели, а на улице столкнулся с уборщицей, шла она быстро, сосредоточенно, Коршунова не заметила, и он тогда ввел этот эпизод в какую-то пьесу, но ничего хорошего из этого не вышло. В пьесе ведь нужны слова, а в жизни слов, считай, не было.

Теперь это была молодящаяся бабулька с хорошими, несмотря на возраст, ногами и плоским животом. Она спокойно дала ему двадцать пять рублей и сказала, что раньше дала бы больше, когда было то время и те мальчики. Ей он почему-то рассказал все: и про шестьдесят шесть рублей, и про Марусю, топившую деньги, и про то, что теперь у него на зиму есть кухня и пшено, так что он — кум королю и сват министру.

— Мне тоже шестьдесят шесть, — сказала уборщица. И он не сразу понял это тоже. Ах! Просто совпадение цифр.

Она спросила его адрес, написала его кривыми буквами на газетном поле, сказала, что завезет ему картошки и капусты. «Чего тебе еще?» — «Ничего не надо! — закричал Коршунов. — Ради бога!» — «Ишь? — ответила она. — Ишь?..»

Станным было чувство в электричке. Взяв у женщины деньги, он как бы с опозданием, но вошел во всеобщее братство ею обладавших. Что ни говори, а он все годы в редакции держался с нею надменно. Даже ненавидел ее порой за возникающее в нем чувство желания. Противно это было, что ни говори, имея молодую красивую Марусю, деревенеть при виде тетки, которая на чет-

верть века тебя старше и, что называется, ни с какой стороны тебе не нужна. Теперь вот женщина дала двадцать пять (четверть?) и снова засмеялась, вспомнив, какой он был «молодой и принципиальный». Куда ушла его надменность? Братство, люди, братство!

Милая Клавдия Петровна... И никогда никому Клава. Вот ведь парадоксы жизни. Все с ней спят, и всем она Клавдия Петровна. А замредактора у них была, так ее иначе, как Нюрка, не звал никто. Вся была в регалиях, при машине, авантажном муже, умная, веселая, но — Нюрка. Нюрка — профессорская дочь. Интересно, а какого роду-племени Клавдия Петровна? Надо спросить, когда будет возвращать двадцать пять рублей.

Под что он, дурак, их брал? С какого ветру могут у него возникнуть деньги?

«Потом, потом... — думал Коршунов. — У меня есть зимовье».

...И было ему хорошо.

Невероятное состояние освобождения. Не надо думать о выражении собственного лица. Почему-то это оказалось самым важным. Проснулся и лежи себе с отквашенной губой и набрякшими веками. Эдакий немолодой и некрасивый. И очень хорошо! Какой есть. Можно полежать, глядя в ситцевое окошко, удивиться изобретательности тетки, из бывшего платья сварганившей занавески. Он почему-то хорошо помнил это платье. Она приходила в нем в гости, когда он был еще впол-

не, работал завотделом, писал статьи на «морально-этические темы», страдал от цензуры и дураков начальников, чехвостила замредакторшу Ньюрку за то, что «дело не защищает». В общем, жил в системе и был системой и теткой уважаем. Вот она пришла к ним в только что сшитом платье, Маруся зацокала: «Ах ситчик, ах, ситчик», — и вот, пожалуйста, не прошло и сотни лет — висит платьице на окошке, и он может не вставать, может лежать и думать, и ждать, когда в хаосе мыслей появится та, которая отодвинет плечиком другие мысли и будет дразнить его, будет увлакивать черт-те куда, пока он не вспрыгнет и не запишет: «Надя! На-дя! Какое странное имя. Будто дятел настучал». И он возликует и растопит печь, потому что, оказывается, этой гениальной фразы ему не хватало, и теперь пойдет-поедет, и таки поедет на самом деле, пьеса побежит как сумасшедшая, а он при этом будет оставаться в голом виде, и ему надует слева, а справа будет жарко от печки и очень будет хотеться в уборную, где это у вас, напишет он, и вместе с героем выскочит на улицу, под дождь, оказывается, на улице дождь, вот откуда «настучал», от него, дождя, природа родила ему потрясающие слова: «На-дя! На-дя!»

У него были сложности с именем героини. Он писал: Ирина (условно). Но какая она к черту Ирина? Ирина — это узкая ступня и торчащий резец во рту, а его героиня с приросшей мочкой и с огромным костистым пространством от шеи и до груди, эдакое плоскогорье Тибет, эдакое непра-

вильное географическое строение со сбежавшей на юг грудью. Вот это и может называться Надей и ничем другим. Он исстрадался от невозникшего имени, от его нерожденности. А, оказывается, как просто: «На-дя! На-дя! Будто дятел настучал...»

На улице он радостно подумал, как же хорошо должно быть сейчас Марусе. Не надо его ненавидеть, а потом, стыдясь безнравственности чувства, с ним же — чувством — бороться. Ей сейчас легко и освобожденно, как в том анекдоте, из которого вывели козу. Они сейчас с Аськой кайфуют, а он кайфует здесь, как просто, оказывается, разрешаются проблемы. Но глупый, слабый человек почему-то считает своим долгом все усложнить, нагромоздить, самому забаррикадировать выход и кричать в глухую стену: «Спасите! Спасите!»

Ни разу не подумалось, не беспокоится ли Маруся, не ищет ли, не страдает. Нет! Если ему хорошо — ей хорошо тоже. Ветром ли, дождем, звуком ли, а дойдет до нее сигнал, что нашел он имя героини. И она перестанет говорить эти свои глупости: «Ну какая разница? Какая разница, как человека зовут? Разве дело в имени?»

Как ей объяснить, что она абсолютная Маруся и у нее до старости лет будет тонкой шея, а подбородок будет беззащитным и слабым, и его всегда будет хотеться взять в ладонь, чтобы смять и вылепить из него что-нибудь покрепче, и именно поэтому, из-за слабости шеи и подбородка — закон равновесия, — в Марусиных глазах всегда злинка



и ядовитость, всегда готовность к отпору — ну уж, ну уж! Не так я слаба, люди, не так, не судите по шее.

— Но я ведь еще и Маша! И Маня! — смеялась Маруся. — И Машура-Шура, между прочим.

— Нет, — говорил он. — Ты Маруся. А была бы Шура — у тебя бы размер обуви был тридцать девятый, а на талию не хватало бы резинки.

Конечно, все это хохма! Надо же что-то говорить. Но Коршунов знал — есть в наречении божественная тайна. И уборщица будет Клавдией Петровной, а профессорская дочь Нюркой. «И чего это я про них вспомнил», — подумал Коршунов, телепаясь из уборной к дому, не зная еще, что в мироздании, ведающем дождем, именами и человеком, бегущим из уборной, никакой тайны нет. На крыльце стояла Клавдия Петровна. Коршунов чисто автоматически стал искать рядом с ней сумку с картошкой — было же сказано, принесу, — но сумки не было, Клавдия Петровна пришла пустая.

И тут Коршунов испугался. До ужаса. До сердечного спазма. До потери речи.

И зря. Потому что добрая душа Клавдия Петровна тут же, с порога сообщила ему, что его разыскивает режиссер Театра Номер Один Всего Советского Союза, что он, народный, обыскался его, Николая Коршунова, и уже достал всех в редакции и дома, и что между Марусей и Нюркой шел телефонный перезвон, где он? И люди недоумевают: написал пьесу — так сиди с вымытой

шеей, жди, вдруг понадобишься. Коршунов же смылся, как будто ему и не надо. Клавдия Петровна все это слышала, сейчас рассказала, как смогла, и в конце добавила, что не призналась, что знает, где он. «Может, зря? — спросила она. — Прислали бы машину. Но я, Коля, подумала: а тебе это надо? Если ты спрятался?»

Коршунов едва не закричал: не надо! Не надо! Вчера было надо, позавчера, третьего дня. Где ты был, народный режиссер, когда Маруся смывала мой заработок в сортир? Где ты был? Не прочитал еще? Не бреши, суче? Пьеса у тебя уже года три валяется. Она уже и не пьеса, а так — вымысел один. Иллюзия...

— Ты поезжай, вроде ничего не знаешь, — надумила Клавдия Петровна. — Пусть они сбиваются с ног, а ты просто мимо шел...

Коршунов был потрясен. Это же надо так именно придумать. А он бы сдуру стал сейчас ломиться в служебные двери театра: это я, мол, я! А, оказывается, надо мимо идти и чтоб народный из окошка вываливался, крича: «Вернись! Вернись!»

— Тогда я приеду завтра, — сказал Коршунов.

— А выдержишь? — спросила Клавдия Петровна.

— Еще как! — засмеялся Коршунов.

Клавдия Петровна тут же встала, и он ее не задерживал, зачем? Она ушла в дождь, и ему стало неловко, что, в сущности, даже спасибо не сказал женщине, даже чаю не предложил. Хотя какой чай? С чем?

Но уже через десять минут он понял, что ничего из затеи «красиво переждать» не выйдет. Ловко придуманное имя абсолютно не вдохновляло на работу. Совсем другие, разные мысли повывлепали из щелей и потащили его черт-те куда. Он знал дикие места тайных мыслей, где у него успех, и слава, и деньги, и черный костюм с бабочкой, и хорошо подстриженная голова, где он небрежно и изящно дергается в полупоклоне раскаленной черноте зала. В пятом ряду слева у него всегда сидит Маруся. И глаза ее находятся в полном соответствии с подбородком — слабые, беспомощные, влюбленные. Он, сильный мужчина в ярком освещении, уже освободил ее раз и навсегда от школьной унижительной каторги, и у нее идет другая жизнь. Она избавилась бы наконец от черной аптекарской резинки, стягивающей волосы в жгут, и они волной упали б на плечи.

Одним словом, уже через пятнадцать минут Коршунов был на платформе и увидел Клавдию Петровну, которая пряталась от дождя под козырьком ларька. Пришлось обогнуть ларек сзади и, купив билет, скрыться в зарослях неизвестной флоры и думать мелкую мысль, как бы не попасть с Клавдией Петровной в один вагон.

«Каков человек гусь», — думал Коршунов, старательно уходя в мысли от конкретных поступков в обобщение. Строгого суда над собой, человеком, не получалось. Так, снисходительные ататашки самому себе за отношение к бескорыстной Клавдии Петровне и снова глубоководное

обобщение: «Хотел бы я найти человека, который не рванулся бы с места, позови его Театр Номер Один Советского Союза».

И Коршунов хищнически оглядел электричку, ища какую-нибудь мокрую курицу, которая способна была бы не рвануться. Куриц было много, но глаза у них оказались стремительными и жесткими, как будто они и не курицы вовсе, а соколы, готовые на смертный полет. Хорошей закалки и выучки ехала в электричке птица. Коршунов даже засмеялся, даже некая пьеса заколебалась в воздухе, и даже словесный гибрид возник — курьегерь. Надо же! Но колыхнулась пьеса, возникло глупое слово, и запахло паленым пером. «Куриный источник», — смеялся над собой Коршунов. — Пьеса будет «Куриный источник».

Не следовало приезжать, не следовало... Никто, ни один человек ничего в редакции не знал. Ни про поиски Коршунова, ни про театр. «Не, старик, не... Я не в курсе». — «Что-то я вроде слышал, но мимо памяти...» Нюрки в редакции не было. Значит, не было и девок из ее приемной. Это такой закон жизни их редакции. Пришлось сесть в свой закуток за шкафчиком и вонзить пальцы в графоманскую кучу, которая собиралась в верхнем ящике. Вокруг бегал народ, суетился, все-таки наступило неожиданное время, и надо было поспевать за ним, и поспевать было весело. Коршунов ловил себя на мысли, что завидует народу, что вот скажи ему сейчас: а слабо тебе, Коля?

И он бы вскочил и задрал штаны и так далее, как в поэзии. Но уже достаточное количество лет — и каких лет! — его в журналистские игры не приглашали. Разве что Нюрка иногда по старой дружбе говорила: «Роди чего-нибудь для нас, а? Дай передышку нетленке». Но это так. Вежливость и Нюркина усталость. От усталости она добреет, редкое, между прочим, свойство, редчайшее, можно сказать... Вообще Нюрка — наоборотная женщина, начиная с имени и прочее.

Время же шло. И никто Коршунову так ничего и не сказал. И тогда, преодолевая непосильную тяжесть, даже плечи осели и задрожали какой-то липкой дрожью, он позвонил домой. Трубку взяла Аська. «Але-е?» — «Это я, доча!» — «Ну и что, что ты?» Такой ленивый, враспяжечку ребенок — дочь.

В общем, она тоже толком ничего не знала. Да — тянула она — кто-то, кажется, звонил, мало ли? Тебе и раньше звонили не по делу... Что мы сказали? А что мы могли сказать?... Нету как нету... Да никто ничего не оставил. Было бы — знала бы. «Ладно, пап, у меня дела... Пока...»

Теперь у всех такие дети. Кровь такая. Звонить Марусе? Чтоб ей, бедняжке, в одночасье сыграть в учительской сразу три роли — для него, для родного коллектива и для высшего суда? Это ж ей надо будет найти такое слово, чтоб оно по смыслу годилось бы для всех и было интонационно многозначным. И где его найдешь, такое слово? В каком словаре?

Надо возвращаться под оконный ситчик. А Клав-

дия Петровна, старая, извиняюсь, поблядушка, приехала, чтобы просто приехать.

Мужик, мол, один, дождь по крышам стучит так, что стонут все крыши.

Коршунов так двинул стулом, что свалилась настольная лампа. Слава богу, что дура была железной, не разбилась, а засмеялась. Пока водворял на место, зазвонил телефон. И мужской, ломкий, с картавинкой голос спросил:

— А что — простите — Коршунов так и не залетал? Это из театра.

В общем, когда Николай помыл руки — он всегда тщательно мыл руки после графоманской почты, — когда прополоскал рот, а волосы прижал водичкой из-под крана, когда содрал с локтей свитера катышки свалывшейся от возраста шерсти, а ботинки тщательно вытер газетами, пошло-поехало.

Девки из приемной, возникнув из небытия, закудахтали:

— Коля? Коля! Тебя же академический режиссер ищет.

Прошел два шага, спортивный репортер:

— Слушай! Тебя театр домогается, я тебе домой звонил, но со мной, старик, поступили невежливо. Ни здрасте, ни спасибо...

И еще человек пять вспомнили, догнали, поздравили, спросили, ходил ли в театр или еще только идет? В общем, зря он плохо подумал о Клавдии Петровне.

И уже на выходе, в кожаном длинном-предлинном пальто Нюрка.

— Я им сказала, — с порога крикнула она, — что они все там мудаки! Что ты у нас уже сто лет Кречинский...

— Сухово-Кобылин, Нюрка.

— Какая разница? — сказала она. — Хотя я, по-моему, все-таки ляпнула про Кречинского. Ничего себе, да? Поржут товарищи артисты. Ну и черт с ними? С другой стороны, можно ли быть уверенным, что где-то не мордуют талант по фамилии Кречинский? Слушай! Скажи, что есть такой... В Сибири. И что я его знаю... Не хватало еще, чтоб они надо мной смеялись.

— Ладно, — засмеялся Коршунов. — Я скажу, что ты патронажная сестра молодых дарований.

— А то нет! — ответила Нюрка. — Тем и кормлюсь.

И она прошуршала мимо, а Коршунов вспомнил, как однажды Маруся сказала: «А мне и четвертиночки такого пальто не износить. Сроду...»

Коршунов чуть не заплакал. Самое не то время, ему в себе силу надо взрастить, надменность, а он стоит сморкается, а слеза бежит как полоумная, пришлось даже дежурному на вахте сказать: «Как осень — так грипп». — «Ну и нечего разносить», — сердито ответил вахтер и замахал на него рукой. И то верно. Изыди, товарищ сопливый. На улице, спрятавшись в подворотню, Коршунову пришлось вытереть лицо шарфом, потому как

выяснилось — носовой платок лучше было не доставать.

Вот с этой мыслью — у меня нет с собой платка — переступил Коршунов Театр Номер Один.

...И попал на другого вахтера. Видимо, по какому-то простым людям неведомому вахтерскому телефоно-телеграфу *эта* вахтер приняла мах рукой *того* вахтера, поэтому белая ручка за дубовым баром-стойкой остановила Коршунова, и он замер, потому что так был воспитан — останавливаться там, где ходить не велено. А *эта* вахтер — с синими надглазьями, розовыми щеками и платиновой умело взбитой башенкой над полоской белоснежного, ничем не взбаламученного лба, — *эта* вахтер так и держала его поднятой ладошкой. Цирковой, можно сказать, номер, выполненный в характере и цвете.

— Я — Коршунов, — пробормотал Коршунов. — Меня звали.

Почему ему никогда не хватает нужной лексики? Что значит «звали», сам себя редактировал Коршунов. Половой я, что ли? Слесарь-водопроводчик?

— Фамилия? — спросила вахтер, выполненная в импрессионизме, если брать в расчет только цвет и отвлечься от ручки-ладошки, в которой просматривались сила и тренинг соцреализма. И думалось странное: если такая обнимет тебя за шею, то бедная и больная будет *эта* шея. Коршунову сил нет как захотелось уйти. А ведь не душил



его никто, не гнал, и хамства не было, ничего плохого еще не случилось.

Знакомый врач-невропатолог как-то сказал ему: «Еще немножко, и ты уже не мой пациент. И скажу грубо: перейдешь черту — сам будешь виноват. Надо соблюдать форму».

— Вас у меня нет, — радостно сообщила дама. И весь ее вид — ее форма — показывали ему, что не зря, нет, не зря подняла она накачанную в тренировках ручонку. Она — рука-дама-вахтер — имеет нюх и взгляд на таких вот теряющих форму Коршуновых. Значит, извольте выйти вон, товарищ.

Откуда-то из глубины, из яркой пасти разверзшегося лифта, выскочил маленький круглый лысый человек, здакий радостный нолик.

— Ах, Николай Александрович! Николай Александрович! Не сомневаюсь — вы... — И протянул руку: — Нолик. Петр Исеич.

Зашатался Коршунов. Потому что так не бывает. Чтобы нолик был Нолик. Очень уж это поверхностно. Толстым быть Толстыми, белым — Белыми, круглым — Круглыми. Убогая фантазия, которую никакой уважающий себя мэтр не допустит. Это его, коршуновское, счастье — приобрести в нолике Нолика. А Исеич — это что? Исаевич? Евсеевич? Да какая ему разница. Ему-то что? Его позвали в театр. В Самый Что Ни На Есть.

Он увидел собственными глазами момент расцветания вахтера в улыбке нечеловеческой доброжелательности. «Ах! Какое счастье всем нам, —

говорила теперь улыбка, — что вы толкнули эту тяжелую дверь и вошли... Ах! Если бы я знала, я бы выскочила на порог... Я ждала бы вас на сквозняке и ветре... Ах...»

«Это театр, — думал Коршунов. — Надо зарубить себе на носу, что здесь будет сплошное притворство. И моя задача — тоже притворяться, что я этого не замечаю...»

В кабинете, полстены которого занимал не похожий на себя Чехов, — а он и не мог быть похожим в размере ковра три на четыре, — сидел Главный с закрытыми, тяжело набрякшими веками. Какой-то человек, видимо, имеющий фамилию Кучерявый, ломко стоял рядом, крутя в руках не то указку, не то жезл, не то палочку от барабана. «Для поднятия век Главному», — подумал Коршунов и да, угадал. Кучерявый взмахнул предметом. Нолик издал восклицание-припев: «К нам приехал, к нам приехал Николай Александрыч дорогой!» И толкнул изо всей силы Коршунова в кресло.

Поэтому момента поднятия век Коршунов не увидел — он как раз падал назад. А когда упал, то колени его оказались несколько выше головы, а мягкость подлокотника не дала ему возможности опереться и подтянуться, получалось, что так ему и торчать ногами вверх в позе дурака, а кого же еще? Так вот, когда он все это осознал и ощутил — колени, идиотизм и мягкость окружающего его

кресла-среды, — веки Главного были уже подняты.

— Подождем? — спросил Главный Кучерявого. И сам сказал: — Подождем. Без нее нельзя.

Потом он уже сосредоточил взгляд на Коршунове, который думал в этот момент, что поднятие век, в сущности, может ничего не значить. Во всяком случае, у Главного есть еще много створок, которые надо бы поднять и открыть, чтобы понять в конце концов — а что у него в глазу? Какая там гнездится мысль-идея? Ну пусть даже не мысль и не идея, пусть элементарная эмоция. Например, любопытство. Ишь, чего захотел! Любопытство — это не элементарная, это могучая эмоция.

А Коршунов сейчас, в кресле, согласен был на самую малость. На огрызок. Ну, чтоб его увидели в этом кабинете, что ли?

«А! — подумал он. — Для того тут и Чехов-ковер. Чтоб было ясно. Тут уважается только такого ряда интерьер. Вон и Булгаков у них в простенке, длинная клеенная фотография, штаны на которой у Михаила Афанасьевича не стыкуются с рубашкой. Могут вполне уйти сами по себе — штаны, и останется Булгаков бесштаным. Или, наоборот, слетит рубашка с головой, и останутся штаны». Одним словом, Коршунову захотелось встать и уйти, а так как это было трудно, то хотелось заплакать. В шарф. Но шарфа не было, Нолик его оставил где-то там, по дороге. Конечно, был бы платок... «А черт с ними! — подумал Кор-

шунов, доставая платок. — Черт с ними! Мой платок, мои сопли и мои слезы». И он высморкался с вызовом, гордо, как свободный человек, испытывая странное облегчение не в носу, а в душе.

И только он осознал, что спасение есть и в конце концов никто его здесь не замуровал, он может встать и уйти, как разверзлись двери и вошла Она.

Народная артистка — любимица народа, и это не тавтология, первое может не означать второе, а второе может не быть первым. Тут же было полное совпадение, тут все было чисто, как в стерильной колбе.

Коршунов вскочил, и это оказалось совсем не трудно. Просто он любил эту женщину лет триста, когда еще был холопом, а она боярской дочерью... Была у него такая бездарная пьеса на двух актеров, фальшивая от первой до последней строчки, а он, идиот, лет пять с ней носился, а когда понял, что она такое, чуть с ума не сошел, что совался с ней туда-сюда, а вот сейчас пьеса ожила в нем, прекрасная пьеса, что он себе выдумал, самое проклятый, прекраснейшая, если Она в Ней.

Но пока то да се, выяснилось, что Ольга Сергеевна влюбилась в его другую пьесу, что она, можно сказать, сошла с ума от нее, и не только она, а и Исеич Нолик, и что у них есть «задумка», как это сделать. А сделать это можно — чтоб всем напоморде! Иначе в искусстве нет смысла работать. Иначе она вовсе не берется за дело.

Она была не просто рыжей — она была огнен-

ной. Пламя волос так освещало лицо, что просвечивались веточки сосудов на крыльях ее коротковатого, слегка курносого носа. Попавшие в пламя волос брови, как и полагалось им, были слегка обгоревшими, их явно не хватало на радугу глазницы, и Коршунов умилительно отметил наличие следов карандаша, продолжающего след сожженной брови. Высокой, азиатской выделки скулы подпирали купол головы, они же — скулы — формировали некоторую квадратность щек, что не говорило об аристократизме, но в случае с Ольгой Сергеевной о такой малости — аристократизм, ха! — можно было вообще не печься. Тут было много других составляющих, замесом погуще. Была огромная сила подбородка, который мог бы показаться кому-то грубым, не имей он выше себя блистательного рта с губами эротически-иронического изгиба.

Что у нас там осталось неохваченным?

Глаза. Так вот... Это были глаза, прошедшие огонь и не сгоревшие в нем. И они отдохновенно мерцали, зная о собственной, проверенной пламенем непобедимости. И плевать они хотели уже на текущие воды... Что огонь и что вода. Это были глаза, которые, победив одно, другое в расчет уже не брали. Не в расчете были Главный, Кучерявый, Нолик, а Коршунов — просто смех. Зачем его побеждать? Его надо брать голыми руками и делать с ним все что хочется.

А Ольга Сергеевна хотела малю-ю-ю-сенькой переделки пьесы, которая, будучи гениальной, «я

словами не бросаюсь, меня тут знают, мне, чтоб угодить, надо в игольное ушко и обратно, вы сумеете? И не говорите — да, никто не сумеет, а вам и не надо, не такой вы автор... Ваш портрет будет висеть здесь...» И она ткнула пальчиком в простенок, где грифельно чернел подхалимский шарж на Главного (а Коршунов от нервности забыл слово и подумал «фарш»). На этом «фарше» веки Главного были вытянуты до подбородка, но вытянуты как бы набухшей слезой, а не каким-нибудь вульгарным водочным отеком... А если у человека слеза тяготит веко, то ведь сразу организм вырабатывает восхищение у всех смотрящих, ибо мы образной слезой люди трахнутые. Слеза ребенка — и уже когтитя до крови грудь, а тут слеза, можно сказать, зависла в назидание ли, в укор... Но Ольга Сергеевна хвостиком махнула, «фарш» слетел как миленький, и в простенке возник Коршунов. Конечно, величиной он будет в пол-Чехова, это необходимо, но зато и больше штанов Булгакова, а если считать сверху, от головы Михаила Афанасьевича, то как раз дойдет до ширинки, до верхней его пуговички, из всех пуговичек наиболее приближенной к голове писателя как источнику мудрости.

Такие вот глупости обуревали Коршунова, и он даже плохо слышал, о чем они говорили одновременно — Главный, Кучерявый и Нолик, потому что Ольга Сергеевна положила ему руку на плечо и стала отрывать один за другим катышки бывшей шерсти бывшего вполне добротного сви-

тера, и эта домашность дела увела Коршунова из мира грубой материи, где простенки и ширинки, в мир тончайших чувств, летающих ниток, и он наклонил голову, чтоб ненароком хоть чуть-чуть коснуться этих пальцев, что скубют его шерсть. И Ольга Сергеевна легко уловила склонение его головы, подставила фалангочку согнутого пальчика, и он ткнулся в нее щекой.

Боже мой! За что мне столько счастья? Отдай половину бедным!

Нолик в лифте сказал, что, по его разумению, пьесу трогать не надо, она вся из себя «пульсар». Он, Нолик, старается не мараться с современной темой, потому что — как?

Как ее постигнешь, если ты в ней? Но его, Коршунова, случай особый. Нолик значительно и высоко поднял плечи, приняв форму детского двугорбого капора, и в этом виде и вышел из лифта, изображая некое не поддающееся анализу недоумение.

Коршунов понял, что завтра ему надо приехать домой к Ольге Сергеевне, Нолик тоже подгребет, и они вместе, «сообча», придумают, как угодить Ольге Сергеевне, не разрушая пульсар. «Она может захотеть многого, — выдохнул Нолик и закричал: — Но вы — автор! Автор! Вы можете нас всех послать! Послать! Можете! Всех! Не ей вас учить! Не ей! Но где вы найдете такую актрису? А?! Дилемма? Теорема? Парадокс? Казус?»

Нолик разошелся, он уже не был похож на ка-

пор, он разъехался вширь, и от него шли во все стороны бесформенные пятна, и Коршунов подумал, что в театре так и должно быть, вот он ауру не видит, сроду не видел и, если совсем честно, то и не верил, что материальным глазом дано видеть субстанцию идеальную, а тут Нолик весь пошел чернильными облаками, хотелось подойти к нему и развеять их хотя бы при помощи газеты, как дурной запах.

— Ваша пьеса, — шептал из своих облаков Нолик, — пойдет по стране как пожар. Я вам гарантирую сто пятьдесят театров в первый же сезон. Умножение сделаете дома, — хохотнул он, пожимая на прощание руку, которая была у него и мозолистой, и колючей, и шершавой, и твердой, и холодной. И странная, одним словом, была рука. Она Нолику не подходила. Она была из другого человеческого комплекта.

Ноги сами собой понесли Коршунова домой. Все-таки, решил, хорошая новость случилась и для Маруси. К новости годилось бы что-то в руки — цветы там или шампанское, но Коршунов был пуст. С другой же стороны, был он и полон. Его еще не оставили театральные видения-чувства — фаланга пальчика под щекой, отягощенное слезой веко Главного, пуговичка на ширинке Михаила Афанасьевича, капор, распадающийся на пятна чернил... Поэтому наполненный Коршунов гангстерски наломал веток в парке, страстно смешивая желтый, красный и зеленый цвета и пред-



ставляя, как всунет Маруся во всю эту палитру-охапку мордаху и скажет «ой!».

— Пошел вон! — тихо с порога сказала ему Маруся. И добавила уже криком: — Ну, уйти, уйти ты способен? Или будешь теперь носить колоски, корешки, стерню? Ты способен на поступок? Чтоб — р-р-раз, и все?

И Маруся захлопнула дверь.

А желтая веточка попала в притвор...

А зеленая веточка зацепилась за ручку...

А красная... Красная осталась в руке.

И надо было что-то делать... Куда-то идти.

Ничего не подходило. Ночевать в редакции он уже разучился. Проситься к тетке? Но она справедливо скажет: «Зачем же я пустила тебя на дачу?» Для вокзальной лавки он, увы, уже стар. На твердом у него определенно заболит грыжа имени еврея Шморля. Он шел по улице с красной веточкой, дурак дураком...

Сказать — не поверят. Но в огромном городе, столице мира и прогресса и даже нового мышления, человеку некуда было деться, чтоб без претензий и больших замахов на самом узеньком пространстве переспать ночь и в случае везения, может быть, даже поужинать.

Коршунов, наблюдая за собой со стороны, ну как если бы он мимо самого себя проезжал в троллейбусе, подумал: вот идет человек с веточкой, может себе позволить просто идти. Не спешит, гад, ботиночки переставляет едва-едва, а я, несчастный совок, прусь в набитом троллейбусе, и на

меня дышит вирусный грипп, а неужели бы я не хотел так, как тот, с веточкой? Ножонками едва-едва?

Потеря друзей у Коршунова произошла не сразу, а неким трехступенчатым обвалом. Когда зазнобило после оттепели и люди стали нервно ориентироваться, то ли консервировать остатки тепла, то ли быстро шить новые шмотки и уже в них угреться по-настоящему. Коршунов остался с той — меньшей — частью, что решила: не для того, мол, мы размораживались, чтоб опять и снова. Шмотки им были отторгнуты. Это была первая потеря друзей. Второй обвал дружбы произошел, когда Коршунов даже во имя оставшегося братства не ввязался в какую-то свару с новым старым строем. Он тогда лихо писал пьески в стиле Розова — Арбузова, страшно высоко ценил их и, что называется, ждал своего часа. Журналистика отпустила его спокойно, на что он ни капельки не обиделся. Ведь и он спокойно бросил писать все эти «подвалы», «кирпичи», «блоки». Как и не писал. Кругом такие шли страсти-мордасти: Коля, ты должен, Коля, твое перо... А он им тихо: «Да не мое, ребята, не мое...» Третий обвал случился совсем недавно, когда он ушел на «вольные хлеба». Ну, знаешь! Все тогда кинулись жалеть Марусю. Все тыкали его в те старые розово-арбузовские пьесы, ну, где они? Где? Так дерьмо же, братцы, снова тихо отвечал он. Хорош бы я был, существуй они в природе. Сгорел бы со стыда!

Коршунов писал уже иначе. В его пьесах теперь действовали Боги и Деревья, людей не было вообще. В пьесах говорили Комоды, а Тумбочки выходили замуж за Электрические Столбы. Он трясся над сумасшедшими текстами, удивляясь самому этому определению — реализм. Какой, к черту, реализм? Что сие есть? Разве сам Чехов не поставил посреди сцены Шкаф, в который мордами бились его герои, не понимая смысла его существования, но хорошо понимая собственное ничтожество перед Шкафом? Да в каждой стоящей пьесе есть неживая природа, которая живет всех живых. Последнее время, когда он остался один с Марусей и она еще не сказала ему «пошел вон!», Коршунов из благодарной любви к ней вводил в свои предметные пьесы человеческий дух, он даже обряжал его в нечто, обволакивал то кисеей, то бархатом, давал ему голос, и этот мучительный писк человеческого духа доводил его почти до слез.

*Старый Гвоздь.* Если меня выпрямить на бруске, я еще вполне...

*Новый Гвоздь.* Я просто содрогаюсь... Неужели это будут доски? Простые доски...

*Старый Гвоздь.* Сидеть в доске хорошо. Тепло. Нержаво. Попасть в доску — удача жизни. Это тебе не бетон.

*Новый Гвоздь.* Бетон — пошлость. И доска — пошлость. Все — пошлость.

*Старый Гвоздь.* Доска — удача...

*Новый Гвоздь.* Я хочу в плоть...

*Старый Гвоздь.* Слава богу, мы гвозди, не пу-  
ли...

*Новый Гвоздь.* Хочу в плоть! В плоть! И в кровь.

Молодая женщина берет Новый Гвоздь. Она хочет повесить сушить сети, но ударяет мимо. Крик боли. Гвоздь закатывается.

*Новый Гвоздь.* Проклятие! Проклятие. Простая баба не может попасть молотком. А мне обещали тело мессии...

Женщина всегда была Марусей.

Это было его инстинктивной благодарностью за то, что после всех обвалов дружб, после всех этих «как ты терпишь этого дармоеда?» она слушала про гвозди и комоды и даже говорила, что это гораздо интересней, чем про людей. Бессовестный человек все узурпировал, всему дал свои имена, а откуда ему знать, что река — это Река? Может, ее зовут совсем иначе. Может, она Течь? Может, она Хлюп? Может, она И-и-и...

Но теперь, с красной веткой в руке и с собственным соглядатаем в едущем мимо троллейбусе, Коршунов почувствовал такое неуютное сиротство, что даже шмыгнул в подворотню проверить, все ли на нем в порядке? Не разошлись, к примеру, швы на брюках от дряхлости ниток, не оголилась ли пятка в ботинке — носок был на нем с изъянцем. Не заторчали ли из его ушей волосы — недостаток, который Коршунов в себе ненавидел. И волос рос изредка, и услуживал его Коршунов

всегда раньше, чем он кудревато появлялся у мочки, но — поди ж ты... Стыда от этой безобидной волосины было... И сейчас в подворотне Коршунов на ощупь искал в ухе гадостный свой грех и чуть машиной не был сбит: узкой в бедрах была подворотня. Пришлось распластаться на грязном, заплеванном бетоне стены, пропуская мимо черную «Волгу». А она у самых его ног зашуршала, осела, распахнула кремово-пирожное нутро, и знакомая фалангочка поманила его.

— Да ладно вам стесняться и прятаться. Я вас сразу заметила. И про рыжий лист вы догадались правильно. Мой это лист. Давно ждете?

Ну и что? Говорить, что он тут случайно? Что ни сном ни духом он не подозревал об этой подворотне, что забежал сюда от испуга, от сиротства и изухаволосарастущего?

Они подъехали к высокому престижному дому, который умело прячут в самых глубинах дворов. Был домишко окольцован густым стриженным кустом, призванным скрывать невысокую, но частую металлическую оградку, и уже за ней, за оградкой, свободно, без тесноты, белели березки, вполне еще юные, тонкие, будущее которых в ограде вполне могло быть светло и прекрасно. В дом Коршунов и был поведен.

В холле в кадках стояли пальмы, и зеленоватого сукна и строгой выправки мужчина встал навстречу. Он улыбался Ольге Сергеевне широко открытым ртом, Коршунову даже пришло на ум слово — «несмыкание». Но тут же на глазах как

раз и произошло смыкание. Суконный человек перевел глаза на Коршунова и так сцепил зубы и губы, что, казалось, разомкнуть их теперь можно было только путем вбивания какой-нибудь металлической распорки, как открывают посылочные ящики или отделяют друг от друга смерзшиеся куски мяса. Маруся, правда, ударяла их об пол... Коршунов же стучал молотком по ножу. Если положить суконного мужчину на пол и вставить нож... Господи, подумал Коршунов, я совсем спятил... Это у меня от вида пальмы в кадке. Хотя уж чего он так сомкнулся, я ведь ему слова плохого не сказал. И не подумал даже.

В лифте Ольга Сергеевна опустила лицо в красные листья, от чего сердце у Коршунова заколотилось, заныло, потом остановилось вообще, потом ударило под ребра, затрепыхалось, стало большим, горячим и мокрым, дернулось, осело куда-то в кишки, подпрыгнуло к горлу... Коршунов почувствовал, как пот покрывает его всего и даже бежит струйкой по животу. Этого еще не хватало, думал он, помереть в лифте. Это мне за зеленого и суконного, которому я ножом и молотком хотел разжать зубы. Тоже ведь сволочь. Я. Полез к человеку. А может, это чужеземный запах духов Ольги Сергеевны занимает поры моего организма, а сердцу агрессия не нравится. Протестует. Но тут разошлись створки лифта, и они оказались в солнечном холле под самой крышей, где — опять же! — стояли пальмы, и женщина — опять же! — в зеленом халате подмывала пальме

листья, и пальма дрожала то ли от удовольствия, то ли от страха. И эта пальмовая служанка тоже улыбнулась Ольге Сергеевне раскрытым ртом, и снова Коршунов подумал — несмыкание.

Надо было все рассказать по правде. Что просто шел куда глаза глядят... Брел. Не вникать, конечно, в Марусю, а только в свое состояние авторской взволнованности. Мол, шел себе, шел... Ветки ломал. О театре думал. О ней, Ольге Сергеевне. Что бывает же — да? — такое! Когда ведет тебя по нужному пути верхняя сила. И сесть так, небрежно, нога на ногу, не думая о подскочившей вверх брючине, оголившей худую и волосатую коршуновскую ногу. Еще хорошо будет согласиться на чашечку чая, а от кофе отказаться наотрез. Я, знаете, чаевник. И не быть навсесогласным, а настоять именно на чае. Ужо, пожалуйста, чай. С одним кусочком сахара. Песок? А рафинада нет? Знаете, старая прихоть. Люблю смотреть на процесс растворения, так сказать... Перехода одной структуры в другую.

— Почему они улыбаются широко открытыми ртами? — спросил Коршунов совсем не то, что хотел, вешая на крючок шарф и тут же вспоминая о носовом платке, который не очень.

Ольга Сергеевна, исчезнувшая в недрах квартиры, возникла в проеме двери и улыбалась точно так, как суконный и зеленая.

— Вы это имеете в виду? — спросила она.

— О боже! — пробормотал Коршунов.

— Я их учила улыбаться, — засмеялась Ольга

Сергеевна. — Дом наш номенклатурный. Обслуга сами знаете откуда. Они улыбаться не обучены. Я им давала уроки. Сейчас еще ничего. А сначала они только раскрывали рты, как вынутые рыбы, и все. — И она показала рыб, и это было смешно, и Коршунов счастливо засмеялся, потому что все оказалось таким простым и человечным. Просто происходила ликвидация неграмотности в области мимических движений. «Мне у нее хорошо, — подумал Коршунов, — потому что сразу возникло взаимопонимание. Конечно, по-честному, надо бы признаться, что ветки я ломал не для нее, но ведь этим я ее обижу? Обижу. А я вполне, вполне мог и для нее совершить такой подвиг. И другой тоже. Помасштабней. Такая женщина и такая актриса. Из всех — меня выбрала».

Он сидел на краешке голубого, как небо в Пицунде в середине мая, диване. Все вокруг было выдержано в бирюзово-синей гамме и — ни боже мой! — ничего нигде не краснело, не желтело, даже ножки кресел, по определению долженствующие быть деревянного цвета, были отполированы в голубизну. Коршунов опустил руку, даже пощупал, не пластмасса ли, которая может стать любым хреном, но — нет. Ножки были теплыми, деревянными. А тут вошла Ольга Сергеевна с тонкой хрустальной вазой, в которой пламенела его, коршуновская, ветка, и он почувствовал, как заледенела голубизна и вообще все вздыбилось.

— Не сочетается, — пробормотал Коршунов. — Вы это на кухню...



— Зачем же? — пропела Ольга Сергеевна. — Будем преодолевать противоречия... Хорошо, что мы одни. И я могу вам сказать со всей откровенностью, что я думаю о вашей пьесе. Без идиота Нолика.

— Готов! — сказал Коршунов. И снова затрепыхалось глупое сердце, и снова побежал пот. «Ямочка пупа уже полная, — подумал он. — Скоро я запахну».

— Нет, — ответила Ольга Сергеевна. — Вы не готовы. Поужинаем, потом выпьем кофе — или чаю?

— Все равно, — соврал Коршунов.

— ...а потом будем говорить со всей откровенностью. Потому что, честно говоря, пьесы никакой нет... Никакой вы не драматург... Играть у вас нечего. Сплошное сю-сю...

— Зачем же тогда? — пробормотал Коршунов.

— Затем! — ответила Ольга Сергеевна. — Есть молекула. Идите в ванную. У вас давно не мытый вид.

«Сейчас встану и уйду, — подумал Коршунов. — Почему я должен ее слушать? Почему? Да, это старая пьеса. Я уже ее не люблю. И я не хочу от нее ничего рожать. От этой пьесы. Она говорит — молекула. Нет в ней молекулы. Другое время. Надо поблагодарить и уйти».

Думал, а перся в ванную. Щелкал выключателем, стаскивал через голову свитер, натягивал его обратно, приглаживал волосы, набирал дыхания

для слов «знаете, ничего не надо. Ни ванны, ни пьесы... И ветка не вам — ветка Марусе...».

Но при мысли — Маруся — он опять стаскивал свитер, потому что понимал — ничего нет на свете более важного, чем то, чтоб не было сегодняшних Марусиных глаз: Господи, верни ей ранние глаза, в которых был бы просвет, — даже не свет, не искра даже, а именно просвет, эдакая щель под дверью для ребенка в темной комнате, спи, дружок, не бойся, мы рядом. Видишь щелочку? Там — мы... Вот Марусе бы щелочку в жизни, Марусе бы... Поэтому он сейчас разделется до самого нага, избьет себя струей и сядет ковать молекулу. Он сделает все, что скажет эта женщина из голубой комнаты, которая одновременно учит улыбаться бывших вертухаев при помощи несмыкания рта. Коршунов раскрыл рот и посмотрел на себя в зеркало. Специфическое получается лицо, специфическое... Когда рот открываешь не для слова, не для заглота, не для зевка, а чтоб в открытом виде еще и растянуть губы и чтоб глядящий на тебя в этот момент не вскричал «караул!», а принял бы это за улыбку и соответственно сам в ответ раззявил рот... Это нечто! Жуть, конечно, но если подойти с другой стороны. Со стороны гуманизма. Идет ведь процесс обучения хорошему, можно ли придирааться в этом случае, не правильнее ли стерпеть некоторую жуть?

Коршунов скатывал комочком носки, скорбя, что нет запасных и придется напяливать их же, как и трусы, нормальные трусы, сатинчик в кру-

жочек, но, конечно, не вчера надеванные и даже не позавчера... И не третьего дня, если быть точным... Хорошо ношенный сатинчик со слабой, два раза перехваченной узлом резинкой, но он никогда не возникал с повышенными требованиями к жизни. Вон у Маруси как летят колготки! Вечно цепляется за что ни попадя... И еще у нее «молния» на сапоге всегда норовит укусить ногу...

Да наплевать на ногу... Колготки рвет, зараза. Коршунов оттягивал «молнию» плоскогубцами, придумал даже подкладочку под нее, но она не держалась, спадала в носок, и Маруся потом ругалась, что подкладочка натирала ногу.

Из трусов Коршунов вылез осторожно, даже как-то замедленно. Была в этом действе некая значительность мелкого факта при полном идиотизме факта большого. Вот стою, мол, я голый. Но все непросто, товарищи-господа.

Мне бы с ходу, ветром залететь за занавеску, и рвануть краники, и вытерпеть любой напор и температуру, но нет, люди хорошие, нет.

Коршунов топтался голяком на ковричке, испытывая мучительную жалость к худым своим ногам и совсем скукожившемуся, нырнувшему в шкурку плоти «члену-корреспонденту». «У другого бы встал, — печально думал Коршунов, — на такую женщину встал бы. Мой же стесняется... А мне ведь еще ковать молекулу...» — «Ну, не е...ть же», — звякнул кто-то, разместившийся среди пудр и кремов. От этой неизвестно откуда прилетевшей фразы у Коршунова опять началась сердечная чехарда, и он собственными глазами

увидел, как служба его секретиции выводит на-гора тяжелые, как глицерин, капли пота, и они катятся по нему, катятся...

— Когда зайдете за занавеску, откройте на минутку дверь, — услышал он голос Ольги Сергеевны.

— Зачем? — не своим голосом закричал Коршунов. — Зачем это вам дверь?

— Не задавайте глупых вопросов, — ответила Ольга Сергеевна. — Вы мне не нужны...

Коршунов запрыгнул в ванну и почти обмотался шторкой, вода водопадила где-то совсем рядом, не соприкасаясь с Коршуновым никоим образом. Но он не замечал нелепости такого стояния под душем. Открылась дверь, и было что-то заброшено, так это угадывалось по звуку — шмяк и бряк. Смеясь, Ольга Сергеевна закрыла за собой дверь, а Коршунов продолжал стоять параллельно душевой струе и, только когда перестало хватать воздуха в пакете шторы, понял, что он не под душем, а в полиэтилене. «Говно! — сказал он себе. — Говно! Веду себя как последний... Сейчас я ей выдам, заразе! Она у меня сейчас съежится от полного несмыкания... Зараза такая... Молекулу она увидела. Ты у меня сейчас атомы увидишь. Я их тебе забью по самую шею. Ты у меня не вздохнешь — не выдохнешь!»

В общем, великая и простая радость — вода. Ничего не надо — дай воды, и человек уже в полном порядке. Чего нас так и тянет к Великому Индийскому? Залиться хочется, залиться...

А шмякнуло и брякнуло вот что. Трусики мужские, беленькие, хорошие в растяжке и как бы независимые от резинки. Носочки беленькие, импортным ярлычком склеенные. Маечка в пандан трусикам и носочкам. И все это опять же не нашей белизны и не нашей мягкости. Под всем этим лежал голубой халат. «Чтоб слиться с мебелью, — подумал Коршунов, — сволочь». А бряцнули упавшие на пол коршуновские штаны, бряцнули «молнией» об тазик, и, судя по их виду на полу, это был последний звук штанов на этом свете, что возмутило Коршунова до глубины души. Потому что штаны — это штаны, это факт биографии, это, если хотите, так же важно, как пятый пункт или там партийность. Штаны — незыблемая часть человека, смерть штанов — это как обширный инфаркт или вышедшая из строя почка. Штаны надо беречь, тем более если они не то что одни, а просто других нет. И какое она имела право спихнуть их халатом, тоже мне предмет! Существует только для одного — скинуть, а штаны, штаны-лапочки, они — все. И Коршунов выпрямил их по складке и «молнию» проверил, не сбилась ли она падением об тазик, и положил их аккуратно, а сверху водрузил трусики, свои, законные, а еще сверху — комочек носочков, и футболку подсвитерную и свитер — подите все к черту! — хороший еще вполне свитер, носить его не переносить.

И такой весь из себя неземной Коршунов был водружен в самый угол кухни на треугольный ди-

ванчик, над ним висела лампа в виде растопыренной ромашки, и скатерть изображала из себя ромашку, и чашки были с соответствующими цветочками, и вся эта ромашковость почему-то раздражала Коршунова, хотелось все это разломать, чтоб не стать, пусть некомплектной, но все-таки частью некоего гарнитура.

— Что пьем? — спросила Ольга Сергеевна.

— Что дадите, — ответил Коршунов. — Я всеяден и всепьющ.

Выпили коньяку. Заели хорошей колбаской. Коршунов почувствовал — коньяк пошел плохо. Тепла в брюхе не возникло, мозжечок же запульсировал совершенно неврастенически.

— Значит, так, — сказала Ольга Сергеевна. — Про что пьеса? Вы рассказали нам историю женщины, которая жила-жила и вдруг узнала, что в ее семье нет ни одного порядочного человека. Муж — мздоимец на высоком партийном облаке и к тому же содержит параллельную семью. Отец — воингерой, катается по дому на инвалидной коляске, с утра до вечера пишет анонимки. Дочь — шлюха. Сын — гомосексуалист. Домработница каждый день выносит из дома по одной вещи. Лучшая подруга навораживает ей рак. Брат с каждого из них берет деньги, потому что знает, кто из них кто. И в середине этого ужасающего семейства прекрасная, чистая женщина.

— Какая же она прекрасная, если она обрадовалась, когда все про всех узнала. Она разделась догола и стала предлагать себя брату.

— Но ведь она сошла с ума!

— Ну да! — возмутился Коршунов.

— Она просто дура, которая жила на веру. А на самом деле ей было ужасно неудобно, что папа ветеран и герой, а муж член президиума, а дочка отличница, а подруга член райкома. С такими ей было неудобно. Потому что сама она жила с лифтером, они для этого дела отключали лифт, и у них были два детских матрасика, которые стояли у нее в передней, а муж все время спрашивал: что они тут делают, матрасики? А она отвечала: детские матрасики выбрасывать нельзя. Это плохая примета. Пусть стоят.

— Какой же идиот будет играть в таком кошмаре?!

— Вы сами сумасшедший. Нет! Все не то! Ваша героиня — светлая, светлая, светлая! Она не ведает, не знает ни грязи, ни подлости. Ее незнание свято и прекрасно. Вокруг нее не существует греха. Она Ева, не надкусившая яблоко. Хотите больше? Она — Россия, которую ничем не обмывать, потому что чистому — все чисто.

— При чем тут Россия? — разозлился Коршунов. — Ну при чем? Все в грехе. Все таятся. Все изображают из себя черт-те что. Она же тайный всеобщий блуд делает явным. Она говорит: «Давайте жить откровенно. По естеству пакости!» — зовет лифтера и раскладывает детские матрасики. Прямо у всех на глазах.

— Я такое играть не буду! — возмутилась Ольга Сергеевна.

— Я вас что — заставляю? Пьеса ведь так и называется «По естеству пакости». Она без героя. Никто никого не лучше. Раньше говорили — дно. А сейчас все на лифте собираются взлететь на небо. В общем... Она, конечно, плохая пьеса... Я ее писал знаете когда? Когда мы пошли в Афганистан. Это моя последняя человеческая пьеса... Дальше я пошел писать про предметы... Люди кончились. Ну... Я их не вижу... Извините, конечно...

— Глупости! — сказала Ольга Сергеевна. — У вас типичный комплекс непоставленного автора. Вы не понимаете. Для театра нужно два цвета. Два! Вашу жуть надо осветить. Боже! Какой лифтер? Она на самом деле не способна выбросить детские матрасики. У нее двое детей. И два матрасика. Так элементарно. Она сжигает анонимки отца. Она возит его по квартире. Она поет ему песни его детства.

Коршунов так захохотал, что поперхнулся. Пришлось выскочить из угла, забегать, стыдась кашля и крошек, вылетающих из горла. Ольга Сергеевна подошла и стала стучать по спине. В общем, отплевался, а она продолжала стучать, сначала кулаком, потом ладошкой, потом уже не стучала — поглаживала, обхватила его сзади, прижалась. Коршунов понял, что надо разворачиваться, что события идут, как и надлежит им идти, не зря же его пропустили через ванную и выдали соответствующее обмундирование... Но она сама выпустила его из рук и опять толкнула его в угол, посмеиваясь и наливая в рюмки.



— Вы это все перепишите, — сказала она. — Всеобщую жуть все равно никто не поставит. Где это видано, чтоб обкомные начальники содержали параллельные семьи, а герои Гражданской были похотливыми стукачами? Это просто не прохонже по определению. Во-вторых!!! Что еще важнее... Не может быть в пьесе несколько главных ролей. Это нонсенс!

— Их и нет, — ответил Коршунов.

— Но вы так щедры, позволяете себе, чтоб прекрасный романс «Не уходи!» пела, так сказать, жена-дублер. Зачем две похожие героини? Это я пою! Я пою «Страна огромная на смертный бой!», когда вожу старика отца в коляске, и я же пою «Не уходи...».

— Вы читали пьесу? — спросил Коршунов. — Дублерша, как вы называете любовницу, поет романс, чтоб дать возможность соседу перелезть с балкона на балкон.

— Ну, это уж совсем ни к селу, ни к городу.

— Еще как к селу и к городу! Они все — питомник заразы. Она от них расползается и через дверь, и через окна, через мусоропровод... и все под песню... Под танец... Под что угодно... Не надо! — взмолился Коршунов. — Я умираю, как хочу поставить пьесу, меня жена из дома выгнала, я ни черта не зарабатываю.

— Миленький! — Ольга Сергеевна вспорхнула и села рядом. — А я что, слепая? Не вижу? Не понимаю? Я просто затряслась, прочтя вашу вещь... Такая сила, такая злость... Такие слова... Но иг-

рать-то мне! Мне! А играть отрицательную я не хочу. Играть женщину, которая обнажается, — извините...

— У вас хорошая фигура, — сказал Коршунов. — Чего вам бояться? Обнажайтесь!

— Нет, голубчик! — Ольга Сергеевна отодвинулась и залпом выпила рюмку. — Я хочу, чтоб меня любили. Я не могу себе позволить быть ничтожеством... Да, у меня недостатки... Черт с вами! Пусть у меня лифтер! Это моя жалость к человеку, моя щедрость... Но дайте мне чувство победы! Дайте мне заключительный аккорд... Триумф...

— Не дам! — сказал Коршунов. — Вы самая, самая отвратительная в пьесе... Играйте домработницу. Та ворует, и все. Хотите, она перестанет воровать? Вернет все на место, принесет и расставит? В этом даже что-то есть... Она возвращает, но никто не заметит. Не считано. Вот что главное! Столько всего захватили, что никто не заметит, вынеси половину... Они обожрались всем... — Коршунов задумался. — Вот! Вот! Я вижу... Домработница вернет наполненную вазу. Поставит в угол. А старик в нее помочится...

— Господи? Это же театр. В театре нет запахов.

— В общем, Ольга Сергеевна, я вам так благодарен... Что прочли, что молекулу увидели. Но бабу эту проклятушую я трогать не смею. Она — матка. Это я так... Высоким штилем! И объясните там этим вашим... Нолику. Главному. Автор, мол, осел упрямый...

— Я поняла, — сухо сказала Ольга Сергеевна. — Поняла. Воля ваша. Идите. Вас никто, никто никогда не поставит. Никто. В театр идут для очищения...

— Не баня, — вставил Коршунов. И вдруг закричал: — И не храм! Взяли тоже моду сравнивать жопу с пальцем, извините, конечно.... Как можно трогать храм? Приближать его к театру. В храме ты и Бог. А в театре ты и ты. Разговор на двоих. В зале на тебе штаны, лопнувшие по шву, а на сцене ты из себя граф. Но ты-то знаешь, что это ты. Можно, конечно, закамуфлировать — самого себя не узнавать. Но все равно в конце концов узнаешь. Потому что из человеческих соков театр, из человеческого потайного греха и невыявленного таланта... Бог создал человека, а человек создал театр. А когда театр тщится, изображает, что он непосредственно Божье творение, то это он из тщеславия, из гордыни. Из самомнения, что он человека знает лучше самого человека. Чепуха! Эта пьеса — мое мясо. А вы хотите, чтоб я человечину переделал в козлятину.

— Ну ладно, — сказала Ольга Сергеевна. — Ладно. Но наполните мою роль, наполните! Она ведь у вас почти немая, эта женщина. Договорились — я пою?

— С чего бы это? — Коршунову хотелось уйти. Вдруг он почувствовал, что все эти им же придуманные герои пришли и расселись и ждут чего-то... Чего, спрашивается? — Я, знаете, написал пьесу про Гвоздь, который мечтает о человече-

ской плоти и ни о какой-нибудь там обыкновенной, моей, к примеру, а плоти Мессии. Видите ли, Ольга Сергеевна, мы даже когда гвозди куем, то наполняем их ненавистью и жаждой убивать. Я не теоретик. Не могу объяснить. Но ведь учили — гвозди бы делать из этих людей. Каких людей — помните?

— Революционеров...

— Ага... И я про это... Вот и получились гвозди. Нельзя в пьесе ничего изменить. Нельзя. Вот разве что домработницу. Я все время чувствовал... Когда она ворует, у нее в душе тошнота, ну, знаете, когда нарушение вестибулярного аппарата. А в ней момент отвращения... Помните, когда она ногами топчется в разлитом коньяке и пьянеет?

— Вот это вообще чушь, которую надо выбросить. Совершенно ни к селу, ни к городу дурацкое такое опьянение. Через микропорку. Глупо так... Не говоря о том, что разрушает ритм...

— Ну, может, ритм и разрушает... Я этого не знаю... Но через тапочки, через чулки она опьянела... Я же говорю — они излучают яд. Ни к чему нельзя прикоснуться. Я даже хотел, чтобы в конце пришли люди в скафандрах или там в чумовых костюмах и все это сожгли... Но это было бы чересчур. Это моя несбыточная мечта. Но я принципиально против введения в пьесу мечты. Знаете почему? В мечте есть зародыш божественного. Даже в самой дурной. Хотя бы потому, что мечта бестелесна... А театр очень материален. До грубости. Грим там. Фанерные деревья. Парики. Носы.

Господи! Как он груб, театр... Впрочем, к чему это я? Я его обожаю. Я жизнь свою поломал и бросил ему под ноги. Я так мечтаю увидеть свою пьесу. Конечно, я все готов доработать, там столько неточных слов. Но эту роль трогать нельзя. Какие песни? Какое сумасшествие? Вы хорошо сыграли бы то, что есть...

— Я сыграю хоть что! — воскликнула Ольга Сергеевна. — Хоть что! Но я не вижу смысла! Играть маразм? Да еще без слов? Вы посчитайте, посчитайте. Я посчитала... У вас пять женских ролей... И у всех почти одинаковое число слов... Вам нужно пять выдающихся актрис...

— Хорошо бы, — пробормотал Коршунов.

— Но их же нет! Нет! Я одна буду тащить вашу пьесу на немой роли! Отдайте мне песню. Это раз. У домработницы есть дивный монолог... Ну, этот... Когда она разбивает бутылку с коньяком. Помните? «Ну вот... Ну вот... Пролила... Сейчас я возьму чистую простыню... Напитаю... Отожму... И выпью... Человек не умеет лакать... Это жаль... Мог бы в процессе эволюции этому и не разуаться...» А потом она сосет коньячную простыню!

— Да нет же, — устало сказал Коршунов. — Ничего она не сосет. Зачем? Там коньяка залейся. Это она шутит. Неудачно, наверное. Она подтирает пол. Она — хамка, холуйка... Возвращенная коммунистической ненавистью, ей это как плюнуть в борщ соседу. Вот ей и приятно добротной вещью поелозить по полу. Мы же довели холопст-

во до вершины, до апофеоза... Наш холоп — лучший холоп в мире... Как наш балет...

— Вы еврей? — спросила Ольга Сергеевна. Коршунов растерялся.

— При чем тут еврей?

— Только еврей так может ненавидеть русских...

— Каких — русских? — Коршунов подумал: «Или я схожу с ума, или с ума сходит она. Но один из нас определенно сумасшедший».

— Значит, вы еврей, — удовлетворенно повторила Ольга Сергеевна. — Коршун, коршун... Как это на идиш?

— Пардон, — сказал Коршунов, выбираясь из-за стола, — пардон. На таком языке я вообще не говорю. Я его не знаю. Позвольте мне одеться и уйти. Мое барахло в ванной...

И он пошел в ванную. И стал стаскивать с себя трусики и майку, обнаружил, что чужие вещи утратились на теле, прижились, им не хотелось сниматься, и он рвал их как кожу, удивляясь этому чудному факту, что за какой-нибудь час-два-три можно так сродниться с материей, а у него чаще иначе, не он вещи носит — они его. Но тепло трусиков не повод, чтоб оставлять их на себе, надо влезать в свое, законное, и в этот самый момент, когда он стоял голый, Ольга Сергеевна открыла дверь — забыл, что ли, дурак, закрыть? — и смотрела на него с большим интересом, как если бы хотела приобрести его навсегда. Вот почему ей важно было разглядывать человека подетально.

А какова у нас спинushка? А не дрябли животик? А каков цвет растительности? Не слишком ли рыж? И не пожухла ли она вообще?

— Смотрите! Смотрите! — бормотал Коршунов. — У вас на предмет обрезания интерес? Так, извините, нету! При мне шкурка. А барахлишко ваше я по дороге могу отдать вертухаю, который с несмыканием. Он сносит. Халат же на балконе повесьте. Воздух прочистит мое пребывание в нем.

— Дурачок! — ласково сказала Ольга Сергеевна. — Мой гениальный дурачок!

И она распахнула свой халатик и ринулась на Коршунова так, что он чуть не упал на раковину, но удержался и имел теперь сзади холодящий спину кафель, а спереди голую горячую женщину, которая тянулась к нему своим фантастическим ртом, тыркалась в него коленями, плющила об него груди, но — Боже великий и смеющийся! — Коршунов вошел в себя весь, без остатка, где-то внутри него громыхнули замки и засовы, звякнули цепочки, взвизгнули шпингалеты, шмякнулись вниз темные шторы. И все, нет его. Коршунов был гол, неприступен и независим. Он смотрел на женщину из маленького смотрового или слухового там окошка, которое надлежит иметь всякой уважающей себя крепости, и смеялся тщете ее усилий добраться до него.

— Ты смотри на меня, смотри, — шептала Ольга Сергеевна. — И губы ее спускались ниже и ниже, и уже хорошо были видны: корни ее волос —

не огненных вовсе, а обыкновенных русеньких, уже траченных сединой. Была видна оспина от детской прививки, большая, корявая, и странные, несоразмерные пальцы. Тонкий, какой-то безжизненный вялый мизинец и большой палец с раздутой косточкой и широким и низким ногтем.

Он схватил ее под мышки, встряхнул и сказал:

— Потом вы будете страдать, что так поступили.

Ольга Сергеевна тут же запахнулась и — как ничего не было.

— Это вам надо страдать. Импотенту.

— В общем, да, — сказал он. — Я последнее время фурычу плохо.

— Слишком много для одного мужика, — засмеялась Ольга Сергеевна. — Тайный еврей и импотент. Оттого и выхода в ваших пьесах нет, света в конце тоннеля.

— В общем, — ответил Коршунов, натягивая свитер, — когда я это писал, я был вполне.

— Недоказуемо, — сказала Ольга Сергеевна, — недоказуемо...

— Да ладно вам, — засмеялся Коршунов. — Спасибо вам за все. В общем, было даже интересно. Во всяком случае, домработницу я переделаю точно... Вы мне подбросили идею... И вообще... Коньяк... Душ... Все было вполне...

— Жду завтра, будем говорить уже с Ноликом, — сказала Ольга Сергеевна.

— То есть? — не понял Коршунов.

— До завтра, — ответила Ольга Сергеевна. — Придете завтра с идеями. У вас другого выхода



нет. Вас все равно никто не ставит. Выпишете роль по мне, и все будет в порядке. И не изображайте из себя униженного и оскорбленного. Пока вы — дурак. Поумнейте ночью. Нолика насмешим, как вы принесли мне веточку...

— Да я не вам ее нес, — сказал Коршунов. — Тут скажешь — не поверят. Я вообще шел мимо...

У самого порога он вдруг остро ощутил, какая она соблазнительная. «Вот это да! — подумал Коршунов. — Хоть оставайся... А то ведь кому сказать...» Но с эмоциями у него был явный разлад. Стоило тормознуть на этой «хоть оставайся», и так потянуло на улицу, на воздух, что вроде он не в чистом и проветренном доме, а в камере, где уже все живое выдышали и пора взламывать дверь. Он и стал взламывать.

— Что вы делаете? — закричала Ольга Сергеевна. — Вы что, не видите, здесь замок.

Выскочил. Внизу в кресле дремал тот, что с несмыканием. Глаза его общупали Коршунова, и была в них откровенная ненависть, а больше зависть. И если ненависть в нем была испоконной, генетической, то зависть была сиюминутной, конкретной, она стыла в щупе глаз, прошмонавших Коршунова и учуявших следы женщины, о которой вертухай всю жизнь мечтал, дремая в кресле, и которую завсегда воображал, затискивая в угол каптерки уборщицу пальмовых листьев. Он думал тогда, что пронзает рыжее лоно всенародной артистки и от этого рычал радостно и громко, и рык его, ударяясь в помойные ведра, выходил из

них не похожим ни на какой естественный звук. И если в этот момент в лифте ехали дети, то их няньки объясняли им просто, что это кричит дедушка Домовой, а если это были родители, то они рисовали научную картину движения воздуха и воды в трубах и утешались, что звуки водопроводных труб не опасны ни с какой стороны.

Откуда это мог знать Коршунов? Он прошел мимо несмыкаемого, и все. Он даже «до свидания» ему не сказал.

Голова была занята странным. Она разыгрывала пьесу, в которой пять абсолютно одинаковых женщин играли абсолютно разные роли. Женщины путались в словах, потому что забывали, которая из них кто. Коршунов думал, что, конечно, это чепуховая идея, но что-то в ней есть. Если взять за основу такое: мужчины — существа многочисленные и разнообразные. Женщин же в количественном плане нет вообще. Есть в природе одна единственная женщина на сколько-то там миллионов мужиков. Ну и каково ей иметь их всех? А каково мужчинам иметь одну и ту же?

«Идиот, — подумал про себя Коршунов. — Лучше разрабатывать тему Гвоздя-мечтателя. Гвоздя, ждущего Мессию. Как он прячется. Как он зарывается в хлам. Как выскальзывает из рук. Как он сам себя точит, чтоб не потерять способность. Как он в поисках точила обхаживает всякие твер-

дости, а эти дуры принимают его прикосновения за поцелуи...»

Одним словом, в голове была каша из гвоздей и женщин, а на лавочке у подъезда сидел застывший от холода Нолик.

— Да, — сказал Нолик, — да. Моросит... Ерунда, Но у меня нежные почки. Странно, да? Нежные почки... Другой образ. Представляется клубочек завязи с тугой, скрученной силой... Нежной, но неукротимой. А я про фиолетовую больную материю, которой вот такая погода ну просто ни с какой стороны...

— Ну и шли бы домой, — ответил Коршунов.

— Как же, — слабо выдохнул Нолик. — Вас... Вы же были у меня дома...

Коршунов не то свистнул, не то хрюкнул, не то рывкнул.

— А почему, собственно, такое удивление? — не понял Нолик. — Она моя жена. Хотя странное определение применительно к ней.

— Мы поговорили и не поняли друг друга, — твердо сказал Коршунов. — Это чтоб вы не брали в голову лишнее.

— Голубчик! — сказал Нолик. — Голубчик вы мой! Это ужасно, если не поняли. Ужасно... Ей нужна роль. Большая. Звонкая... Чтоб она царила в ней. Ей только такие роли годятся. Она не любит Чехова. У него нельзя царить. Шекспир... Уильяме... Это по ней.

— Господи! — взмолился Коршунов. — Даже в крутой пьянке... Даже в момент наивысшего са-

момнения... Это я в голову не брал. Шекспир там или Чехов... Вы спятили...

— Конечно, — ответил Нолик. — Конечно, вы — не... Поэтому и нечего вам выпендриваться. Ваш бюджет на нуле, я узнавал. Вам уже за сорок. Талантливые мужики к этому времени успевают все сделать и помереть с сознанием состоявшейся жизни.

— Спасибо, — засмеялся Коршунов, — на добром слове.

— На здоровье. Я в этом лицо заинтересованное. Напишите ей роль из всех женщин, оставьте остальным то, чего они стоят. И помирайте себе. У вас в спектакле должна быть Одна Актриса. Одна! Понимаете?

— Вы сговорились? — спросил Коршунов.

— Конечно, — ответил Нолик. — И Главный так считает. Я не учел вашей прыти, что вы уже сегодня будете здесь... А она у меня не дипломатка. Я это вижу по результату. Но вы-то что? Вам такие женщины встречались по десять на дню?

— Нет, — честно ответил Коршунов. — Нет, вы отхватили музейный экземпляр.

— Слава богу, что понимаете... Вот давайте пойдем от этого. Давайте сломаем пьесу... Честно сломаем, до досок... И выстроим снова. Ведь никто ее не читал. Никто не видел. В сущности говоря, ее не существует. Чего вы ломаетесь? Это будет бенефисная вещь, с вашими же словами... Вы сообразите — на то вы талант, — как перенести их в другие уста. И ни в какие-нибудь... В уста Ак-

трисы, которую вам с огнем не найти. А потом пьесу схватят все театры. С ее подачи... Ну что я вас уговариваю? У меня ноют почки... Я жду тут уже три часа.

— Почему вы не поднялись?

— Это самый идиотский вопрос из всех идиотских вопросов, которые я слышал в своей жизни. Самый! Вы дурак, Коршунов?

— Да, — ответил Коршунов. — Да. У меня еще один идиотский вопрос. Как вы узнали, что я там?

— Я с вами развожу руками, — сказал Нолик.

И он действительно развел руки, и в ночи, на фоне сумрачного неба и морозящего дождя, снова стал похож на растянутый вширь двугорбый капор.

— Вы слышали про такое изобретение — телефон? — И он пошел в подъезд, съезживаясь, сморщиваясь на ходу до величины своей больной фиолетовой почки.

Коршунов было крикнул, что у него есть идея одной женщины на всю пьесу, в конце концов столько технических возможностей это осуществить, но вдруг устыдился, потому что понял, что все это тысячу раз было и не им придумано. Господи, спохватился, как я это успел не сказать, а то бы скрутили трусиками и маечками... А пошли вы!

Конечно, изобретение телефона уже было.

Конечно, бездарно было ему, Коршунову, сыграть роль Нолика на лавочке в собственном дворе.

Конечно, с почками у него все было в порядке, пока, во всяком случае, но дождь и холод делали

свое дело. Коршунов мысленно звал Марусю, вот выйдет она на балкончик, приложит ко лбу козырек ладошки и закричит в ночь: «Ты что, спятил? А ну подымайся! Ревматизма тебе не хватало...»

Но Маруся не выходила, хотя нижний свет у нее горел. Значит, читала. Или проверяла тетради. Или? От этого «или» Коршунов понял, что готов для убийства. Вот так запросто, на ровном месте, возле детской песочницы со следами свежего собачьего дерьма, возле кривого тополя, созданного для конца кабеля, другим концом зацепленного за конек трансформаторной будки, на котором он, Коршунов, выколачивал свой единственный, выстоянный в очереди машинный ковер три на четыре, — он созрел для убийства. Отвлекал ковер. Работа по его выбиванию всегда стыдила его, именно так, стыдила, потому что и кабель, и битый ковер, и выпрыгивающая из него пыль, и треснутая оранжевая выбивалка — всегда говорили ему одно и то же: «Ну и хозяин же ты, Коршунов, если несчастный пылесос за сорок пять рублей купить не можешь». И каждый раз он говорил себе: завтра же куплю. Завтра же! Но приходило завтра, и наличие выбитого ковра и удовлетворенной этим Маруси отодвигало проблему пылесоса в завтрашний день. А значит — в бесконечность. Вдруг Коршунов понял, что ничто не сделанное сразу не сделается никогда. Вся жизнь он жил завтрашним днем. Это его проклятая графомания, это она своей постоянной незавершенностью перетягивала его в завтра... Пренебрегая сегодня — всегда таким конкретным,

конкретным до противности, как собачье дерьмо. И сегодня у Маруси в час ночи горит свет, а завтра ей рано вставать. Почему она его не гасит? Но именно в этот момент Маруся возьми и погаси проклятый свет. Коршунов вскочил и ломанул тот самый для кабеля созданный сук на тополе. Тополь аж взвизгнул. Вооруженный и наполненный до конца желанием ничего больше не откладывать на завтра, а убить сегодня, Коршунов встал у подъезда.

Так и стоял с тополевым оружием наперевес. Человек в момент идиотии, сказал он себе, убедившись, что из подъезда так никто и не вышел. Представилась Маруся, откинувшаяся на подушку с закаменелым лицом неудачницы. Он боялся такого ее лица, опрокинутого, с закрытыми глазами, сцепленным ртом. Он знал, он чувствовал, сколько в ней в этот момент непокая и крика, а не нет же, натянула на себя кожу и лежит живая мертвая. О чем она думает сейчас, когда его нет рядом? Он знает о чем. Она думает о Романе Швейцере, который уехал в Америку и стал миллионером. Десять лет назад он пришел к ним и долго ждал, когда Коршунов вернется с дежурства. Маруся, встретив Коршунова в прихожей, прошептала: «Сидит и сидит. Говорит, ты нужен...» Дело в том, что Коршунов Марусю у Ромки отбил буквально накануне их женитьбы. В молодые годы это, конечно, дело житейское. Коршунову даже не пришлось очень гордиться, так как Ромку исключили из института по диссидентскому делу, а Маруся так перепугалась, что ей прописали витаминные

уколы. Коршунов же Ромку за все это зауважал, хотя до этого считал ни рыбой ни мясом. А потом через четыре года является в дом Ромка, заваливается в угол дивана и говорит Марусе: «Вы мне нужны оба, чтоб не было испорченного телефона».

И, дождавшись Коршунова, говорит: «Значит, так, ребята... Я рву когти. Насовсем и навсегда. Маруська! Ты моя единственная в жизни любовь. Мне никто больше и никогда... Хочу тебя забрать с твоей девчонкой. Пусть вырастет там как человек. Николай! Я тебе говорю честно. Ты Маруське не пара. Она — цветочек, который требует полива каждый день. А тебе, Николай, нужен кактус. Я Маруську и дочку вашу уберегу и взращу, я слово тебе в этом даю. А тут они сгниют. Тут через десять лет от Маруськи останутся мощи. Я не рай обещаю, я обещаю беречь. С тем вот пришел...» — «Ну с тем и отвали!» — сказал ему Коршунов. «Да я не твоих слов жду. Маруськиных», — ответил Швейцер. «Рома, ну как ты можешь прийти в семью, где уже есть ребенок», — начала Маруся. И она стала бестолково бормотать о сохранении семьи, а Коршунов стоял и думал: «Роман Швейцер до утра будет ждать, потому что плевать он хотел на «институт семьи», он — даже наоборот, — он от Марусиных слов как бы крепчает в своей сумасшедшей идее, потому что «ломать институт» ему будет одно удовольствие». «Да не любит она тебя! — закричал Коршунов. — Скажи ему это!» Он тогда даже толкнул Марусю. И та покраснела, растерялась и сказала: «Но это же само собой разумеющееся». Причем послед-



нее слово у нее не произнеслось, завязло на шипящей.

Тем не менее уехал Швейцер. Ни с чем уехал. Коршунов же шипящую не забыл. «Вела себя, как дура из профкома...» Маруся прицепилась к этой «дуре из профкома», разобиделась до слез, а потом вот так легла на подушку — навзничь и с закрытыми глазами. Первый раз.

И Коршунов думал, что Маруся, лежа одна, проигрывает сейчас свою счастливую неслучившуюся жизнь со Швейцером.

«Ну и думай, зараза!» — сказал Коршунов и пошел прочь от дома, в ночь и темноту.

Тут, чтобы уже никогда больше не возвращаться к этой истории, не будет в этом нужды и времени, надо сказать, что думала Маруся в тот мокрый вечер не о Ромке Швейцере. Никогда ни разу — вот бы Коршунов удивился — не примеряла Маруся на себя Швейцеру американскую удачу. Могла сказать вслух: «Вот была дура!» Но мало чего ляпнет язык? Сейчас же, лежа навзничь, Маруся думала о Нюрке, замредакторше, которая носила длинные кожаные пальто, коротенькие норковые шубки, бриллиантовые сережки и крокодиловые сумочки. Нюрка позвонила утром и спросила, где это черти носят Коршунова? И слышалось Марусе в голосе Нюрки женское неудовольствие, не претензия начальницы к нерадивому сотруднику. Марусю с этого разговора просто заколотило. Давно, давно Нюрка внушала ей подозрение. И даже то, что Коршунов держался в редакции на птичьих правах, имело для Ма-

руси одно объяснение — Нюркино неслучайное покровительство. Как он ей звонил? «Мать! Слушай...» И таким ба-ритончиком... Ну ни с кем так, ни с кем!

Как же смел он явиться к ней с этими осенними ветками? Это ведь Нюрка! По телевизору! На всю страну! Объявила в какой-то бабьей передаче: «Всем цветам предпочитаю осенний букет листьев». Коршунов тоже смотрел тогда передачу, это точно, она помнит, как отошел он без звука. Маруся за выражением его лица следила — чего это он после этих листьев как бы забеспокоился? Таскаю, мол, ей анемоны и орхидеи, а она, оказывается, другое любит. Листья... Маруся его тогда между делом спросила: «А что, Нюрка живет со своим космонавтом?» Коршунов же как не услышал, уставился в окно и стучит косточкой пальца, стучит. А потом сел за стол и нарисовал лист. Кленовый. Фигурный. И гвоздь, его протыкающий.

Сейчас у Маруси закипали слезы. И хоть она не обнародовала факт, что сама выставила Коршунова, и где его черти носят, понятия не имеет, сейчас она сказала себе: «Все! К черту! Разведусь! Что я — первая?» Она сняла кольцо с левой руки и перенесла на правую, вернее, хотела... Но кольцо на палец не лезло, застревало на косточке, от чего Маруся совсем разревелась, даже подвывать стала. Она вдруг подумала глупость из модной псевдонауки о том, что мысли вполне материальны, даже толкнуть могут. Поэтому от снятия кольца Коршунов должен был тут же оказаться во дворе и смотреть на окна, потом птицей взлететь

на этаж, и она — взлети он — простила бы ему бриллиантовую Нюрку, черт с ней и с ее космонавтом... Маруся даже встала и подошла к окну и увидела, как уходил из двора, видимо, пьяный, шатающийся мужик с огромной палкой. Тут Маруся испугалась другого: а вдруг ненароком этому алкашу встретится возвращающийся в лоно семьи Коршунов, не дай бог, какой может случиться ужас. И Маруся стала молиться, чтоб в этот момент существования мужика с палкой Коршунова близко не было.

Что тут можно сказать? Можно пофантазировать о феномене раздвоения личности, который никакой не психиатрический факт, и тем более не наука, а самая что ни на есть бытовщина. Бытовщинка даже. Которая в нас от страха, живущего спокойно и безопасно, как моль в шерсти. Не надо только трогать лишний раз. Не самое страшное в нашей жизни моль. Дитя малое ее не боится.

И оставим Марусю на этой утешающей, расслабляющей молитве о Коршунове. Она уже повернулась на бочок, и кольцо у нее на левой руке, и Нюрке она послала всевозможные проклятия, и за Коршунова помолилась, и себе пожелала. Господи, ну хоть немного отпусти ремни, ну чтоб полегче вдохнуть и выдохнуть, чтоб до получки хватало, чтоб дочка-дура не дала кому попадая под влиянием выдачных фильмов, а про мир во всем мире, Господи, я не прошу уже давно, какой там мир, если давно война всех со всеми. И хорошо бы отдохнуть... И чтоб на травянистом склоне, по которому скатишься, — и бедра делаются уже,

так в польской книге написано, но где такие склоны, чтоб без консервных банок? Надо же переводить такие книжки в стране, где банки и стекло не убираются... Ужас представить, как ты по травянистому склону, а на пути твоём лежат бывшие шпроты. Хотя где они сейчас, шпроты?.. А хорошо бы съесть желтенькую рыбоньку с кусочком черного... Но про еду на сон грядущий думать не надо, так не уснуть. Надо думать про другое. Другое... Другое... Уснула все-таки Маруся, уснула.

Удивительное явление природы человек, достойное уважения и тем более пожелания спокойной ночи.

Коршунов же уходил все дальше и дальше от дома. Он не знал, куда идет, а тут еще палка определяла некий странный ход мышления. Коршунов ощущал себя сильным, злым, ненавидящим, ему хотелось что-то или кого-то звездануть, и уже где-то возле сгиба локтя появилась ухмыляющаяся морда химеры и стала тихонько подталкивать локоть, так вроде, в шутку, мол, что идешь не весел, голову повесил, развлекись-ка, дурачок, палкой! Тебе это будет хорошо! Как ты можешь писать о возжелании неким гвоздем крови, если сам ты ни разу в жизни своей вкуса крови не чувствовал? Ну, шандарахни, дурачок, по тому типу, который идет тебе навстречу. Ты его не знаешь, тебе его не может быть жалко, да и вообще, что такое жалко? Ты вообще думал когда-нибудь о бессодержательности этого слова? Хотя раз в жизни остановила ли жалость кровь? Начиная со всем

известного пришельца, который пытался говорить доступными словами, и его забили палками, и посадили на крест.

Коршунов почувствовал, как потекла по его жилам тяжелая, похожая на деготь жидкость, как стал он враз сверхматериален, будто поменяли в нем все атомы на совсем другие. Человек же встречный был — наоборот — из прежних атомов. Он был легок, воздушен, он просто парил над землей, и подбить его было одно удовольствие, спасение. Пришлось остановиться, прижаться к серой облупленности дома и замереть. Второй раз за день он пытался раствориться в стене. Сверху на него смотрел чей-то каменный профиль, у профиля была несмыкаемость вечных губ, и Коршунов вдруг подумал, не всеобщее ли это свойство, не замеченное им раньше. Может, и он так же живет с распахнутой щелью рта, изображающего этой щелью улыбку? В общем, летучего мужика мимо себя он пропустил, а палку он вставил именно в рот знаменитости. На, мол, тебе!

Коршунов отошел в сторонку, прочитал фамилию. Нет, не слышал, не знает. Эх, бедолага! Развлекись, каменный незнакомец, вкусом свежего дерева. Сомкни на нем свой вечно несмыкаемый рот.

В конце концов, к утру Коршунов добрал до редакции. Заспанный вахтер, другой, не тот, что отмахивался днем от его чиха, пустил его сразу, а Коршунов приготовил длинную просительную речь, с элементами самооговора. Разве с нормаль-

ной стати будет мужик таскаться ночью без прикаянности? Тут для сюжета и годилась бы небольшая самоклевета с намеком, но вахтер оказался человеком нелюбопытным, что до странности Коршунова удивило.

Усаживаясь в холле в кресло и укладывая разутые ноги на кресло напротив, укрываясь снятой с приткнутого к стене президиумного стола зеленой суконной скатертью, он стал искать начало неправильности сегодняшнего дня.

Итак...

Останься он на даче, а не беги с бухты-барахты в город. Ведь то, что он тайлся от Клавдии Петровны на станции, сливался, как какой-нибудь хамелеон, со столбами и деревьями, уже был ему знак ложного пути.

...И в театре нельзя было вести себя недоумком, которого по особому повелению запустили «в храм», предварительно отхлестав по губам и рукам, дабы ничего не говорил и ничего не трогал.

...И в притвор собственной двери надо было поставить ногу, а потом сказать Марусе коротко: «Дура! Пусти...»

...Тогда не попал бы он в ту подворотню, потому что с этого момента все было стыдно, и теперь он не пойдет больше в этот треклятый театр, гори он синим светом. Значит, вся загвоздка была в ноге, которая не встала в притвор двери. Но так как ни один арбитраж в расчет правую или левую ногу не примет, то виновата во всем была, конечно, все-таки Маруся. Коршунов задремал на сладостной мысли виноватости Маруси во всем... Най-

денный виноватый — это вообще конец истории, потому что, в сущности, поиски виноватого и есть главная пружина жизни, натянул ее и разглядел в спирали застрявшего виноватого, дальше что? Спуск пружины.

Через полчаса его растолкала Клавдия Петровна, приговаривая, что скатерть эту, заразу зеленую, не выбивали и не чистили если не пять лет, то десять лет точно и что пусть сейчас же идет в кабинет Нюрки, которая ночью улетела в Швецию, значит, он может по-человечески выспаться. И действительно, в Нюркиных апартаментах Клавдия Петровна дернула сиденье дивана туда-сюда, превращая его в роскошное ложе, из-под самого низа которого были извлечены пара простыней и ворсистое одеяло. Даже подушка нашлась, правда, в другом шкафу, хорошая, большая, перьевая подушка.

— Ложись, — сказала Клавдия Петровна, — я тебя закрою. Можешь даже раздеться.

— А эта постель, она что, тут всегда? — спросил Коршунов.

— Всегда, — ответила Клавдия Петровна. — Ты не думай, я все стираю.

Она задернула шторы, стало совсем темно. Коршунов ждал, когда она уйдет, чтобы раздеться, но Клавдия Петровна передвигала на Нюркином столе предметы и не уходила. Коршунов вздохнул и лег одетым, поверх одеяла. Клавдия Петровна как-то серебристо засмеялась и пошла к двери. Коршунов закрыл глаза. Щелкнул ключ в замке.

«Часа два у меня есть», — подумал Коршунов

и тут же почувствовал, что рядом тихо и осторожно ложится Клавдия Петровна. Коршунов не открывал глаза, но если бы открыл, то испугался бы этой картины: плоско лежащих с закрытыми глазами мужчины и женщины, которые дышали так тихо, будто боялись дыханием разрушить хрупкую материю мироздания.

А потом Коршунова настигли запахи. Они были простые, можно сказать, даже примитивные. Это был запах распаренного в горячей воде веника, запах волос, смятых узкой цигейковой шапкой, запах вигони, в недрах которой остался запах духов «Серебристый ландыш», и запах капель Зеленина. Грубовато давал о себе знать запах утром распущенных в воде дрожжей, он резко перебивал теплый домашний запах тела. И эта откровенная простота Клавдии Петровны рождала ощущение покоя и заставила Коршунова не то всхлипнуть, не то громко вздохнуть, на этот звук Клавдия Петровна повернулась первая и обняла его, и все пошло как у людей, и она сказала ему потом, что вот требовал, требовал смолоду, а в старости пригодилась, а он ей сказал, что смолоду был дурак. На что она ответила — нет, ты никогда дураком не был, тебе это просто не надо было, и она на это не в обиде. Наоборот. Никто к ней по утрам больше не ходит, годы ее не те, да и девки пошли какие? С ними стовориться на любом месте можно, раз плюнуть. Но держать постель — это у нее осталась привычка. Мало ли? На «совсем плохо» она лучше всех. Разве не так? Ты сам скажи... Скажи мне приятное. Но Коршунов спал.



Он не слышал разговоров Клавдии Петровны, он спал глубоко и спокойно, и тело его было легким, легким. Ему даже приснилось, что он летит, чего не снилось уже лет тридцать. Клавдия Петровна укрыла его со всех сторон и решила, что надо пойти в церковь и поставить свечку всем святым, чтоб этому дурному Коршунову повезло. Потом взяла листок на Нюркином столе и коряво написала: «Не орите. Здесь человек спит».

Прикнупила бумажку к двери и пошла к метлам.

— Нет на тебя, Клавдия, возраста и окорота, — сказал ей вахтер.

— Нету, — ответила Клавдия Петровна, — это ты смотришь в корень.

Страшно и странно затосковал от этих ее слов вахтер. Он вдруг понял, что жизнь прожил плохо и скучно. «Органы отняли у меня органы», — сказал он вдруг вслух и удивился этой своей мысли, но еще больше удивился тому, что не испугался произнесенной мысли, что вот выразился, и не боится, и даже, более того, готов сейчас встретить их, которые придут за ним, и повторить еще и еще раз: органы отняли у меня органы. Когда-то, лет пятнадцать, а может, и двадцать, он сообщил куда надо про странные утренние пристрастия уборщицы Клавдии Петровны. Но реакции на это не последовало. Тогда он стал вести свой личный надзор, даже говорил пару раз с наблюдаемой, но она, как золотая рыбка, ничего не сказала, лишь метлой по полу мазнула. Тогда он пошел к Нюрке, которая была в месткоме, решил, что главный ре-

дактор для такого дела — инстанция слишком, а Нюрка — самое то и женщина. Нюрка, закинув ногу на ногу так, что юбка совсем сбежала в северном направлении, вызвала у вахтера кошмар от мысли, что у нее, Нюрки, *это место* можно легко тронуть рукой, подойди и тронь. И сказала Нюрка ему просто и доступно: «Не по адресу... Стучите в другую дверь». Он совсем сник. И последнее время вообще ослаб душой и телом, боялся только, не случилось бы при нем пожара там или кражи. Но Бог от этого миловал. Доживал старик почти спокойно, но этот сегодняшний случай... Пре-це-дент... Слово, зачем-то выученное им по бумажке. И последовавший за всем этим вывод про органы — те и другие.

Когда он сдавал смену, сменщик в голову бы не взял, что видит своего напарника последний раз, что тот умрет, обдумывая свои странные умо-заклучения, на глотке чая. Умрет как философ и как праведник.

Коршунов выспался, как не выспался давно. Когда он вышел из кабинета, девчонки прыснули:  
— Это ты, что ли, человек?

Умывшись в уборной, Коршунов пошел в соседний подъезд, в другую редакцию, куда его звали заведовать отделом.

— Созрел для каждодневной службы, — сказал он редактору. — Могу приступить.

— А как же пиэсы? — иронически спросил тот.

— Они уже написаны, и больше я для них ничего сделать не могу.

— Ну и правильно, — ответил редактор. — Когда мы помрем — все и взойдет. — И он перевернул стоящие у него на столе песочные часы.

У Коршунова возникало чувство паники от грубо-зримого ухода времени, но вместе с тем было и ощущение восторга от простоты и изящества самого предмета. Горсть песка, две воронки — и все изобретение. Может, все так и должно быть? Эле-мен-тар-но! А все наши несчастья от усложнения простого?

В общем, от нового редактора Коршунов вышел с ощущением, что, во-первых, он делает глупость, а во-вторых, что это единственное, что он может сделать. Умное кончилось, как кончается товар в магазине, кончается заряд энергии. Как кончается, наконец, полоса. Белая, черная — по-ди разберись. Он и сам не знает, на какую вырывает. Но точно знает, надо поставить точку. И начинать новое предложение. Главным членом предложения будет Маруся. Коршунов вдруг испугался, что во всем этом Марусино слово не последнее, надо бы ей об этом сказать, и он рванулся к свободному телефону. Подняв трубку, он мгновенно услышал голос Нолика.

— Я нашел вас со второго захода, — сказал он. — Набрал — и вы. Мы вас ждем дома не в одиннадцать, а в десять. У нас отменилась репетиция. Приходите не завтракая, у нас омлет высотой в три сантиметра.

Коршунов задумался о такой высоте и не заметил, что Маруся уже отвечает. Она сказала, что он свободен, что он может ходить по своим бабам,

сколько ему влезет, что она — все. Подвела жирную черту и из игры вышла. Что он засветился, как пионер, своими листьями, а она — дура, всю жизнь ему верила.

— Да брось молоть чепуху! — закричал Коршунов. — Ветки я наломал тебе, а ночевал я у Нюрки... — Он еще добавил, что на двери было написано: «Спит человек», но Маруся с воплем бросила трубку.

«Ревновать к этой!» — возмутился Коршунов. Но тут вспомнил, что хотел ведь сказать главное — он устроился на работу. Постоянную. Двести двадцать в месяц. Без гонораров. Что к пьесам он больше не притронется. Он их уже написал. Но Маруся на звонки больше не отвечала. Она в этот момент стаскивала с антресолей чемодан, подошвой смахивала с него пыль и грубо заталкивала в него вещи Коршунова.

Когда Коршунов пришел домой, чемодан, закрытый на один замок и ощерившийся другим, с торчащим куском неценной коршуновской одежды, стоял на пороге.

— Дура! — сказал Коршунов. — Я же был в Нюркином кабинете. Если хочешь всю правду — с уборщицей Клавдией Петровной.

Правда в этой жизни, как говорила покойная мать Коршунова, «завсегда дура последняя». Так и тут. Клавдия Петровна могла вполне обидеться и была бы права — что ее в расчет не взяли. Говоря современным языком, ее просто не закладывали в программу как величину несущественную, а

может, просто несуществующую. Нюрка же, находясь в Швеции или где бы она ни была, одновременно реально и постоянно существовала здесь. Поэтому, ничего не слушая, а слыша одно свое измученное сердце, Маруся не нашла ничего другого, как кинуться с кулаками на Коршунова и царапать, царапать ему «его наглуую рожу до крови, потаскуна проклятого, проститута всей страны».

Стыл высокий, в три сантиметра, омлет. Когда стало ясно, что Коршунов не придет, Актриса размазала его по лицу Нолика и села на тренажер. Универсальная механика разгоняла в ней кровь, растягивала мышцы и только ничего не могла сделать с мыслью, которая оставалась незагнанной, вольной и оттого бессовестной. И эта мысль кричала потной женщине, вертящей педали, растягивающей позвоночник и одновременно стягивающей на животе кожу, что вчера в руках у нее был шанс. Даже не исправь эта сволочь-автор ни одного слова, там все равно было что играть. Но он плюнул ей в душу, как Актрисе и как женщине, а сегодня она пятнадцать минут взбивала яички, чтоб получился этот чертов омлет, но он не пришел и на омлет. И не придет — это ясно. Идиот Нолик сидел, оказывается, вчера у парадной, у всех на виду, студил свои зассатые почки, тоже мне Отелло, жидовская морда. А теперь пошло такое время, что каждое ничтожество, имеется в виду автор, имеет о себе мнение. И каждый гладит себя по подлежащему. Раньше было куда как легче, она бы не унизилась до омлета, который

сейчас слизывает с собственного лица Нолик. И что это за жизнь, если нет ролей и уже нет возраста, то есть возраст, наоборот, есть... И трещали суставы, и скрипела механика, и в изысканной голубой гамме крепко запахло бабьим ядерным потом. Маленькими, неслышными глотками пил свой кофе Нолик, пил и думал, что надо идти к Коршунову, другого выхода нет. Идти и сказать ему — нечего в пьесе править, нечего! Он, Нолик, поставит на все остальные женские роли бездарных дур, вот уж что не проблема. Как она ломается на тренажере — его единственная, как борется с природой. Дурочка ты моя! Я сделаю такой состав, в котором ты будешь моложе дитяти. Так ведь всегда было, всегда, но до того, до того... Ну как объяснить сегодняшнему автору, что ей обязательно надо «переписать пьесу». Этой ночью у нее не вышло. Ах, родная моя, ах, родная... Дыхание-то какое у тебя, дыхание! Тяжеловоз в гору. И свист, и хрип... И запах нездоровый... Тленный! Бедняжечка ты моя...

— Я пошел, — сказал Нолик, надев свой плащ, превращающий его в капор.

— Хр-р-р, — ответила Актриса.

Боже, как она встретила Нолика! Маруся... Будто не дралась. Будто не у Коршунова пламенили на щеках следы ее ногтей. Нолик смотрел на них, и ему хотелось плакать. Как же она дошла до жизни такой, его единственная? Ведь в ней всегда было понимание — без членовредительства. Без! Лицо есть товар. Ночью он ничего не заме-

тил. Ах, как нехорошо! А Маруся чирикала. Вот святая простота, думал Нолик. Это только в России такие женщины. Примет любого — побитого, грязного, мокрого. Но о русских женщинах вообще он подумает потом. Сейчас не до того... У него одна женщина, ради которой — если надо будет — он толкнет с балкона эту святую чирикающую простоту. Кувырк Маруся. И будет она лететь вперед навстречу земле. Он, Нолик, так часто мысленно летел вниз головой, что, можно сказать, это у него уже было сто раз — смерть с протянутыми навстречу листьями. Поди к нам, дружок, поди. Вообще нет лучшего способа чего-то *избежать*, как мысленно это *пережить*. Наверняка жена Коршунова никогда не думала о такой своей смерти. Потому-то так и близка к ней. Да что это он? О чем? Ему ведь важен поцарапанный автор, которого, до того как привести в театр, надо бы гримировать. Он это сделает сам. Он это умеет хорошо. Он вернется домой, возьмет коробочку с гримом, сделает автору приемлемое лицо, отвезет его к Главному, заставит того подписать договор... Надо быстро запустить машину, только бы не выскользнул Коршунов из рук сейчас, не придали бы своим телесным ранам большее значение, чем они того стоят.

— Это пройдет быстро, — весело сказал Нолик Коршунову. — Это стоит простить и забыть.

Почему-то неестественно и громко засмеялась святая простота.

Нолик взял Марусю за руку.

— Дорогая моя, — прошептал он. — Взлетим и воспарим над суетой.

Маруся аж подавилась смехом.

— Идемте, — сказал Нолик Коршунову. — Это будет потрясающий спектакль.

— Нет, — сказал Коршунов. — Нет...

— Балда! — закричала Маруся. — Ведешь себя...

Коршунов увидел, как на еще не забывшем смех лице стало дергаться Марусино веко. Она не заметила этого, не прикрыла глаз ладонью, как делала всегда. Так и стояла, полусмеющаяся, напряженная, дергающаяся. Одновременно ненавидящая и умоляющая.

— Хорошо, — покорно сказал Коршунов, — но я уже устроился на работу.

— Нашел время, — ответила Маруся, а Нолик ничего не понимал.

Он мысленно рисовал Коршунова, приставляя к багровеющим щекам бородку. Это совсем идеально, но даже у самых волосисто активных людей за ночь борода не вырастает. А жаль, черт возьми, жаль... Хороши были бы и баки...

На баках раздался телефонный звонок. Маруся была ближе всех, схватила трубку.

— Тебя, — сказала она Коршунову. Было что-то в ее голосе, отчего он чуть медленней потянулся за трубкой, и не стой рядом Нолик, прикрыл бы Коршунов микрофон, спросил бы: ты чего? Но не до подробностей мелких чувств было в их приходе, надо было перешагивать через чемодан и



касаться животом Нолика, и это соприкосновение животами было почему-то стыдным, хотя не голыми же? Но было ощущение как бы голыми, как бы голыми и потными к тому же, но это была неправда, они оба были вполне одетые мужчины и не вспотели ничуть, наоборот, из кухонной форточки дуло, сквозило. Ноябрь ведь и роцца... Ах, нет, не то... С роццей уже покончено, пришло время Борея. Так вот пунктирно подумалось-ощутилось Коршунову — от живота до Борея, — пока он перехватывал у Маруси трубку.

— Але!.. Але! — гудело в космосе. Именно в нем, потому что мы, простые, мгновенно узнаем междугородные звонки. Еще и слов нет, а канал уже звенит не по-нашему — позванивает напряженной силой, готовясь принять звук и смысл и передать их в далекие края.

— Коршунов, ты? — услышал Коршунов неожиданный Нюркин голос. — Слушай сюда! Я только прилетела и первое, что узнала, тебя тут ставят. Слышишь? Как мертвяка. У них пять твоих пьес и информация, что ты давно сгорел, как истинно русский, от алкоголизма. Этим ты их заинтересовал, между прочим. Я подняла бучу — а как же? — они испугались, что ты живой русский и мало ли что выкинешь. Тебе будут звонить, я решила опередить. Коля, чванься! Продавайся дорого, а наших пошли в жопу. Понял? Маруське же скажи, чтоб не гунявила противно. Ей я — Митрофановна.

Главное, каким-то причудливым образом, но смысл разговора понял Нолик. Видимо, громко

звенел победный Нюркин клич, а канал для звона был чист и вымыт.

— А какую ставят пьесу? — закричал Коршунов. — У меня их шестнадцать...

— Про пакость, Коля, про пакость... Ну и название, скажу тебе! Кончено, Коля! Пока... Замигало...

— По естеству пакости, — прочревовещал Коршунов. И закричал: — Спасибо, Нюр! Пусть ставят... Я разрешаю. Скажи им! Скажи им!

Коршунов думал, что надо бы обидеться на Марусю, но надо бы и порадоваться, надо бы купить вина и водки и позвать тех, кто еще у него остался, надо бы переписать в пьесе домработницу и надо бы подумать, что будет потом...

Но понял — не надо ничего, ибо все бессмысленно тут сейчас, разве что кроме покупки вина и водки. Это единственно необходимое для случая дело. Все остальное он обдумает и обчувствует потом. А выпить надо сразу.

Коршунов закрыл сквозящую форточку — не хватало ему еще насморка к нехватке средств.

— Дура, — сказал он Марусе. — Господи, какая же ты дура! Ну улыбнись, балда, улыбнись. Смотри, как это делается.

И Коршунов раскрыл рот...

## СОДЕРЖАНИЕ

АКТРИСА И МИЛИЦИОНЕР. <i>Повесть</i> . . . . .	5
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ХОЛМ ЦАРЯ СОЛОМОНА С КОЛЯСКОЙ И ВЕЛОСИПЕДОМ. <i>Повесть</i> . . . . .	141
ПОДРОБНОСТИ МЕЛКИХ ЧУВСТВ. <i>Повесть</i> . . . . .	291

Литературно-художественное издание  
ЛУЧШАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА

**Щербакова Галина**

**АКТРИСА И МИЛИЦИОНЕР**

Ответственный редактор *Л. Михайлова*  
Выпускающий редактор *Ю. Качалкина*  
Художественный редактор *А. Сауков*  
Технический редактор *О. Куликова*  
Компьютерная верстка *С. Кладов*  
Корректор *Э. Казанцева*

ООО «Издательство «Эксмо»  
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.  
Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Подписано в печать 21.09.2009.  
Формат 84×108 /<sub>32</sub>. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная.  
Бумага офс. Усл. печ. л. 20,16.  
Тираж 10100 экз. Заказ 7735.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».  
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

**Оптовая торговля книгами «Эксмо»:**

ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,  
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.

E-mail: [reception@eksmo-sale.ru](mailto:reception@eksmo-sale.ru)

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми  
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**

E-mail: [International@eksmo-sale.ru](mailto:International@eksmo-sale.ru)

**International Sales: international wholesale customers should contact  
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.**  
[International@eksmo-sale.ru](mailto:International@eksmo-sale.ru)

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  
в том числе в специальном оформлении,  
обращаться по тел. 411-68-59 доб. 2115, 2117, 2118.**

E-mail: [vipzakaz@eksmo.ru](mailto:vipzakaz@eksmo.ru)

**Оптовая торговля бумажно-беловыми  
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:**

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,  
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).  
e-mail: [kancs@eksmo-sale.ru](mailto:kancs@eksmo-sale.ru), сайт: [www.kancs-eksmo.ru](http://www.kancs-eksmo.ru)

**Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:**

**В Санкт-Петербурге:** ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.  
Тел. (812) 365-46-03/04.

**В Нижнем Новгороде:** ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.  
Тел. (8312) 72-36-70.

**В Казани:** Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.  
Тел. (843) 570-40-45/46.

**В Ростове-на-Дону:** ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.  
Тел. (863) 220-19-34.

**В Самаре:** ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».  
Тел. (846) 269-66-70.

**В Екатеринбурге:** ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.  
Тел. (343) 378-49-45.

**В Киеве:** ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.  
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

**Во Львове:** ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.  
Тел./факс (032) 245-00-19.

**В Симферополе:** ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.  
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

**В Казахстане:** ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.  
Тел./факс (727) 251-59-90/91. [rdc-almaty@mail.ru](mailto:rdc-almaty@mail.ru)

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»:**

**В Москве в сети магазинов «Новый книжный»:**

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12. Тел. 937-85-81.

Волгоградский пр-т, д. 78, тел. 177-22-11; ул. Братиславская, д. 12. Тел. 346-99-95.

Информация о магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

**В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:**

«Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»  
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

# Галина Щербакова

От автора  
бестселлера  
«Вам и  
не снилось»!

в серии  
«Лучшая современная  
женская проза»



[www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)

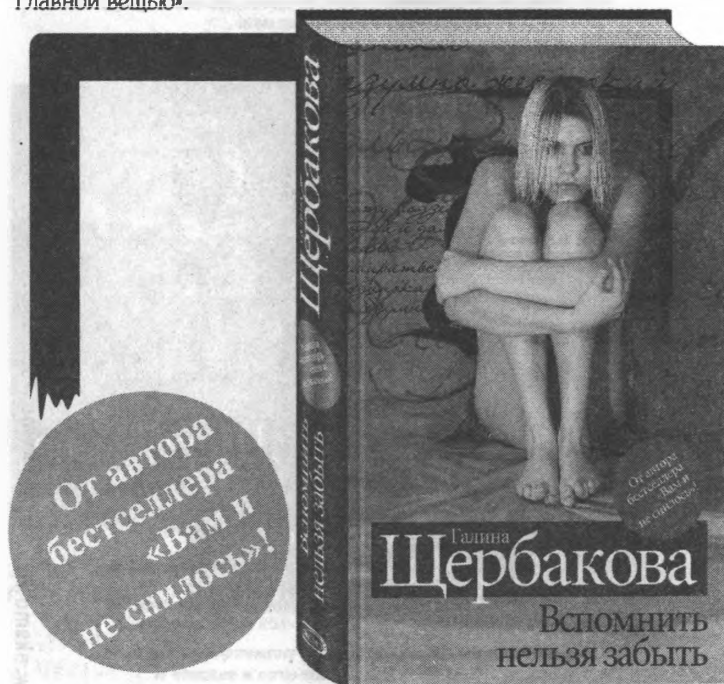
Современная и невероятно пронзительная проза.  
Достойное чтение для всех возрастов и поколений!

**ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ,  
ЧТО У НЕЁ ЕСТЬ СТОЛЬКО ПРЕКРАСНЫХ ИСТОРИЙ!**

# Галина ЩЕРБАКОВА

## «ВСПОМНИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»

«...Случается, меня приглашают на встречи с читателем. Только я отказываюсь. Потому что разговор опять будет крутиться вокруг одной лишь «Вам и не снилось»... А она никогда не была для меня главной вещью».



Читайте лучшие произведения Галины Щербаковой в книге «Вспомнить нельзя забыть»: «Дверь в чужую жизнь», «Отчаянная осень», «Дом с витражом» – и, конечно, новую повесть, давшую название всему сборнику.

**Вам и не снилось,  
что у неё есть столько прекрасных историй!**  
– В серии "Лучшая новейшая женская проза"

[www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru)

# Щербакова

Галина

## Яшкины дети

От автора  
бestsеллера  
«Вам и  
не снилось!»



www.eksmo.ru

Уникальный образец современной русской литературы высочайшего уровня. Книга, поселяющая чеховских героев в реалии XXI века. Автор, ведущий прямой и откровенный диалог с классиком на каждой странице.

Воскрешая в памяти читателя знаменитые чеховские рассказы, Щербакова каждый из них наполняет новым содержанием и смыслом. Её «Ванька», «Душечка», «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», «Спать хочется» и другие миниатюры – это истории о наших современниках, драмы наших близких, коллег и соседей, наша собственная жизнь без прикрас и иллюзий.

Произведения Галины ЩЕРБАКОВОЙ  
выходят в серии «ЛУЧШАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА»



# Галина Щербакова

## Мандариновый год

От автора  
бестселлера  
«Вам и  
не снилось»!

www.eksmo.ru



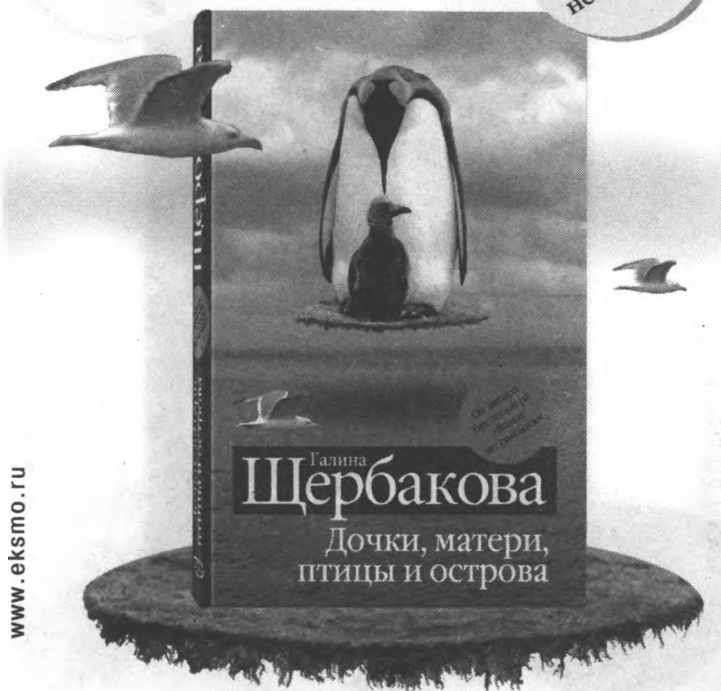
Сокровища Вашего прошлого заиграют новыми красками, когда Вы погрузитесь в чтение новых и уже полюбившихся произведений Галины Щербаковой. Это ностальгические путешествия во времени, где в центре всегда история любви, рассказанная так, что замирает сердце.

Произведения Галины ЩЕРБАКОВОЙ  
выходят в серии «ЛУЧШАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА»

# Галина Щербакова

Дочки, матери,  
птицы и острова

От автора  
бестселлера  
«Вам и  
не снилось!»



Новые и полюбившиеся читателю произведения культового прозаика воскрешают в памяти образы прекрасных советских фильмов - образы, исполненные внутренней красоты, глубоких чувств и неиссякаемой притягательности. Это истории, которые хочется перечитывать и перечитывать!

Произведения Галины ЩЕРБАКОВОЙ  
выходят в серии «ЛУЧШАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА»

# Галина Щербакова

Кто из вас генерал,  
девочки?

От автора  
бестселлера  
«Вам и  
не снилось!»



www.eksmo.ru

Эти истории ласково касаются Вашей души и возвращают Вас в школьные годы, во времена первой любви, в памятные дни больших надежд и маленьких, но таких значимых трагедий. Лёгкие, немного сентиментальные и задевающие что-то глубокое и светлое в сердце – новые и уже полюбившиеся читателям произведения культового мастера психологической прозы.

Произведения Галины ЩЕРБАКОВОЙ  
выходят в серии «ЛУЧШАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА»

# Галина Щербакова

## Нескверные цветы

От автора  
бestsеллера  
«Вам и  
не снилось!»



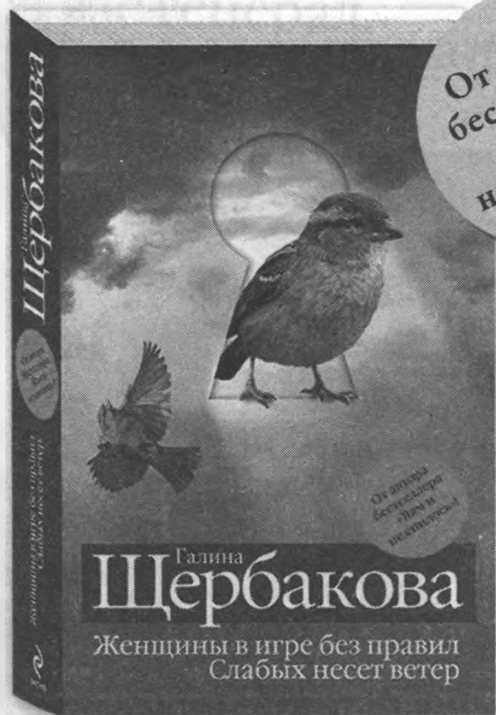
www.eksmo.ru

Настоящий подарок поклонникам автора! Книгу открывает новая, никогда раньше не издававшаяся повесть «Нескверные цветы» – глубокая, острая и притягательная. Поздняя, последняя любовь – как цветение астры в саду – длится до самых морозов. Но потом приходит лютый холод, и даже эти нескверные цветы умирают. Как сложатся отношения поистине шекспировских героев, если встретятся они не в пору молодости, а на закате своих дней?

Произведения Галины ЩЕРБАКОВОЙ  
выходят в серии «ЛУЧШАЯ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРОЗА»

# Щербакова

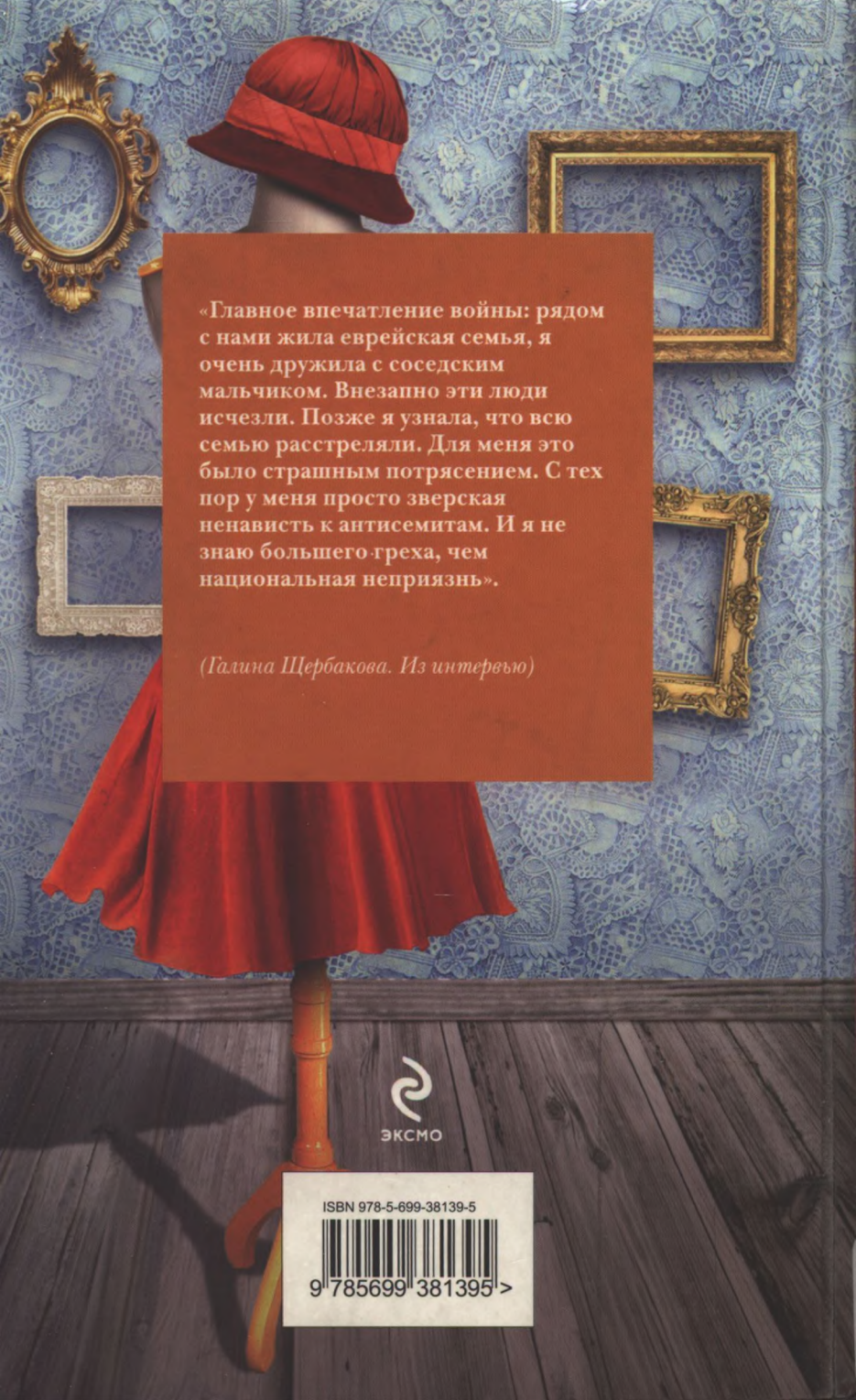
Галина



От автора  
бестселлера  
«Вам и  
не снилось»

«Женщины в игре без правил», «Слабых несет ветер» – романная диалогия классика русской литературы Галины Щербаковой.

В центре повествования – судьбы трех современных женщин, трех поколений одной семьи. Внучка-дочка, мать-дочка и мать-бабушка – между ними пропасть не только возраста, но ценностей и интересов. Бабушка, до поры до времени жившая по законам домостроя, вдруг влюбляется в молодого состоятельного мужчину и теряет голову... ее взрослая дочь, только что трагически пережившая развод, рождает ребенка от первого встречного незнакомца и понимает, это он – любовь всей ее жизни... внучка, мучимая подростковыми комплексами, достает мать и бабушку своей нереализованной сексуальностью...



«Главное впечатление войны: рядом с нами жила еврейская семья, я очень дружила с соседским мальчиком. Внезапно эти люди исчезли. Позже я узнала, что всю семью расстреляли. Для меня это было страшным потрясением. С тех пор у меня просто зверская ненависть к антисемитам. И я не знаю большего греха, чем национальная неприязнь».

*(Галина Щербакова. Из интервью)*



ЭКСМО

ISBN 978-5-699-38139-5



9 785699 381395 >